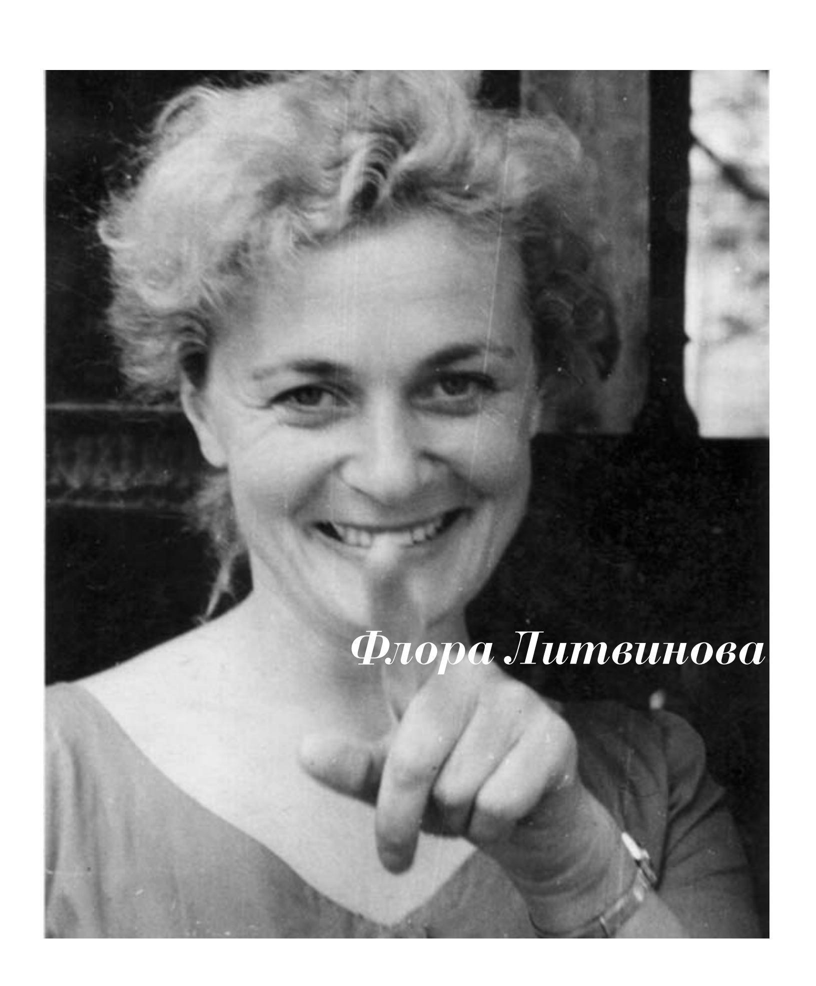
Флора Литвинова • Очерки прошедших лет

Флора Литвинова • Очерки прошедших лет



Флора Литвинова • ***Очерки прошедших лет***


Флора Литвинова

Очерки прошедших лет

Москва • «Звенья» • 2008

ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Л 64

Издательская программа Общества «Мемориал»

ISBN 978-5-7870-0106-8

Детство

Памяти моей мамы Полины Мироновны Ясиновской

Первое воспоминание

1921 год. Приезд в Москву. Мы едем с мамой на телеге, груженной нашим скарбом. Подъезжаем к громадному дому. Такого чуда я раньше не видела. Туда, на четвертый этаж, мы медленно поднимаемся по темным лестницам. Наш возница – мужик с бородой – и дворник несут большой мамин сундук, окованный железом, с большими медными петлями. Из темной передней входим в большую светлую комнату. Мама ставит меня у сундука и велит ее ждать. А сама уходит за другими вещами. Она волнуется.

Я в каком-то темном мешковатом платьице. Короткие растрепанные волосы. Очень устала. А передо мной два громадных окна, видно небо и колокольню. И меня охватывает странное чувство – преддверье новой жизни.

Смесь радости и тревоги, ожидания и страха. Большой шумный город, большой дом, высокий потолок с лепными извитыми стеблями и цветами, а в середине громадная люстра.

Колокольный звон. В небе, вспугнутые, кружат птицы. Одиноко и страшновато. Жду маму. Жду чего-то неведомого. Как-то позже я увидела открытку, на которой была изображена бледная грустная девочка. Стоит она пригорюнившись. И мое воспоминание связалось, спуталось, и я себя вижу как бы со стороны – такой бедной, одинокой девочкой. А может, это извечная сказка о Золушке?

Мамин сундук

А сундук тот простоял у мамы всю жизнь. Он был большой, тяжелый, мама запирала его на замок. В нем хранилось то, что было у мамы ценного. Платья, раньше бывшие выходными, – в память о прошлой жизни в Америке. Лежали куски материи, они назывались отрезами. Время от времени мама перебирала в сундуке вещи, искала что-нибудь, чтобы сшить платье мне или сестре Зине. Для меня открывание сундука было праздником. Появлялось на свет воздушное платье с расшитой стеклярусом грудью. Мама вздыхала: «Это платье сестры Даси, она сшила его на Лизину свадьбу. Как весело было». Появлялись нежно-желтые тоненькие блузки со складочками. Они как были, так и остались недошитыми – совсем не подходили своей прозрачностью к нашей жизни.

Мама и все женщины вокруг одевались очень скромно. Почти всё из простых дешевых тканей. Пальто много раз перешивалось и перелицовывалось. На работе мама носила красную косынку. Хорошо помню, как мама сшила себе из какого-то отреза холста сарафан и он очень складно сидел на ее крепкой фигуре. И как из драной бархатной тетиной юбки мама сшила мне прекрасное платье с большим белым воротником. Я в нем ощущала себя принцессой. Еще там лежала мамина зеленая прозрачная шаль, которую мне иногда удавалось утащить. И я в ней танцевала без конца. Была там коробка с пуговицами. При надобности всегда можно было подобрать необходимую пуговицу, но самое интересное было в них играть.

И еще с соседским Ваней играли мы с пустыми катушками, которые мама приносила с фабрики. Мы обряжали их в разные цветные тряпочки, и они превращались в кукол. Из катушек строили и мебель для наших куколок. У меня игрушек – кубиков, мозаик и других – не было. До некоторых пор была одна сшитая мамой кукла с пришитой фарфоровой головкой, но из-за несоответствия тряпичного тела с головкой я ее не любила. И еще лежа-

ли в сундуке два корсета – тоже из прошлой жизни. Большая соломенная шляпа с цветами – васильки, ромашки и колоски. Я казалась себе в ней красивой, как на картинке из дореволюционной книжки о благонравных девочках. Но самым интересным и завлекательным были разноцветные лоскутки – они лежали в мешке. Мне очень хотелось сшить из них лоскутное одеяло, подобное я видела у молочницы в Царицыне. Но мама считала эту затею блажью. Мама вообще не была склонна к долговременным проектам. Если бралась что-нибудь сшить, то делала это быстро, обычно в спешке. А я не знала, как взяться за дело самой.

Наша комната

Дом наш был шестиэтажный, рядом стоял точно такой же «доходный» дом начала века, близнец нашего. Квартиры были шести- и пятикомнатные. Были в них газ, туалет (тогда он назывался уборной), ванная комната и электричество. До революции, по-видимому, в доме жили чиновники, врачи, учителя, адвокаты. Теперь дом заселили рабочими и служащими. Мы приехали в нашу квартиру первыми и получили самую большую комнату – первую мою вселенную. Комната наша, я думаю, была раньше гостиной. В ней кроме входной двери из передней были еще две – забитые двери в соседние комнаты. Высокий потолок украшала лепнина в виде извитых стеблей лилий. В середине спускалась громадная металлическая люстра с зеленым абажуром, окаймленным бисерными висюльками. Она висела на цепях и могла регулироваться по высоте.

По периметру комнаты стояли три старые железные кровати. На одной, с продавленной сеткой, спала мама. Две другие были покрыты досками, а на них старые матрасы или мешки, кажется, набитые тряпьем. На них спали моя старшая сестра Зина и я. В середине – большой стол, сбитый плотником. Только через несколько лет мама купила стол в магазине, чем очень гордилась. У стены стоял

громадный письменный стол с двумя большими тумбами, а в них много ящиков. Туда можно было прятать все мои сокровища – коробки из-под спичек и монпансье (были такие леденцы в железных коробках), разнообразные катушки, всякие камешки, лоскуты, бумагу, карандаши, свечки – электричество часто не работало.

По-видимому, этот стол не увезли бывшие хозяева из-за его величины. Странно, правда, почему его не сожгли в Гражданскую войну. Когда я стала постарше, на столе появилась старая настольная лампа с неподходящим ей по размеру зеленым стеклянным абажуром. Уже в шестом классе школы я, под впечатлением футуристических рисунков и плакатов, сделала абажур сама из Зининого чертежа, наклеив на него какие-то геометрические фигуры и вырезанные из журналов картинки.

Рядом с моей постелью стоял маленький раздвижной столик. Был он неустойчив и шатался. Его я любила убирать и украшать. На нем лежали подаренная кем-то раковина, окрашенный красной краской ковыль, коробка, оклеенная ракушками, и небольшая полочка с книжками. Потом там появилась моя фотография в матроске и бескозырке с надписью на ленте «Аврора». Рядом стоял маленький кухонный буфетик, в котором хранилась наша немудреная посуда и провизия – крупа, сахар, мука. Сколько я себя помню, мама мечтала купить диван, но никак не могла собрать достаточно денег. Их было очень мало, а в долг мама принципиально никогда не брала. Когда я, став взрослой, постоянно брала в долг деньги, мама возмущалась: «Как ты можешь брать в долг, ведь в следующем месяце ты не будешь больше зарабатывать, чем в этом?»

Был в нашей комнате еще небольшой шкаф, он был узкий, и плотник углубил его, приколотив подморенные доски сбоку и тем отодвинув заднюю стенку. В шкафу висел немногочисленный мамин и Зинин гардероб. У мамы и Зины было по одному «выходному» платью, в которых они ходили в гости или изредка на вечеринки. Помню как большое событие, когда Зина сшила в ателье синее шер-

стяное платье с плиссированной планочкой спереди. Приличные туфли были тоже одни. И пара тонких фильдеперсовых чулок. Они хранились несколько лет. Вспоминаю, как я девчонкой надела их и порвала. Признаться я боялась. Какое это было отчаянье, когда Зина, собираясь в гости, обнаружила, что надеть их невозможно. Крик стоял ужасный!

Когда я вспоминаю, как жила наша семья, я вспоминаю стол, застланный клеенкой, на нем лежат буханка хлеба и нож. Он был один. Это был большой кухонный нож. Им резали все – мясо, рыбу, овощи, хлеб. У мамы была скатерть, но ее клали в редких случаях, когда приходили гости. Помню вкусную разварную молочную пшенную кашу. Мама, сварив, заворачивала кастрюлю в газету и клала под подушку. Бывали мясной суп, щи, иногда котлеты, жаркое. Часто ели любимую жареную картошку. Любили «юшку». Поджаренный на постном масле лук прибавляли к отварной картошке, и он варился в ней дальше. Это была очень вкусная еда, вроде жаркого, но без мяса.

Так как я часто бывала одна, то больше всего любила белый хлеб со сладким чаем. В течение долгих лет жизни мое представление о вкусной еде было связано с этой самой вожделенной булкой со сладким чаем. И, конечно, с интересной книгой. Жаркое мама готовила на несколько дней, но разогревать было нудно, и я, как все дети, предпочитала кусочничать.

Мама

Мама работала швеей-мотористкой на швейной фабрике «Освобожденный труд». Работа была в три смены и напряженная – недавно ввели на фабрике конвейер. Дорога тоже была дальней. Несмотря на то, что мама была молодой и здоровой, она уставала. Помню постоянные разговоры, что нормы выработки увеличивали, а это вело к уменьшению зарплаты. Зарплата была низкая – 30–35 рублей в месяц. Это я прочла в справке, выданной маме

для начисления квартирной платы, – она зависела от заработка. Однако мама была быстрой и работала хорошо.

Была общественницей, вдохновленной лозунгом того времени «Владыкой мира будет труд». После смерти Ленина она вступила в партию. «Ленинский призыв» она не вполне поддерживала, не особенно задумываясь о линии партии. Вспоминаю, как она, напевая, собиралась на работу в складно прилаженной кофточке, темной юбке и красной косынке. Вот кожанки у нее не было.

Мне трудно писать о маме, и, может быть поэтому, я откладывала. Мама жила с нами одна. Конечно, она очень любила меня. Но более всего ее любовь выказывалась в беспокойстве за меня. Когда я болела, мама приносила мне фрукты, ухаживала за мной. Я это эксплуатировала, ссылаясь на имеющиеся или мнимые болезни. Короче, я понимала, что болеть – это хорошо. Позже, войдя в семью Литвиновых, я увидела, что болезни здесь не уважают, и перестроилась. Мама много работала, да и быт той поры был нелегок. К тому же денег было очень мало. Поэтому, а также и по отсутствию педагогических способностей она мало мною занималась и, если я не приносила особых хлопот и мое поведение и учение не требовали ее прямого вмешательства, все шло своим чередом. Когда-то (особенно весной) мама шила мне платье или юбку, иногда, это было трудней, приходилось покупать мне обувь или учебники.

Однако мама была молодой и вполне привлекательной женщиной. И в нашем доме появлялись мужчины. Очень хорошо я помню Ромео Баттистини. Он называл себя итальянцем, но, вероятно, был итальянским евреем. Он был небольшого роста, с большой кудрявой шевелюрой, тонкий, изящный, легко двигающийся. Глаза у него были темными, влажными. Веселый, зажигательный, он танцевал, любил застолье и общество. Мне он нравился, так как с его появлением в доме становилось веселей и занятней. Однако я чувствовала, что между ним и мамой существуют какие-то тайные отношения. Я ничего не видела впрямую, я слишком хорошо спала да и не была на

этой мысли сосредоточена. Однако наша соседка Нюша что-то шипела по этому поводу да и прямо осуждала маму. Что-то касалось и того, что если у мамы кто-то живет, то надо перераспределить плату за электричество и другие услуги. И здесь мое постыдное воспоминание. Ромео ночует у нас. Я встала раньше и иду на кухню с неосознанным до конца пакостным ощущением. Нюша спрашивает: «Ну что, здесь наш Ромео?» И я, понимая, что предаю маму, подтверждаю это кивком головы – как в сказке. И бегу обратно. Мама у двери ждет меня и больно треплет за волосы: «Ты что Нюше сказала?» Мама надеялась спокойно выпустить его, когда все разойдутся. Постепенно этот роман перешел в знакомство с семьей Ромео. У него была красивая русская жена и дочка Джульетта. Она была очень хорошенькая, но моложе меня, и дружбы особой не было. Почему я была такой предательницей, я не знаю. Может, конформизм, я хотела со всеми вместе маму осуждать.

Позднее, когда я уже училась в школе, у нас появился Данила Максимович – большой, слегка полноватый мужчина с бородой, что в те времена было редкостью. Инженер-строитель. Он был тихий, ласковый и дарил мне книжки. Его я любила, но эта история относится к другому периоду моей жизни и одному счастливому лету, когда мне исполнилось десять лет.

У мамы на фабрике

Однажды мама взяла меня с собой на фабрику. Все поразило меня. Зал, показавшийся мне громадным, в котором рядами стоят швейные машины. Они были связаны каким-то большим приводным ремнем, благодаря которому вращались колеса машин. Вдоль конвейера медленно двигалась лента, а на ней лежала работа – шили халаты. Тогда мама много рассказывала, как вводился конвейер, аналогичный американскому. У мамы уже был американский опыт работы на конвейере, и она чувствовала себя в своей тарелке. Большая часть работниц, приехавших из

деревни, побаивались конвейера, справедливо полагая, что это нововведение им не на пользу. Уже было разделение труда, и работница, сделав свою операцию, вставала и переносила работу соседке. При конвейере производительность была выше, но работницы не могли расслабиться, иначе срывалась работа всех. В тот день шили, как я уже говорила, халаты.

Я с громадным любопытством наблюдала весь процесс. На больших столах в начале цеха халаты кроили по лекалам. Скроенные куски клали на конвейер около первой работницы. Она сшивала боковые швы, клала на ленту, следующая сшивала швы на плечах, затем рукава, кто-то пришивал карманы, хлястики, и, наконец, была машина, которая обметывала петли! Молодые женщины (таких было большинство) споро и весело работали, несмотря на шум, щебетали с подружками, шутили с подходящим к ним механиком или мастером. Мне тоже очень хотелось что-нибудь «сшить». В перерыве мама посадила меня за машину – ее можно было запустить и вручную. Все женщины были дружелюбны, улыбались, и я напихала в свой висячий карманчик (тогда девочки такие носили для носовых платков) массу цветных лоскутков. Мама с гордостью сказала – она будет портнихой!

Вечер в клубе Кухмистерова

Примерно в это же время был вечер маминой фабрики. Он проходил в клубе имени Кухмистерова на улице Казакова. Теперь там Театр имени Гоголя. В большом красивом зрительном зале все было очень торжественно. Мама взволнованная, нарядная. На мне черное бархатное платьице, сшитое из тетиной юбки, с большим белым воротником. Я чувствую себя нарядной и счастливой. Жду чего-то необычайного. Восторг от музыки – играет духовой оркестр.

Я в упоении, без всякого стеснения бегу по проходу, вбегаю на авансцену и без тени смущения танцую под музыку. В зале собирается публика, люди смеются, хлопают

мне, а я танцую и танцую, серьезно и самозабвенно. Мама забирает меня со сцены. Все говорят: твоя дочка будет балериной, надо отдать ее в балетную школу. «Моя дочка будет хорошей портнихой», – говорит мама.

Мама шила, но не смогла одолеть премудростей кроя по чертежам, поэтому у нее то получалось хорошо, то почему-то не ладилось. Она не была уверена в результате. Особенно робела, если материя была новая. Когда Зине надо было сшить себе выходное платье, она отдала его в ателье. Если мама перешивала или материала было в обрез, она иногда шила очень удачно. Тогда она не боялась ошибиться, а если она, опасаясь, припускала пару сантиметров на швы, то получалось длинно и мешковато. Помню один мамин туалет, который ей очень шел. Это был сарафан из холста, сшитый по маминой фигуре, а сверху маленькая кофточка фигаро. Я никогда не ощущала маму молодой, но как-то раз, когда мы вместе гуляли в саду Баумана, я вдруг заметила, что на нее смотрят мужчины и что она привлекательна. Может быть, тогда я уже была постарше.

Семейная сага. Конец XIX века. Кишинев

С самого начала, решив написать о моем детстве, я понимала, что необходимо описать историю нашей семьи, по крайней мере то, что сохранила моя память из рассказов мамы, сестры и тети. О семье отца я знаю очень мало, однако их рассказы глубоко запечатлелись в моей памяти, и я решила описать, хотя эти истории прервут ход моих воспоминаний. Без них, я думаю, будет трудней понять нашу семью, и вероятно, и мою жизнь.

Семья моей мамы была бедной и многодетной. Подлинной главой семьи была мать отца – моя прабабка Эстер. Все держалось на ней. Была она до глубокой старости крепкой, решительной, самостоятельной женщиной. Она была знаменитой повивальной бабкой. Без нее не появлялся на свет ни один еврейский младенец в Кишиневе и окрестностях. Молдаванки и русские женщины тоже ее

приглашали на роды. Моя мама Полина рассказывала легендарную историю о том, как известный кишиневский богач, владелец нефтяных вышек в Бесарабии, ждал с величайшим волнением внука, будущего наследника его богатств. Всемогущий Яхве не дал ему сына, несмотря на то, что он построил знаменитую кишиневскую синагогу. Теперь он ждал внука. Дочь была молода, но у нее оказалось неправильное прилежание плода. Существовала угроза гибели ребенка, а может и матери. Эстер смело, своей маленькой, но крепкой ручкой, вошла в матку и извлекла мальчика. И счастливый дед дал Эстер золотой червонец, а дочери подарил бриллиантовое кольцо.

Моя прабабушка Эстер жила одна. И была у нее единственная страсть и боль – сын Мейер, невзрачный, щуплый, нелепый и ни к чему не приспособленный. Он с трудом учился в хедере. Товарищей у него не было. Куда только не пристраивала его Эстер – к часовщику, в пекарню, но он не мог ничему научиться. Эстер решила его женить и нашла привлекательную трудолюбивую тихую девушку из бедной семьи – мою будущую бабушку Фейге. Фейге родила с небольшими перерывами семерых детей – четырех девочек и трех мальчиков. Семья жила только на то, что давала на жизнь Эстер. Фейге крутилась, как могла, – кормила, стирала, обшивала все семейство. Последний, седьмой младенец Мойше был любимцем всей семьи. В этот период Эстер устроила сына сторожем у богатого винодела на окраине города. Моя мама вспоминала это время как самое счастливое в детстве. Мейер слонялся весь день без дела, старался где-нибудь укрыться и поспать.

Во время созревания винограда ему приходилось обходить виноградники и сидеть на вышке, обозревая окрестные сады. Вышка была покрыта соломой, и он обычно сидел там и дремал. Жена постоянно посылала детей будить его во время созревания винограда, чтобы он следил за похитителями, но он был заторможен и даже на ходу дремал. К обеду кто-нибудь из детей будил его, и он машинально шел к дому.

В пятницу Фейге готовила праздничный обед, все молились. А обед на Субботу ставила в печь. В Субботу девушка-бессарабка – «гойка» – вынимала обед из печи, ставила на стол. В Субботу не разрешалось делать ничего – только молиться. Даже неустанная в вечных хлопотах Фейге в этот день сидела в праздничном платье в холодке, положив на колени натруженные руки. Дети, однако, не очень слушались, нарушали все запреты. Мама рассказывала, что субботняя «гойка» угостила ее и сестру Лизу салом. Девочки знали, что есть свинину – страшный грех, но соблазн был велик. Они были веселыми непослушными девчушками, учиться им тоже не очень-то хотелось. Съев сало, они испугались, а вдруг всезнающий Бог их накажет. Однако ничего не произошло. Бог не заметил их греха. С этого времени они совершали эти тайные трапезы, и именно в священную Субботу, когда приходила девушка. Ей тоже было весело соблазнять к греху еврейских девочек.

Из всего детства мама вспоминала с радостью этот период жизни на винограднике. Воля, степь, сытость, солнце, фрукты. Из громадных тыкв Фейге варила котел тыквенной каши. Хозяин не был скуп, а может, и жалел Фейге и ее детей. Да и изобилие земных даров располагало к щедрости. Высокие осокори, громадные ветвистые яблони и груши, сливы и вишни, арбузы, дыни. В хозяйстве были громадные каменные подвалы, где хранились бочки с винами, заткнутые просто прутиками. Молодое вино пили, набегавшись, и дети. В подвал шла каменная лестница. С подвалом у мамы, а еще больше у моей тети Эсфири, связано трагическое воспоминание. Как во всякой многодетной семье, старшие девочки нянчили младших. Фейге любила всех детей, но больше всех последыша – Мойше. Она его родила, когда ей было около сорока, старшие дети уже были большими. Роды прошли трудно, ребенок родился слабеньким. Однако на щедром бессарабском солнце и изобилии он окреп, был веселым.

Все с ним нянчились, однако ответственной была старшая сестра моей мамы Эся. Однажды, таская Мойше, Эся

побежала за остальными, – все играли, и ей захотелось. Она споткнулась на лестнице в винный подвал, и малыш выпал из ее рук. Его головка ударилась о ступени. Он ужасно закричал, а затем внезапно замолк. Он умер. Отчаянью матери не было предела, она чуть не сошла с ума от горя. Эся тоже была в ужасном состоянии. Долгие-долгие годы она постоянно помнила о том, что она повинна в смерти мальчика. Уже старой женщиной она сказала мне, что она думала, что никогда не забудет этой трагедии, однако постепенно память стерлась. Все братья и сестры были потрясены.

Вскоре по неизвестной причине умер и отец – Мейер. Постепенно стали разлетаться из дома старшие дети. Старшая сестра Дася кончила кишиневскую гимназию, в которую попала по процентной норме. Она была способная и очень трудолюбивая. В старших классах она уже зарабатывала уроками, готовила девочек в гимназию. А по окончании стала учительницей в начальной школе. В реальное училище попали братья Ефим и Мотя. Одна из девочек, Соня, была очень музыкальна, бабушка помогла, она училась музыке и потом сама стала давать уроки музыки. Однако моя мама и ее сестра Лиза кончили только трехлетнюю школу. Учиться им не хотелось. Любили шалить и гулять. Бабушка Эстер, содержавшая нашу семью, дожила до ста двух лет. Она пристроила маму в учение к портнихе, а Лизу к шляпнице.

Детей Фейге разнесло по городам и весям. Ефим уехал в Германию, там он работал бухгалтером, затем экономистом. Там он женился. Но после войны 1914 года след его затерялся.

Погромы и эмиграция

В девятисотые годы начались знаменитые кишиневские погромы. Резко возросла эмиграция в Америку, начавшаяся еще в конце XIX века. Евреи хотели жить и быть свободными от унижения черты оседлости, процентной нормы для получения образования, эмигранты не-

удержимо стремились реализовать себя, разбогатеть, быть независимыми и свободными. Активность той первой волны эмиграции, проявившаяся в деловой, финансовой и научной сфере, ощущается в США до сих пор, век спустя. Погромы подтолкнули и увеличили эту волну. Задела она и семью Фейге. В этот период семья жила уже в самом Кишиневе, в полуподвальном этаже небольшого дома. Старшие дети стали уже зарабатывать, и семья как-то сводила концы с концами.

В бельэтаже жила русская семья. Жена, молодая красивая женщина с двумя детьми, хорошо относилась к Фейге, которая помогала ей по хозяйству и присматривала за детьми. Но прокатившиеся погромы испугали Фейге, всегда дрожавшую за детей. Первый погром мою маму застал еще в Кишиневе. Больше всего ее испугали страшные лица лавочников, которых она знала, так как покупала у них продукты. Мама рассказывала, что Фейге со старшими детьми убежала в степь, а младших спрятала верхняя соседка.

Семья невесты дяди Моти выехала в Америку, взяв с собой и Мотю. Это была довольно состоятельная и интеллигентная семья, и Мотю, который окончил реальное училище с отличием, они любили. Перед отъездом юная чета обвенчалась в синагоге. Родственники жены помогли Моте учиться дальше, и он стал инженером, успешно работал, купил дом. Вскоре появилась дочь Беатрис. Мотя прислал шифскарту матери, братьям и сестрам. Эти карты были своеобразным вызовом. Бабушка Фейге с дочерью Лизой, ее мужем Борисом и сыном Мироном тоже перебрались в Новый Свет.

Мама и папа

Жизнь моей мамы сложилась иначе. В шестнадцать лет она уехала в Одессу и поступила в фотомастерскую ретушером. Там она встретила моего будущего отца – Павла Ясиновского. В тринадцать лет он убежал из семьи деда, где его воспитывали. Был он незаконным сыном

польского офицера и дочери деда. У деда был шинок где-то в литовско-польском местечке. Дочь его (моя бабушка) обслуживала посетителей и удрала с польским офицером. Жить им было не на что – обе семьи их не приняли, и моя легкомысленная бабушка убежала с кем-то еще, бросив сына. Его забрал отец моей бабки – правоверный еврей. Он обрезал мальчика, дал ему другое имя, учил в хедере и был с ним очень строг. Этим он как бы смыл позор с добропорядочной еврейской провинциальной семьи.

Мой будущий папа, сбежав из дома, оказался в Одессе и поступил работать на щетинную фабрику. Будучи человеком активным, он, естественно, вступил на путь борьбы с царизмом, стал членом партии социал-демократов. Партия была нелегальной. Мама тоже была близка этому кругу, и вскоре они поженились, у них родилась моя старшая сестра Зина.

Они вместе писали, печатали и распространяли листовки среди рабочих и матросов, по заданию партии переехали в Балаклаву, где сняли квартирку, внешне изображая добропорядочную семью. В этой квартире в диване они хранили печатный станок и ночью печатали листовки. Однако полиция их выследила, папу арестовали и сослали в Туруханский край. Маму не тронули, и она с Зиной вернулась в Одессу.

Папа бежал из ссылки, но вскоре опять «засветился», его поймали и судили. И опять сослали за полярный круг. У меня до сих пор хранится кусок бересты, на котором наклеен скромный северный цветок и выцарапано: «Дорогой дочке Зиночке от папы. 130 верст за Полярным кругом». Позже, когда я познакомилась с папой, он с восторгом рассказывал об этом времени. В тех краях жили ссыльные, в основном революционно настроенные. Правительство платило им 25 рублей в год, что было немалой суммой в те времена. Они охотились, рыбачили. Вечерами, за самоваром – споры о политике, чтение газет и брошюр, доставлявшихся тайно приехавшими или женами. Жизнь в царской ссылке разительно отличалась от жизни в советских лагерях и ссылках. Там их не застав-

ляли работать, и жили они со своими единомышленниками. Куда-то пропала фотография папы, где он в большой песцовой шапке, с усами, молодой, красивый, улыбающийся.

В Америке

В 1908–1912 годах в Америке собралась уже большая часть детей бабушки Фейге. Кроме семей Моти и Лизы приехала дочь Соня с мужем и детьми-близнецами. Муж ее был русский, бабушке это очень не нравилось. Соня с мужем поселились не в Нью-Йорке, а где-то в глубинке, где был русский поселок. Соня стала давать уроки музыки.

Несколько лет назад, когда я прочла романы Зингера «Эстейт» и «Манор» – историю одной еврейской семьи в польско-литовском еврейском местечке, – я невольно подумала о том, как точно описал автор судьбы детей правоверного еврея. Там только старшая дочь вышла замуж за хорошего молодого еврея из поселка, вторая, как и моя бабка, сбежала с поляком, третья примкнула к революционному движению, четвертая вышла замуж за русского! Почти точная история маминой семьи.

Характер моего отца, сочетавшего еврейскую и польскую кровь, был строптив и нетерпим. Это привело к ссорам не только с начальством, но и с другими ссыльными. Как будто бы в этом была замешана женщина. Когда я что-то пыталась позже узнать от папы, он упрекнул в неверности маму. Что в этом было правдой, не знаю. Вероятно, и то и другое. Двое молодых людей жили далеко друг от друга. Короче, в этот период наметился кризис. Американские братья и сестры послали шифскарту маме с Зиной. В это же время папа еще раз бежал из ссылки и по подложным документам выбрался сначала в Европу, а потом и в Америку. Там мама с папой вновь соединились. Это произошло в 1912 году на дальнем юге – в Гладстоне. Зину мама оставила у бабушки Фейге в Нью-Йорке. Она пошла в школу, училась хорошо и очень старательно.

У моей мамы долго хранились прекрасно написанные на английском тетради с хорошими и отличными отметками. Папа работал грузчиком, потом рабочим на фабрике. Он быстро освоил язык. У мамы с английским было хуже. Им нравилось в Гладстоне. Жили они в бедном районе. У них не было расовых предрассудков, и они дружно жили с соседями. Родителям очень нравились песни и танцы негров. Жизнь там была дешевая, так что они, даже при своей беспечности, могли посылать деньги бабушке. Но все же, собрав какую-то сумму, они переехали в Нью-Йорк. Сперва поехала мама, она очень скучала по дочке и родным. Она поселилась вместе с Лизиной семьей, но, когда мама устроилась работать, они с Фейге и Зиной переехали в отдельную квартиру. Квартирка была маленькая и невероятно шумная и грязная – рядом проходила поднятая на три метра над землей «воздушная» железная дорога.

Хозяином фабрики, где работали мама и Лиза, был весьма инициативный портной, оказавшийся пионером в шитье готового платья. Шили мужские рубашки, которые не требовали большой точности. Появились электрические машины, работницы были молодые и спорые, работа шла бойко, заработки росли. Это были десятые годы. Америка бурно развивалась и богатела. Труд и энтузиазм новых эмигрантов были серьезной движущей силой. Интересы страны совпадали с интересами людей, и ее процветание было следствием и их усилий. Все хотели обустроиться и жить лучше. Моя мама каждую пятницу приносила домой 50 долларов. Это были хорошие деньги. Хозяин организовал новый цех – стал шить легкое женское платье. В те времена это было новшеством: обычно женщины шили себе сами или обращались к портнихе. Сначала хозяин продавал на самой фабрике дешевые платья своим же работницам и жительницам соседних кварталов.

Папа тоже вернулся и работал, но в этот период он стал писать рассказы на идиш. И даже что-то печатал в еврейской газете. Он по-прежнему был настроен крайне радикально и к Америке относился критически. В это время

маминому хозяину пришла идея – он устроил на фабрике под лестницей маленький магазинчик, поставил туда швейную машину и предложил маме и Лизе там работать. Женщины примеряли недошитые платья, мама с Лизой их подгоняли за очень небольшую плату. Хозяин давал им платья в кредит, продав, они расплачивались с ним, а заработанных денег становилось все больше. Лиза и мама работали споро, успевали подогнать платье по фигуре в течение дня, а иногда за час-два. Магазинчик пользовался популярностью в Бронксе, где жили и работали эмигранты. Публика была непритязательная, цены доступные, и торговля шла бойко. Тогда мама с Лизой сняли сами магазинчик с витриной уже на улице и сами стали заказывать платья, согласуясь с модой и спросом. Они подсказывали хозяину более ходкие модели. В магазинчике стали продавать «сопутствующие товары» – шляпки, сумочки, бижутерию. Короче, обе семьи стали хорошо жить. Мама переехала в новую квартиру, подальше от грохочущей «воздушной» железной дороги. Лиза обладала хорошим вкусом, в витрине всегда висело несколько красивых платьев, шляпок.

Лиза обладала еще и честолюбием и решила, что ее муж Борис должен выучиться на стоматолога. Борис был инертен, ему нравилось работать механиком на фабрике, но Лизина настойчивость победила. Он выучился на скопленные Лизой деньги и, взяв кредит, купил квартиру и зубоврачебный кабинет. Лиза устроила прием для родных и друзей. Это был день ее торжества. Пили за прекрасную жизнь в Америке. Начавшаяся в Европе война была далеко, вся семья прекрасно адаптировалась в Новом Свете. У Лизы родился второй сын – Эмиль, появилась и няня.

Хорошо шли дела и в семье Моти. Он получил высшее образование, работал инженером, Соня была прекрасной хозяйкой. Старшая сестра Дася, хорошо освоив язык, уехала в Кливленд работать в школе. Там она вышла замуж за вдовца с двумя девочками-близнецами. Ей было уже около сорока, и она была счастлива обрести семью.

Ее муж работал в мэрии Кливленда. Однако он родился в Калифорнии, и вскоре они перебрались жить в Беркли, где купили хороший дом. После смерти мужа Дася сдавала комнаты студентам и аспирантам университета Беркли. Пока у нее были силы, она держала пансион – кормила своих жильцов. Они были для нее чем-то вроде семьи.

Короче, жизнь маминой семьи да и других еврейских эмигрантов в Америке была прекрасной по сравнению с жизнью в России. Не говоря уже о существовавшей там унизительной черте оседлости, ограничивавшей возможности расселения евреев, – они могли жить только в некоторых областях России, им не разрешено было проживать в столице и больших городах. Евреи не имели права покупать землю. И, может быть, самое главное – их природная активность была связана. В Америке же они чувствовали себя равноправными людьми, а их дети вырастали уже совсем американцами. Когда наш сын Павлик после ссылки был вынужден эмигрировать, моя мама на прощальном ужине сказала: «Годы в Америке были лучшими в моей жизни. Будешь работать, будешь богатым и счастливым».

Возвращение в Россию

Донесшаяся в Америку весть о Февральской революции переполошила многих эмигрантов из России. Может, в России, на их родине, появится возможность нормальной жизни? Мой неуемный папа был обуян революционными идеями, жизнь в Америке ему не нравилась. Он не приобрел никакой серьезной специальности, его писательские амбиции не были оценены. Он рвался в Россию участвовать в созидании новой социалистической родины, верил в будущую революцию, и это подтолкнуло его к окончательному решению – возвращаться. Бабушка Фейге, сестра Лиза были в отчаянии от этих планов. Здесь жизнь уже наладилась, перспективы были ясны. Зина хорошо училась, стала красивой и разумной девочкой. У ма-

мы и Лизы их маленький бизнес процветал, мама фактически содержала всю семью. Но папа был неколебим. Мама плакала, терзалась, но очень любила папу и решилась ехать. Все противостояло их решению. В Европе шла война, на европейской части Атлантики появились мины, пароходное путешествие становилось опасным...

Поздней осенью 1917 года из Нью-Йоркского порта отходил последний пассажирский пароход в Россию, в Петроград. На нем должны были плыть папа, мама и Зина. Последние сборы, слезы, и они опаздывают на пароход. Папа в отчаянии, семья в надежде, что путешествие не состоится. Но не на того напали. Папа узнает, что пароход должен причалить в Бостоне и там будет стоять несколько часов. Они садятся на поезд и догоняют пароход. Так решилась судьба нашей семьи. Ноябрьские бури в океане, мама плохо себя чувствует, пароход плывет медленно, опасаясь нарваться на мину, встретить недавно появившиеся подводные лодки, попасть под бомбежку с воздуха. Причаливают в Норвегии, там их застает весть об Октябрьском перевороте. В Петроград плыть нельзя. Пароход пускается в рейс вокруг Европы. Проплывают Данию, Голландию и, обогнув Европу, проходят Дарданеллы и Босфор, входят в Черное море и причаливают в Одессе. Путешествие длилось несколько месяцев. В пути мама забеременела. В июле должна была появиться я.

В Одессе папа связался со своими старыми революционными товарищами и ушел воевать на Гражданскую войну. Мама ожидала ребенка. Ее сестра Эся помогла ей перебраться в Херсон, где мама стала работать в богадельне. В июле родилась двойня – мальчик и я. Роды были тяжелыми. Мальчика назвали Павлом. Меня мама назвала Флоренс, по прочитанному в плаванье роману «Домби и сын», который ей очень нравился. К тому же и на пароходе была девочка Флоренс, которая пришлась маме по душе. Очень скоро мальчик простудился и умер.

В богадельне мама готовила еду, так что вся семья была сыта. Я лежала в кухне, в бельевой корзине, на подоконнике. Зина смотрела за мной. Она чувствовала себя

несчастной и все время спрашивала: «Когда мы вернемся в Америку, к бабушке Фейге?»

Тем временем на Украине бушевала Гражданская война, Херсон занимали то красные, то белые, то махновцы. Наступал голод. Кормить стариков в богадельне стало нечем, и они постепенно разбредались, просили милостыню. Кто мог подался к родным, на хутора, оставшиеся слабели и умирали. Мама была в отчаянии и решила отправить Зину в Москву, к дяде Моте.

История дяди Моти

Теперь мне придется вернуться к маминому брату Моте. Я уже писала, что он вполне хорошо устроился в Америке. Но вот любящий муж, во всем послушный своей энергичной и умной жене Соне, все-таки решил вместе с друзьями-инженерами вернуться в Россию. Большинство из них были уже вполне неплохо устроены, однако открывающиеся перспективы построения нового общества в России манили их. Многие были революционно настроены. Они решили закупить оборудование для завода, производящего инструменты: как специалисты, они понимали, что любое производство начинается с инструментов и возрождение российской промышленности иначе невозможно.

Приехав в Россию, они организовали акционерное общество «Русско-американская компания» – РАКОМЗА. Перестроив и оборудовав небольшое здание напротив нашего дома, они начали производить инструменты для будущего первого автомобильного завода. На производственном совещании дядя Мотя встретился с директором завода автомобилей АМО Лихачевым, которому показались интересными соображения, высказанные молодым инженером. Он пригласил моего дядю Толцисса работать своим заместителем.

Дядя был окрылен открывшимися перспективами создания автомобильного гиганта в СССР. Он вступил в партию. Сокрушался он только из-за того, что правитель-

ство не понимает необходимости параллельно с автомобилями строить дороги. Итак, жизнь в Москве дяде очень нравилась, а трудности быта, которые удручали его жену Соню, он считал временными и несущественными.

Зина

Возвращаюсь к судьбе бедной моей сестры Зины. Она была старше меня на одиннадцать лет. Маленькой девочкой она оказалась с родителями и бабушкой в эмиграции. В Нью-Йорке пошла в школу и стала очень хорошо учиться.

В России, где шла Гражданская война, ей пришлось несладко. С моим рождением, в условиях нарастающей разрухи стало еще хуже. Она не понимала, почему исчез налаженный быт, школа, друзья, любимая бабушка. Ей приходилось стоять в очередях, нянчиться со мной, а ситуация становилась все тяжелее. Есть в Херсоне было нечего, и мама, узнав, что дядя Мотя с семьей вернулся в Москву, решила отправить Зину к ним. Было это в 1920 или в 1921 году. Мама собрала последнее, что было, и посадила Зину одну в поезд, идущий в Москву. Билет достать было невозможно, вагоны были переполнены, но попутчики жалели девочку и, когда приходили контролеры, прятали ее под полку, в ящик для багажа. Ехали долго. Продукты кончились. Зина покупала пирожки на станции на деньги, которые дала ей мама. По пути поезд останавливали то белые, то красные, то зеленые.

Когда поезд наконец дополз до Москвы, Зина в растерянности вышла на переполненную людьми площадь Курского вокзала. Она не знала, что Лялин переулок рядом, а извозчик, покатав ее по Москве, забрал последние деньги. Когда грязная, обовшивевшая за дорогу Зина позвонила в дверь родных, Соня не узнала ее: вместо благовоспитанной чистенькой американской девочки с русыми косами и в накрахмаленном платье перед ней стоял большеглазый худой оборвыш-подросток с давно немытыми нечесаными волосами. Она затопила колонку в ванной,

сняла с Зины все, что на ней было, и сожгла. Затем, к ужасу Зины, остригла ей косы – Зинину гордость. Ночью у Зины начался жар – она заболела брюшным тифом. Дядя и тетя опасались, что девочка не выживет.

Зина выжила, но навсегда потеряла свои блестящие способности. Память резко ухудшилась. Совсем исчез английский. Зина была красивой девочкой, но после болезни у нее осталась некоторая заторможенность и скованность в движениях, замедлилась скорость реакции.

В Москве в этот период оказалась и тетя Эсфирь. Она была одинока и любила Зину. Когда мы с мамой приехали в Москву, Зина вскоре переселилась к тете. Она поступила на рабфак и упорно занималась, хотя ей было очень трудно. Я даже написала такие стихи: «Ты отстаешь немножечко в черченье, Но ты возьмешь свое, возьмешь, И приложив могучее терпенье, Вперед пойдешь». Она действительно окончила рабфак, встретила там симпатичного парня Андрея, который нам всем очень нравился, и собиралась за него замуж. Ей было шестнадцать лет. Помню день свадьбы – шумный, бестолковый, но веселый. После свадьбы они ушли в квартиру тети, а та осталась у нас. На следующее утро происходило что-то ужасное, Зина прибежала к нам в слезах. Я толком ничего не понимала, все тревожно и сочувственно шептались. Брак распался в первую ночь. Позднее я узнала от мамы, что у Зины оказался физический недостаток и она не была способна к браку. Все это было ужасным ударом, от которого она долго (может быть, никогда) не могла оправиться.

Подробнее о трагической судьбе Зины я написала в очерке «Гибель моей сестры Зины», помещенном в этой книге.

С мамой в Москву

Итак, отправив Зину в Москву, мама осталась со мной в Херсоне, в бедственном положении. Был момент, когда она решилась отдать меня благотворительной американской организации, кажется АРА. Там брали детей для

усыновления американскими семьями, однако условием был полный отказ от материнских прав и анонимность семьи, взявшей ребенка. Мама, уже истощенная и оголодавшая, стояла в очереди, но вдруг передумала. Она рассказывала, что я вцепилась в нее и, несмотря на предлагаемые чужими тетями игрушки и даже булку, не хотела отпускать. Мысли о разлуке с ребенком, о его сиротстве, о возможной смерти вдвоем смешались, и она решилась двинуться со мной в Москву к брату. Мне было около трех лет, но мама продолжала кормить меня грудью. Молоко еще было – такова сила природы: организм матери отдавал последнее. Я ела и другую пищу, когда она бывала, но после всегда запивала маминым молоком. Я уже хорошо ходила и говорила – все-таки первый год я в богадельне питалась хорошо и была довольно крепкой девочкой. Меня стыдили взрослые за пристрастие к маминой груди, но я не обращала на это внимания...

Шла Гражданская война, голод. Мы ехали очень долго, в каких-то теплушках, поезд стоял днями, неделями. И вот добрались до Харькова. Мама была истощена, в полузабытьи. И здесь, по ее рассказам, я спасла ее и мою жизнь. Мы с мамой ютились на вокзале. Мама в полузабытьи, а я, влекомая голодом, по-видимому не сумев разбудить ее, инстинктивно пошла искать еду. Я вышла с вокзала на перрон. Там у паровоза сидели машинисты и варили на костерке картошку. Она вкусно пахла, и я попросила поесть. Вид ребенка, бродящего по путям, тронул этих вроде бы ко всему привыкших людей. Они накормили меня, я поела, развеселилась и стала танцевать. «А где твоя мама?» – спросил один. Я показала на вокзал. Не знаю почему, но он пошел искать мою маму, взяв меня за руку. Поразительно, но мы разыскали ее. Машинист поднял ее, лежащую на полу, и посадил нас в тендер, за паровозом. По дороге они кормили нас картошкой и хлебом, делились всем, что у них было, и через какое-то время довезли до Москвы.

Здесь нас поселили в соседнем с Мотей доме – с чего и начинаются мои воспоминания. Вскоре у Сони с Мотей

родился мальчик Юзик, хорошенький и веселый. Когда он подрос, мы с ним дружили. С Бикой, старшей девочкой, родившейся в Америке, отношения были прохладные. Она смотрела на меня свысока – она была старше и красива. Впрочем, мирное течение нашей жизни неожиданно прервалось.

Тетя Соня с детьми собралась поехать в гости к своим родителям, в Америку. Я ужасно завидовала: им предстояло путешествие через океан.

Дядя Мотя поехал их провожать до Ревеля (Таллин), но в Москву не вернулся, уехал с семьей в Америку. Я не сразу узнала, что произошло, мама с Зиной и родственниками шушукались на идише, а я поняла только, что какая-то угроза нависла над нами. Очень нескоро я смогла восстановить ход событий. В то время Мотя, увлеченный работой и грандиозными планами создания советской автомобильной промышленности, считал, что экономические трудности, беззакония Чека – дело временное и объясняются классовой борьбой. Он верил, что в будущем мы построим новое социалистическое государство, где все будут равны, эксплуатация и несправедливость исчезнут и все будут счастливы. Люди будут не только работать, но и заниматься литературой, музыкой, спортом, а затем, пройдя стадию «от каждого по способностям, каждому по труду», мы придем к коммунизму, где будет дано «каждому по потребностям». Однако жена его Соня реально смотрела на жизнь, ясно оценивала перспективу, особенно после жизни в Америке. Она видела все беззакония властей и не верила советской власти, боялась ее. Она знала об арестах ни в чем не повинных людей. Даже нэп не обманул ее – в конце 1920-х с помощью непомерных налогов и репрессий его стали уничтожать. Видела она и преследования «бывших», теперь просто служащих. Короче, она решила, пока граница не была еще полностью закрыта, вернуться в Америку.

Мотя возражал, спорил, отказывался да и боялся столь решительного шага. Он понимал, что легально он уехать уже не может. Однако Соня приберегла последний ко-

зырь: она с детьми уедет, а Мотя может оставаться. Этого Мотя допустить не мог. Он обожал жену, и Соня победила. В Ревеле Мотя просто пересел в их поезд, и это выглядело вполне невинно. Они ничего не тронули в своей квартире, взяли только чемоданы. Через несколько дней, когда властям стало ясно, что Мотя сбежал, их квартиру опечатали. Но до этого родственники порастаскали все, что можно. Мама ужасно огорчалась, что большой светло-желтый буфет ночью перетащили к себе Мендельсоны, жившие по соседству. Это на много лет испортило отношения между семьями, но буфет остался у Мендельсонов навсегда.

Затем наступил страшный день, когда маму вызвали в Чека. Там утверждали, что мама знала о побеге брата. Мама же отвечала, что он и не брат ей вовсе, а дальний родственник. Она даже произнесла соответственные слова о предательстве Мотей советской власти.

Мне кажется, что мама, будучи в это время партийной и находясь под большим влиянием сестры Эси, ортодоксальной большевички, отчасти верила в это. Она очень долго исповедовала партийную идеологию, веря газетам и лозунгам. Только когда линия партии сталкивалась с «еврейским вопросом», ее верность линии партии исчезала. Мама годами утверждала, что не знала о Мотиных намерениях, однако много позже призналась мне, что Мотя с Соней рассказали ей о своих планах и даже оставили какие-то ценные вещи и деньги.

Прошло несколько лет. РАКОМЗА перестала быть акционерным обществом, теперь это был небольшой государственный завод. Всех «американцев» одного за другим арестовали. Во многих семьях не стало пап, квартиры «уплотняли», то есть семье в квартире оставляли только одну комнату. Страшно то, что из тринадцати арестованных через много лет вернулся только Бондарчук – основной организатор и вдохновитель всей этой реэмиграции. Я помнила его гуляющим и поющим на каких-то праздниках. «Американцы» жили дружно и недалеко друг от друга, поэтому встречались часто. Бондарчук был высокий,

плотный, веселый украинец. Я встретила его несколько лет спустя после освобождения на улице. Теперь это был худой, сутулый, потухший человек. Шел он с палкой, хромал после инсульта. Работать он не мог и жил с кем-то из детей. Только однажды он сказал моей маме: «Надо было иметь такую умную жену, как Соня». Вскоре он умер. Сознание, что у меня есть родные в Америке, волновало меня в детстве. Что-то таинственное, привлекательное и запретное было в этом знании.

Мои няни

Мама работала на фабрике швеей-мотористкой в три смены. Оставить меня было не с кем, и мама взяла няню – Нюру, девушку из деревни. Многие тогда приезжали в Москву в надежде пойти работать на фабрику, но попасть в общежитие было трудно, поэтому устраивались домработницами. Нюра была веселая, смешливая девушка, расстраивавшая маму прекрасным аппетитом. Не без основания мама полагала, что оставленное мне (я плохо ела) съедает Нюра. Мама даже пыталась у меня выяснять, что именно я съела, но я Нюру не выдавала.

Мы вообще были с ней в хороших отношениях. Я ей не мешала, особо не капризничала, она позволяла мне сколько угодно играть и охотно ходила со мной на Покровский бульвар. Там гуляли красноармейцы из Покровских казарм. Это были простые парни, больше из деревни. Они заигрывали с девушками. Там Нюра, высокая, красивая, особенно громко и заливисто смеялась в ответ на немудреные ухаживания кавалеров. Все же на глазах все было довольно целомудренно: подталкивания, смешки, лузганье семечек. Никакого лапания или грубостей я не помню. Самое большее – попытка схватить за руку, беготня друг за другом. Я наблюдала эти игры с любопытством, но исподтишка.

Когда Нюра устроилась на фабрику, ее сменила следующая няня. Это была кургузая, некрасивая, туповатая девушка, тоже из деревни. Диковатая и молчаливая. С ней

было очень скучно. Но так же, как и Нюра, она много ела и стала полнеть. Это напугало маму. Она решила, что девушка беременна. Мама рисовала себе ужасающие картины, что нянька родит, а уволить ее будет невозможно, так как вступится женсовет – организация, защищающая трудящихся женщин от эксплуатации. И останется она в нашей комнате с ребенком навсегда.

В соседнем доме жила дальняя наша родственница Фаня, акушерка. Дама шумная, агрессивная, бестактная. Я ее очень не любила. Она постоянно ревновала и выслеживала своего более молодого мужа, опутывала его сетью мелких назойливых забот и интриг, пока он, не выдержав, не удрал тайком к другой. Но это было позже. А сейчас мама пригласила Фаню к нам, и она довольно грубо заставила нашу няню лечь на кровать. Та была растеряна, но сдалась нажиму. Тревога была напрасной: нянька оказалась девицей. Я была мала, но цепкая память сохранила всю унизительность этого эпизода.

Детские сады

И вот наступила эра детских садов. Первый был недалеко от маминой фабрики. Мы с мамой ездили туда в переполненных трамваях. Не помню ничего, кроме двора и больших железных ворот, на которых мы висли, ожидая родителей. Радостное «мама» вырывалось у счастливца, за которым пришли. Однажды случилось вот что. Теплый вечер. Мы висим на воротах и ждем. Воспитательницы сидят на лавочке, дожидаясь конца работы. И вдруг на противоположной стороне улицы – мама, и ее ведет милиционер. Жуткий страх, что с мамой произошло что-то ужасное.

Милиционеров я всегда боялась. Я поняла, что мама в опасности. Ее уведут в тюрьму, а я останусь навеки одна. Я кричала и плакала, рвалась к маме, пытаясь выбежать на улицу. Ворота были закрыты. Оказалось, мама нарушила правило выхода из трамвая, а денег на штраф у нее не было. По-видимому, она уговорила милиционера взять

меня с собой. Я несколько успокоилась, поняв, что это неприятность, но не трагедия. Однако этот страх перед милиционерами, да и вообще перед властью, остался у меня на всю жизнь.

О другом детском саде тоже помню очень мало. Он был недалеко, на Земляном Валу. И единственное воспоминание, тоже неприятное. В то время все были одержимы несокрушимой верой в целительность для детей рыбьего жира. Его заставляли принимать, и он входил в рацион детских садов. Может, в то время, после Гражданской войны, когда многие дети были ослаблены, это было разумно. У многих был рахит. Я же рыбий жир ненавидела, меня от него просто тошнило и даже рвало. Дома принимать его я наотрез отказалась. Но что можно было сделать в детском саду, когда рыбий жир наливали в ту ложку, которой потом надо было есть суп? Я предпринимала все – лезла под стол, когда разливали рыбий жир, если удавалось, то выливала его на пол. Однако со мной боролись и постоянно изобличали. Мне приводили в пример хороших детей, которые пили рыбий жир и еще и облизывались, но я тихонько выливала рыбий жир в суп, а суп не ела. Одержимая этой борьбой, садик я ненавидела. Они пытались меня сломить и тоже не любили, как капризную и вздорную девчонку. Мама была в отчаянии, но и она справиться со мной не могла.

«Друг детей»

Мама соседской девочки Милы, моей первой подруги, рассказала о замечательном садике. Он назывался «Друг детей». Так удивительно соответствовало это имя его сути! Садик этот был довольно далеко – в Хохловском переулке.

Мила была пухленькая, добрая и очень хорошенькая. Имя ей очень шло. Мы с ней дружили. Я была выдумщица и заводила, она просто любила меня. Она была спокойно-доброжелательной, а у меня – постоянные комплексы. Я беспокойная, нервная, из бедной, как теперь бы сказали,

неполной семьи. А у Милы – папа инженер, большой, вальяжный, в красивом костюме. У них большая квартира: гостиная, столовая, спальня, кабинет. Хорошая добротная мебель. Пианино, картины на стенах. Граммофон с большой трубой и пластинки. И самое главное, много-много книг – полки с книгами. Этот дом стал первой моей библиотекой. Но о маме Милы, Евгении Семеновне и о ее роли в моей жизни я напишу позже.

В детский сад нас сначала водили, а потом разрешили ходить самим. Мы очень гордились этим. Путь был длинный: из Лялина в Подсосенский, а затем через две трамвайные линии «Аннушки» мы пересекали бульвар и спускались к Хохловскому переулку, почти до Солянки. Небольшой двухэтажный дом с флигельком, а при нем двор, огород и сад. Ниже – большая монастырская стена. Это было древнее строение, связанное с именем Ивана Грозного. Кажется, там заточал он своих жен. Во всяком случае, даже в заброшенном виде (там были какие-то свалки) монастырь своей мрачностью и неприступной стеной внушал страх и какое-то почтение. Напротив стояла большая церковь за металлической оградой на высоком каменном парапете.

А в нашем саду росли яблони и груши. Впереди, около калитки росла старая, развесистая, с многими стволами рябина. На эту рябину нам разрешали лазать. Там можно было сидеть нескольким детям. У каждого было свое любимое место. Мы там пели, щебетали. Там мы вели всякие разговоры, рассказывали разные истории. Я там сочиняла и читала свои первые стихи. Счастьем было все, в том числе приветливость всех – и воспитателей, и служащих.

В детском саду собрался коллектив энтузиастов, которые старались нас воспитывать, любя и пытаясь увидеть, понять и развить то, что в нас было лучшего. Они помогали выявить наши творческие задатки и учили хорошему не разговорами и нотациями, а личным примером. Помню, что мы занимались рисованием, плели, шили платья куклам, клеили аппликации, делали какие-то игрушки, лепили из пластилина. На обоих этажах здания были

большие комнаты – залы. В одной из них столовая, в другой мы днем спали и играли. Спали на раскладушках-козлах с натянутым холстом. В полуподвале располагалась большая кухня с плитой. Там стояли огромные кастрюли, ведра, сковороды, противни, булькал котел с водой.

Больше всех я любила, нет, обожала нашу воспитательницу Серафиму Григорьевну. Доброе, прекрасное, нежное лицо, обрамленное пепельными легкими волосами, сзади собранными в пучок. Волосы ее, плохо державшиеся в прическе, были вроде светящегося нимба вокруг ее прелестного, казавшегося мне ангельским лица. Одета она была, как все в ту пору, во что-то скромное, «учительское». Тогда учителя не только не могли, но и не считали возможным одевать в школу или детский сад что-то яркое, выделяющееся. Платья были с длинными рукавами с воротничком под горло. Платье Серафимы Григорьевны было заколото брошкой-камеей с нежным белым профилем, похожим, как мне казалось, на нее. Почему-то я думаю, что она не была замужем. Теперь, вспоминая ее лицо и фигуру, я думаю, что она была молода. Меньше тридцати лет.

В зале на втором этаже стоял рояль. Там царствовала музыка. Там мы занимались ритмикой. Зал был светлым и веселым. Везде висели наши рисунки. Когда мы входили, Серафима Григорьевна уже сидела за роялем и встречала нас веселым маршем. Мы двигались друг за другом в разных темпах и ритмах, согласно меняющейся музыке. Впереди шла «ритмичка», показывая разные движения, а мы их повторяли. Потом, и это нравилось мне больше всего, мы импровизировали движения под музыку. Это чувство движения, слияния с музыкой окрыляло. Хорошо помню, что мы не разучивали ни бальных, ни народных танцев.

Я была очень эмоциональная девочка, влюбленная в Серафиму Григорьевну. Увидев ее, я неслась со всех ног, сшибая все препятствия, чтобы прикоснуться к ней! Неожиданное мое нападение смущало ее, она не грубо, но решительно отстраняла меня, была сдержанна. Я не помню

ее бурно оживленной, громко или быстро говорящей. Мне думается, что какая-то печаль, может быть одиночество, гибель или разлука с близкими, как-то ощущались в ее облике. Но тихий свет ласки и добра, исходивший от нее, утешал и успокаивал. Мы все старались заслужить ее одобрение, тихое слово или улыбку.

Она хвалила меня за мои первые стихи, за самозабвенные танцы. Танцы вообще были моей страстью – я могла дома без музыки танцевать часами, обернувшись маминой зеленой шалью. Вряд ли Серафима Григорьевна хорошо играла на рояле, но мне казалось, что прекрасно.

Еще я помню хрупкую, маленькую интеллигентную женщину – нашу заведующую Варвару Николаевну. Энергичное существо, в вечных хлопотах по обеспечению нашего хозяйства. И хотя мы плохо осознавали трудную жизнь взрослых, но теперь я понимаю, как трудно было в годы после Гражданской войны обеспечить детей питанием, книгами, бумагой, красками, всем необходимым для нашего воспитания. Помогали шефы, родители.

В саду была небольшая столярная мастерская. Всем хозяйством сада ведал муж Варвары Николаевны Василий Иванович. Это был очень высокий, худой, длинноногий человек. Он неизменно носил черную сатиновую косоворотку, полосатые бумажные брюки и сапоги. Только летом косоворотка была из светлого ситца в полоску, а на ногах сандалии на босу ногу. Он делал все – чинил мебель, пилил и колол дрова, топил печи. Он всегда был деятелен, тихо доброжелателен к детям. Он никогда не играл с нами, не беседовал, но всегда помогал, если ребенок хотел что-нибудь сделать, и был неизменно терпелив. Он организовывал «эстафеты», когда мы, встав цепочкой, передавали друг другу поленья из сарая или складывали добытые где-нибудь кирпичи. Варвара Николаевна была центром организации, а Василий Иванович – главной рабочей пружиной в нашем доме.

Почему-то было ясно, что это неравный брак. Она явно интеллигентная, кончила гимназию и курсы, знала языки, а он из простых. Однако они любили друг друга.

Детей у них не было, вся их жизнь была отдана нам, и мы это чувствовали. Они жили в малюсенькой комнате в небольшом флигельке. Не помню, как я там оказалась, кажется, поранила руку, а аптечка была в их комнатке. Почти всю комнату занимала постель – топчан. Сверху старое, но красивое покрывало. Малюсенький столик, с витыми ножками. За занавеской, заменяющей шкаф, висела немудреная одежда хозяев. На стенах много фотографий – дамы в больших шляпах, важные мужчины, дети на руках прелестных женщин. На самодельных полках книги на разных языках.

Были в нашем саду повариха и помогавшая ей женщина, была еще одна воспитательница, но сейчас я помню только тоску, когда (очень редко) Серафимы Григорьевны не было.

Солнечные ванны

В летний день мы раздеваемся, чтобы принимать солнечные ванны. Ложимся сначала на живот, потом поворачиваемся на один, другой бок, на спину. В завершение нас обливают из лейки прохладной водой. Все это очень приятно и весело, но что-то есть необычное в том, что мы все голенькие – и мальчики и девочки. С большим любопытством смотрю на Андрюшу, на какой-то маленький беленький хвостик внизу живота. У меня нет братьев, в семье нет мужчин, и только однажды я видела что-то подобное. Но увиденное волнует, тем более что Андрюша мне нравится. Хотя всем хорошо известно, что Андрюшина любовь – Ася.

Огород

Во дворе справа был огород. Что-то там выращивали взрослые. Но и нам весной выделили по маленькой грядке. Они были вскопаны Василием Ивановичем, но и мы перекопали эти грядки маленькими лопатками. Потом мы полили землю. На скамейке лежали разные семена – мы

могли выбирать, что посеять. Взрослые помогали и учили нас. Я выбрала подсолнечник. Я весело натыкала по периметру грядки семечки, и довольно быстро ростки начали тянуться вверх. Я с пренебрежением смотрела на выбивающиеся ростки морковки, свеклы.

Мы поливали и ревностно следили за нашим огородом. Я была очень довольна собой.

Вскоре у кого-то поспели и лучок и редиска, и мы радостно хрупали их. Начали поспевать репа, тыква, огурцы, морковка. У всех что-нибудь было, и только у меня громадные стебли несли красивые, не очень крупные желтые головки, но семечки в них были белые, незрелые. И вот наступил праздник урожая. На столах в зале лежат плоды наших трудов. Помню большую тыкву, морковь, огурцы, репу и свеклу. Около каждого экспоната имя и фамилия вырастившего эти сокровища. И только у меня блеклая головка завядшего подсолнечника с белыми зернами. Я на всю жизнь запомнила этот безмолвный урок. Помню неудовлетворенность, легкий стыд – ведь я ничего не делала со своей грядкой! Даже то, что в этот день меня похвалили за «книжечку» сочиненных мною стихов, не исправило дурного настроения. И вроде я могла бы гордиться и радоваться: не все еще хорошо читали и писали, а я уже «сочиняла»! Но я-то чувствовала: в чем-то существенном, что вызывало уважение наших любимых воспитателей, я поступила плохо, мною двигала лень и что-то «показушное».

Снимается кино

Мы с Милой спускаемся, как обычно, вниз по бульвару – в детский сад. Торопимся – опаздываем. Бежим, подпрыгивая. И вдруг на фоне монастырской стены – белые всадники в зеленых с красным мундирах размахивают саблями. А навстречу им наши – красные, тоже верхом, атакуют. Кто в старом солдатском, кто как. Нам и страшно и интересно. Может, правда бой, но оказывается, это снимают кино. Человек с рупором кричит: «На-

зад», и всадники разъезжаются. Здесь мы видим и киноаппарат на треноге, человек крутит ручку. Мы бежим в сад – рассказать об увиденном. Но где-то сохранилась память о страхе – а вдруг и вправду война?

Я читаю

Ранняя весна. Летом мне будет пять или шесть лет. Я ужасно хочу научиться читать. Взрослым некогда читать мне вслух, а я ужасно люблю сказки. Мама, Зина показывают и рисуют мне буквы. Да я их все знаю наизусть. Но написанные, напечатанные слова я могу прочесть только знакомые – мама, дом – не по буквам, а просто по памяти.

И вот однажды мы с Милой идем утром в детский сад. Я, как всегда, смотрю на вывески, вижу буквы и вдруг – о, чудо! – буквы соединились в слово, большое слово – БУЛОЧНАЯ, и я как безумная бегу по переулку и читаю все подряд – «МЯСО», «ГАЛАНТЕРЕЯ», «КООПЕРАТИВ». Объявления, афиши. Я такая счастливая, прыгаю от нескончаемой радости – «я могу читать». Я бросаю Милину руку (нам велят ходить за руку), я пьяна от счастья. Мы прибегаем в сад, я бросаюсь к Серафиме Григорьевне: «Я умею, я научилась читать!» Кажется, я первая в группе научилась, поэтому я переполнена гордостью и тщеславием. Серафима Григорьевна немного успокаивает меня и говорит: «Ты умница. Вот возьми книжку и прочтешь всем детям. А сейчас мойте руки и пойдем завтракать». Я беру книгу и читаю: «Три медведя». Я знаю ее наизусть. Я прошу дать мне незнакомую книгу! Серафима Григорьевна, по-видимому, понимает мое состояние, гладит меня по голове, обещает поискать. Но ей надо помочь нам раздеться, помыть, накормить. Ей некогда. Потом я ей почитала, конечно. Она радовалась каждому нашему успеху. Но что я помню уверенно – с этой поры совершенно изменилось все.

В мою жизнь навсегда вошла книга. Задача была одна – достать книгу. Я выпрашивала, мне давали. Потом,

уже в школе, я записалась в библиотеку. Самое счастливое состояние было, когда кроме книги, которую я читала, дома лежала одна или две, еще не читанные. Я бежала домой с острым чувством ожидаемого счастья. Пожалуй, и сейчас еще сохранилось чувство радости, когда дома ждет интересная книга, особенно если это длинный роман.

Какое это блаженство! Читать, не помня о несделанных уроках, о невымытой посуде, о недовольстве мамы. Так как все книги были чужие, то я привыкла с ними очень бережно обращаться. Заворачивала в бумагу, никогда не перегибала, не пачкала их. Это отношение осталось у меня на всю жизнь. Хохловский переулок с детским садом – нежнейшее мое воспоминание. Мальчикам, в которых я позже влюблялась, с кем бродила по московским улицам, я показывала наш садик и окошко, около которого стояла моя кроватка. Совсем взрослой, даже старой я опять пошла туда, с путеводителем. Я узнала, что в доме напротив был знаменитый архив, где работал Н.М.Карамзин, когда писал свою «Историю государства Российского». Пушкин тоже там бывал. И родилось у меня стихотворение:

В Хохловском переулке

Вот оно мое окошко,
Детский сад.
Монастырь стоит стеною,
Дети спят.
И беззвучно
Я губами шевелю,
Потому что сочиняю
И люблю.
В полудреме происходят Чудеса,
Надо мною – серые глаза,
Легкий дым волос
Над головой,
Легкая рука
Несет покой.

Страсть – обнять, заплакать,
Страх сказать.
«Тише, детка, спи».
Как дрожь унять?

Царицыно

К нам через день приезжает молочница Луша. Она приезжает в наш дом с двумя бидонами молока. Иногда она приезжает на подводе, запряженной лошадкой, а иногда и на поезде, а затем идет пешком с Курского вокзала. Мне неуютно, что ей так тяжело разносить молоко по этажам. Молоко очень вкусное, и мама рада, что я охотно его пью, особенно с мягким черным хлебом. Я худенькая, даже тощая, ем неохотно. Особенно не люблю мамин суп. Вот у тети Поли в соседнем доме очень вкусный куриный бульон – золотой, с клецками. Несмотря на нашу бедность, мама, как все еврейские мамы, считает, что ребенка нужно хорошо кормить.

Как-то в самом начале лета Луша привезла молоко на телеге. Ей нужно было купить кое-что по хозяйству. «Мироновна, и что это девчонка твоя дома сидит, млеет? Давай я ее в деревню с собой заберу. И отдохнет, и поможет – цыплят будет кормить, с ребятами моими поиграет». Мама была, конечно, рада, хотя и побаивалась неизвестности. Я умоляю: «Мамочка, отпусти, мамочка, разреши! Пусти! Я с Лушей поеду, ну пожалуйста, мамочка!» Мама быстро меня собрала, и вот я, счастливая, уже сижу в телеге на сене. Мы тронулись. Москва с большими домами кончилась довольно скоро, началась окраина, а затем и деревеньки потянулись вдоль шоссе. Не помню, сколько мы ехали, может, и не так долго, но восторг мой длился и длился. Кругом леса, поля, пруды, деревни, колодцы, лошади, коровы, собаки, куры, утки. Все лучезарно в свете утреннего солнца. Лошадка бежит, и я прошу у Луши подержать поводья. Страха никакого, напротив, обретение нового, неизведанного счастья совместного существования с окружающим миром. Под конец пути проезжали

мимо прудов, а впереди сказочный Царицынский дворец, кажущийся издали невероятно нарядным, волшебным, заколдованным. Позже, когда мы бегали туда играть и купаться в царицынских прудах, я узнала от местной учительницы таинственную и трагическую историю этого дворца, который так и не обрел хозяйку, – Екатерине II он не понравился. Столетия стоял он бесхозным и разрушался. Хорошо помню, как двоились желания – ехать бесконечно, мерно покачиваясь, провожая взглядом косогор с церковкой, пруд, одинокое дерево, и желание поскорей попасть в новый, неизведанный мир, имя которому Деревня. До сих пор я знала ее только по рассказам, стихам, картинкам в книжках. Я знала, что деревня – это то, что дает нам пищу: молоко, мясо, овощи, яйца, кур. Но вот мы и дома. Я бросаюсь на скотный двор, довольно большой – две лошади, две коровы с теленком, свиньи, куры, утки. Меня поражает счастливый жеребенок, выбежавший из хлева на призывное ржанье матери. Кобыла треплет его загривок и трется головой...

О быте – очень непривычно и стыдно было писать в хлеву. Луша стелила мне постель в горнице, на лавке, но я убегала с ребятами спать на сеновал. Там было весело, смеялись, рассказывали всякие истории. Страшных я всегда боялась, затыкала уши или убегала обратно в избу. Шел нэп, хозяева были середняки, жили тогда неплохо – ели и мясо, и молоко, и творог, и яйца, картошку жарили на сале.

Работали много, но, продав свой товар в Москве, могли купить обувь, плуг и все, что нужно в хозяйстве. Вечерами, у самовара, ели пироги с картошкой, капустой, булки, бублики, иногда и конфеты, купленные в магазине. Было весело, много шутили и смеялись.

Гроза

Однажды мы с ребятами пошли в далекий лес. Небо хмурилось, собирались тучи. Стало холодно. Лес шумел от ветра. Тучи становились все темней. Неожиданно все

затихло, ни один листик не шелохнется. И вдруг молния разверзла небо, загремел гром и хлынул сильный дождь. Кто-то из детей испугался, а мною овладел какой-то восторг – молнии разряжались друг за другом, грохотал гром, а мне становилось все радостней. Я ощущала счастье от ливня, от вида молний и клубящихся туч, от грохота грома.

Я бегала по полянке, пела и танцевала. Ребята торопились домой, боялись, что молния ударит в нас, рассказывали про одну тетку из деревни, в которую ударила молния, и как ее закапывали в землю. Но я была счастлива, и все. Дома мы залезли на печку, Луша ругалась, но не очень. Печь была горячая, пахло вкусно. А у меня на всю жизнь осталось ощущение радости от грозы. Лучше всего это оказалось выраженным у Тютчева (которого прочла позже): «Я знаю, ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Шутя, на землю пролила».

Запахи

В деревне я ощутила, как сильно действуют на меня запахи. Запах свежевспаханной земли, запах свежего навоза. Запах горячей травы под летним солнцем. Запах грибов, запах притаившейся земляники, палых осенних листьев.

Иногда, внезапно, чувствуя какой-то запах, вспоминаю освещенный солнечным лучом кусок леса, одинокое дерево, копну и тот запах, который я ощутила впервые в этом месте. Еще помню запах жаренной на сале картошки. И зимой – запах и хруст подсиненного белья, казалось, снег и небо передали белью свою чистоту, хруст и голубизну.

Цветущая вишня

Напротив нашего дома, чуть вправо, в глубине довольно большого двора и сада невысокий дом. Он назывался

инвалидным. Может быть, там жили инвалиды Гражданской войны. Во всяком случае, входить туда не то чтобы запрещалось, но не поощрялось. Считалось, что мы мешаем инвалидам отдыхать. Мы, конечно, там бывали, но нечасто.

Однажды я забрела туда ранней весной. Почки на деревьях только набухали, и вдруг я увидела, что одно небольшое тонкое деревце стоит в белой дымке розоватых снежинок цветов. Без листьев, только белый, полупрозрачный, легкий шар, слегка волнующийся под веяньем весеннего ветерка.

Церковь

Прямо перед нашими окнами – церковь. Часто, особенно по праздникам, звонят колокола. А что в церкви? Там молятся. Главным образом старушки. В церкви темно. Теплятся только немногочисленные свечки и лампады. Вокруг нас никто в Бога не верит, даже Нюша, приехавшая из деревни. Может, она немного и верит, но муж партийный, не велит. Вообще церковь что-то полузапретное, немного интересное, но и скучноватое. И мы все знаем, что религия – дурман для народа, и все, что мы случайно слышим или читаем в старых книжках о Боге, – легенды. Ну как можно воскресить человека или накормить сотни людей двумя хлебами?! А самое главное, как можно распять Христа, а потом он воскрес? Однако ощущение неведомой тайны где-то таится. Рядом с нами живет тихая, какая-то очень старомодная девочка Ира. Она ходит с бабушкой в церковь, молится и носит крестик. Она отказывается вступать в октябрята. Мы все знаем, что это дикость, но в то же время и уважаем ее за это. И когда церковь закрывают и в ней устраивают мастерские, я, видя толпящихся около нее старушек, чувствую смутную вину. Однако эти чувства мимолетны. И вместе с другими ребятами я громко тараторю популярную тогда чепуху: «Долой, долой монахов, Долой, долой попов, Залезем мы на небо, Прогоним всех богов».

Первые коньки

Мне семь лет. Зима. А в соседнем дворе, который виден с кухонного балкона, залили каток. Конькобежцев я уже видела на Чистых прудах, но здесь, рядом... Неужели я не смогу, как они, скользить по льду? Я умоляю маму купить мне коньки. Она соглашается. Но денег у нее очень мало. Новые стоят непомерно дорого для мамы. Мы купим на рынке подержанные «снегурочки». Теперь таких коньков нет. Они привинчивались к обыкновенному ботинку: в каблук вделана металлическая пластинка с ромбовидной дырочкой, в коньке – ромбовидный, поперечный штырек. Штырь вставляется в пластинку и поворачивается. Этим держится задняя часть конька. А спереди две завинчивающиеся скобы, которые охватывают спереди подошву ботинка. Такие коньки – настоящие серебряные – купили Оле, соседской девочке. И Оля уже катается. А я жду и тороплю маму. У мамы есть знакомый, такой смешной маленький человек с впалой грудью. Он всегда рассказывает занятные и смешные истории, происходящие на рынке. Он продает там какие-то мелкие, с моей точки зрения ненужные, вещи. Я не знаю, где он их берет, – иголки, шпульки для швейной машинки, вилки, ложки, кастрюли, гвозди, веревки, керосиновые лампы. Я его немножко презираю за бедную неряшливую одежду, за то, что забавляет публику, за выраженный еврейский акцент. Но странным образом взрослые его уважают. Он, по их мнению, ученый. Он изучает Талмуд – священную еврейскую книгу. Он толкователь Библии. Но для меня это еще больший вздор, чем церковь, потому что и слепому ясно, что Бога нет. Вот этот дядя Ефим обещает купить на рынке коньки в воскресенье. Мама дает ему деньги, и я жду понедельника. Дядя Ефим торжественно приносит сверток: «Я, Поля, купил коньки за рубль! Сэкономил тебе два рубля», – и отдает маме сдачу. Я судорожно разворачиваю сверток и вижу, что там действительно лежат «снегурки». Но какие страшные! Насколько они не похожи на блестящее Олино чудо. Они ржавые, штырек полу-

стерт, завинчивающиеся лапки-скобы проворачиваются. Меня все утешают, что кататься все равно будет хорошо. Я, конечно, радуюсь и бегу к дворнику, который все умеет и приделает к каблуку пластинки. Он делает, но явно посмеивается: «Наверное, твой дядя Ефим их на помойке нашел», хотя прекрасно знает, что в те времена на помойке не найдешь и обрывка веревки. Я бегу на каток, кто-то помогает мне надеть коньки, бросаюсь на лед, уверенная, что заскольжу, как птица, и мгновенно падаю. Но все идет своим чередом, через час я уже немного катаюсь, хотя коньки мои держатся плохо, соскакивают и завинтить их очень трудно. Но какие-то старшие мальчики всегда помогают. И я катаюсь. Восторг быстрого скольжения. Упоение и счастье. На следующий день я уже полностью овладеваю движением вперед, начинаю осваивать повороты. Все идет прекрасно. Я перегоняю многих своих подруг, Олю, Милу. Однако коньки все время сваливаются в самый неподходящий момент, и я плачу от досады и отчаянья. Но как много раз в моей жизни добрая Мила предлагала мне покататься на заграничных коньках. Они напрочь приклепаны к блестящему ботинку, и они мне только немного велики. Если я оберну ногу газетой, то они в самый раз! Я переполнена благодарностью Евгении Семеновне – Милиной маме. Она опять проявляет ко мне великодушие, так же, как с книгами. Книги в прекрасных переплетах, но она мне дает их читать. Так и сейчас – она не дарит коньки, а вроде бы дает покататься. Это особенно ценно, потому что мне не кажется, что я ей нравлюсь. Однако на этих коньках я прокаталась несколько счастливых зим. Мы ходили с Милой на Чистые пруды и на каток в Сыромятниках, около Яузы. Там играл духовой оркестр и было так весело кататься под музыку. Мне нравилось все – кататься одной, вдвоем, бегать на скорость, наперегонки. Все это шло у меня прекрасно и укрепляло мое самолюбие, уравновешивало бедность, плохое знание истории и неуспехи в математике. Никто не мог помочь мне в этом дома. И хотя книгами я многое добирала, но ямы незнания были ощутимы. Любовь к катанию на коньках все

росла, я участвовала и часто побеждала на каких-то соревнованиях. Стало нравиться кататься парой с мальчиками. Увлечение коньками кончилось, когда появился в моей жизни Яша, – он не любил и не умел кататься на коньках, но обожал лыжи.

Первое кино

Примерно в период первых коньков я впервые увидела и кино. Покровские Ворота. Дом, которым кончается бульвар. С фасада магазин «Рыба», а сзади маленький частный кинотеатр. Это комната с лавками, метров сорок. Перед входом – женщина. Она продает билеты и пропускает в зал. Билет стоит 5 копеек.

Сбоку от экрана пианино. За ним тапер – пианист, сопровождающий музыкой картину. Фильм, конечно, немой, и реплики пишутся на экране. Народу много, особенно детей. Душно.

На экране начинает что-то мелькать. Видно плохо, какие-то черно-белые фигуры. Но постепенно начинаю разбираться. Пароход. На него по трапу поднимаются Пат – длинный, в коротких штанах и узком пиджаке, еле застегнутом на одну пуговицу, и Паташон – маленький, круглый, в круглом котелке. Уже на сходнях Паташон падает, зацепляется ногой, Пат, вытаскивая его, падает в воду сам. Неудержимо смешно. В зале хохот, стон, крики, хлопки. Наконец они на пароходе. На палубе Пат в качку садится на пышную даму. Опять смех. Скандал. За даму вступается ее муж с усами. Паташон еле уволакивает друга. Качка. Всем плохо. Пат и Паташон бредут, шатаясь, по палубе. Громадная волна окатывает их, почти смывая с палубы, однако Пат зацепляется за поручни своими длинными ботинками, и они опять спасены. Что там еще происходило, не помню, помню только, что было смешно, весело, радостно. Потом помню Гарольда Ллойда. Это был нелепый молодой человек в больших роговых очках, который тоже попадал во всякие передряги, но все всегда кончалось хорошо. Кажется, фильм назывался «Букет моей бабушки».

Бабушка тоже была смешная, в буклях и капоре с оборками и лентами. Был там очень смешной кадр – Гарольд Ллойд еще младенец в коляске, но уже в больших роговых очках. Еще помню Бастера Китона – тоже приключения на пароходе. Он никогда не улыбался. И, конечно, полное потрясение – Чаплин. Много смешных фильмов с громадными дядями, крупными дамами, но даже в перипетиях с более сильными и хитрыми людьми в результате Чаплин побеждает. И его любит очень хорошенькая девушка. Потряс фильм «Малыш». Кроме Чаплина там был очаровательный мальчик, очень трогательный и смешной. Помню, что у всех детей в финале фильма были крылья. Я не понимала, что это сон.

Сказки и жизнь

Я еще не умею читать, но обожаю слушать. Особенно сказки. Две из них мне запомнились какой-то необычной связью с жизненными впечатлениями. Одна, кажется, называлась «Золотые оконца». Мальчик каждый день видит вдали на закате домик, в котором золотые оконца. Его неудержимо тянет узнать, что это за домик и какие замечательные люди там живут. Один раз он собрался и отправился в это далекое путешествие. Пришел, а домик самый обыкновенный. Он спрашивает хозяев, а они отвечают, что домик с золотыми оконцами виден при восходе, далеко от них. И они показывают ему его дом! Почему-то меня этот рассказ очень волновал. Неосуществимость мечты? Не знаю.

Я очень любила сказку про братца Иванушку и сестрицу Аленушку. Когда была в деревне, я побаивалась, что гуси могут утащить меня. А еще меня волновала сказка «Аленький цветочек». Я всякий раз с трепетом ждала, когда чудище станет красавцем. И страшно переживала за Кая и Герду в «Снежной королеве», все опасалась, что не вернется Каю теплое сердце.

Особенно хочу рассказать о сказке «Три медведя». Это было в Царицыне. Кто-то из старших детей читает сказку

вслух. И я вдруг осознаю, что старшего, Михаила Ивановича, знаю. Это крестный, который живет сейчас у Луши, помогает с сенокосом. Ну, конечно, это он! Большой, неуклюжий, мощный. Мы как-то обедали с ним за одним столом. А щи Луша ставила в чугунном котле посередине, однако миски были у каждого. И когда Михаил Иванович спросил: «А где моя большая миска?», я так и вздрогнула и, тихонько толкнув его локтем, сказала: «А я знаю, что ты – Михаил Иванович». Он засмеялся: «А как ты догадалась?» Так надолго где-то затаились и догадка, и сомнение.

НЭП

Что-то произошло с магазинами и настроением людей. До этого я смутно помню стояние в очередях и что мое присутствие было необходимо – продукты были нормированы, и их давали на ребенка тоже. И вдруг в нашем переулке открыты два магазина. Один – на углу Лялина и Малого Казенного. Он сияет свежевыкрашенными прилавками и любезными продавцами в белых халатах. Там все красиво и вкусно, но дорого. Мама покупает какой-то необыкновенно вкусный и свежий хлеб, гречневую крупу. Мне продавец дарит конфету! В какой-то день мама разрешает мне самостоятельно купить два яйца. Она мне дает 2 копейки, и я покупаю и гордо, бережно несу яйца маме. Еще помню, как мы с мамой купили полфунта ветчины, – она таяла во рту!

Наискосок от нашего дома, на углу с Яковлевским переулком открылся совершенно потрясающий магазин канцелярских товаров. Теперь он, может, и не удивил бы, но в те времена, когда даже карандаш и простую тетрадку достать было трудно, это было нечто невиданное. Перед нашими широко раскрытыми глазами лежали десятки различного вида и цены тетрадок, сотни листов белой и разноцветной бумаги, прозрачной и гофрированной, множество разных ластиков, скрепок, кнопок, точилок для карандашей, стоящих на столе, карандашей, красок, кисто-

чек. Это было незабываемо прекрасно. Мы толпились у прилавков, немного мешали продавцам, но соблазн был велик, и, когда попадали к нам хоть небольшие деньги, мы неизменно что-то покупали, даже предпочитая эти предметы сладкому. Помню большое огорчение, когда нэп заканчивался. Сначала в магазине кончилось изобилие и разнообразие товаров, а потом магазин закрылся.

Наша квартира

Я уже упоминала, что мы жили в коммунальной квартире в бывшем доходном доме. Теперь расскажу о быте нашей коммуналки. На кухне был черный ход – туда выносили мусор, а оттуда приносили дрова для топки колонки в ванной, выходили на задний балкон вешать белье. Стирали тоже на кухне, в корытах со стиральной доской. Кухня для шести семей была мала. После войны там установили газовую плиту с шестью горелками. Вечером, когда все возвращались, было тесно и небесконфликтно. «Общие места» убирали по очереди. Дежурства считали по комнатам и по людям. Такие же трудности были с расчетом платы за свет и газ.

Тверские

В соседней с нами комнате поселился Василий Иванович Тверской. Он был машинистом, но теперь работал механиком в паровозном депо. По-видимому, он был хорошим механиком, потому что иногда за ним прибегали и просили помочь. Еще у него стоял на комоде маленький, но совершенно точный, по деталям, паровоз – это был подарок от начальства за хорошую работу. У паровоза двигались поршни и колеса, свистел свисток.

Руки Тверского всегда были черные, и сам он был приземистый, плотный, темноволосый, молчаливый человек. Ходил и держался солидно. Иногда выпивал. Как-то, повеселев, уезжая в деревню, сказал: «Привезу жену молодую».

Привез Нюру. Она была высокая, круглолицая, с тяжелой темно-русой косой, высокой грудью и ярко-голубыми широко распахнутыми глазами. Родом они были из Зарайска Рязанской губернии. Это слово «Зарайск» Нюра произносила звонко, мечтательно. Она привезла с собой приданое – перины, одеяла, подушки и много накидок, салфеток и скатертей, которые связала сама. Дом убрала как подобает: высокая постель с подзорами и массой взбитых подушек с накидками. На комоде – салфетки, две вазочки с искусственными цветами, в центре зеркало, а спереди семь слоников, дареных на счастье. На диване, который к свадьбе купил Тверской, тоже подушки с вышитыми крестом и гладью цветами и, особенно интересные, ришелье – вышивка с дырочками, на голубом сатиновом фоне.

Нюра любила вспоминать о деревне, всегда идиллически, как о потерянном рае. Вспоминала о маме, крестной, сестрах, о том, как прохладным утром выбегала доить коров, выгоняла их к пастуху, давая телкам по краюшке хлеба с солью.

Первое время она пела, и голос у нее был глубокий и приятный. Она пела русские песни, обычно печально-протяжные. Частушек и шутливых или каких-либо залихватских песен не пела. Рассказы ее всегда были о деревне и о том, как прекрасно там жилось.

После революции им дали землю. Семья была большая, работящая, и они быстро встали на ноги, стали крепкими середняками. Две коровы, каждый год телки, купили лошадь – Нюрину любимицу.

И здесь приехал в отпуск Василий. «Выходи за меня, в Москву поедем». Он был серьезный, положительный, добрый. «А ко мне тогда несколько парней сватались. Я и хороводы водила, и пела, и плясала, и в деревне обо мне хорошо говорили. Я уж говорила, что у нас был молодой конь, я его ласкала, и он все за мной да за мной. Я вот однажды и говорю Василию: «Ты как Васька за мной бегаешь». Василий обиделся, но стал еще больше наседать на меня – поженимся да поженимся.

А мне он и нравится, что серьезный, положительный, грамотный и в политике разбирается. Отец мой с уважением к нему относился, да и мать говорит: «Не упускай, Нюрка, свою судьбу. Поедешь в город, и нам чем пособишь. А главное, он тебя уважает, любит. Работа у него хорошая, будешь за ним хорошо жить». Мне и жалко, и страшно было из дому, из деревни уезжать, но решилась. Только огорчилась, что не хотел он в церкви венчаться – “партийным нельзя”».

Сначала Нюра не работала, хлопотала по дому, шила, плела кружева (это она очень любила), а вскоре у них родился сын Ванечка.

Тверской возвращался с работы медлительный, немногословный. Шел в ванную, где долго и шумно мылся под краном. Нюра разогревала щи, которые он неторопливо хлебал с большим ломтем черного хлеба.

Газовая колонка тогда еще не работала. По-настоящему мыться ходили они по субботам в баню. Нюра несла обоим чистое белье, ему рубаху. Возвращались распаренные и, не торопясь, садились есть. Нюра несла из кухни полную сковороду жаренной на деревенском сале картошки.

Я любила смотреть, как Нюра жарила картошку. Кусок сала был розовый, щедро посыпанный крупной серой солью, хранившейся в белой холстинке. Нарезала она сало ровными квадратными кусками, и оно шипело, разбрасывая брызги, когда Нюра бросала туда ломти картофеля. Иногда она заливала картошку яйцами с ярко-желтыми желтками. Яйца Нюра тоже привозила по случаю из деревни. Нюра ездила в деревню раз или два в год.

Сборы были долгие, обстоятельные. Она везла всем гостинцы. Матери, сестрам, снохам – отрезы на платья, бабушкам и теткам – платки. Везла крупы, сахар. Иногда – инструменты или что по хозяйству отцу. Ну и, конечно, конфеты – это был особый, городской и желанный для детей и взрослых гостинец. Все это покупалось постепенно, складывалось и к отъезду превращалось в большой груз.

Ванечка и Вася

Когда у Тверских появился Ванечка, тихий слабенький ребенок, он стал центром, радостью и страхом Нюриной жизни. Родился он, когда мне было три или четыре года, и стал для меня куклой и младшим братишкой. Часто его клали на разобранную для этого родительскую кровать. Серьезный, не очень живой, он улыбался редко, плакал тоже редко и тихо.

Нюра пускала меня к нему на кровать – я с ним играла, а она могла чем-нибудь заняться. Мы играли в принесенные моей мамой катушки – «человечки», которые одевали в разные лоскутки и разыгрывали с ними всякие сцены. Героями наших представлений были персонажи из книг, и реальные люди – Нюша, Тверской, соседи. Еще я очень любила ему читать, рассказывать сказки. Он внимательно слушал. Уставится на меня своими голубыми глазами, похожими на Нюрины, и слушает. Меня очень трогали его любовь и восхищение моими рассказами.

Моя мама кое-что слышала о заразе, об инфекции, и ей не очень нравилось мое сидение на кровати Тверских. Но ее почти никогда не было дома, а мы с Нюрой старались не делать это при ней. В то время жили все очень бедно. И когда Нюра привозила деревенские гостинцы – огурцы соленые, сало, семечки, яблоки, она всегда нас угощала. Чего я в детстве да и теперь не люблю, так это щи из кислой капусты. «Ты жидовочка, вот тебе и не любо, а сальце-то любишь».

Но произошло ужасное: Ванечка заболел дифтеритом. Мама очень боялась, что заболею и я. Когда пришел врач, я заглянула в их комнату – Ванечка лежал синенький на кровати и тяжело дышал. Его увезли в больницу. Громко причитала Нюша: «Свет мой ясный, что с тобой приключилося, кто на тебя порчу навел?!» Ваня в больнице умер.

Горе Нюры было беспредельно. Ванечка был ее единственной, глубокой любовью, ее радостью и надеждой. Она ходила простоволосая. Не убиралась, не умывалась, вдруг сдала, как-то расползлась. После смерти Вани ни-

когда не вернулась к ней ясность взгляда, ее молодой облик. И Тверской все больше пил. Но поначалу разума не терял. Иногда напивался здорово. Грузный, молчаливый, мрачный притаскивался он домой. Нюра плакала, стаскивала с него сапоги, тащила на диван, а позже и просто оставляла спать его на полу. Когда он просыпался, давала ему рассолу или опохмелиться.

Проснувшись, чувствовал он себя виноватым, ходил, как пришибленный, некоторое время потом не пил. Но все-таки не выдерживал, опять напивался. Дальше – больше. Отношение к нему на работе ухудшилось. Появились новые паровозы, а он явно не тянул. Но главное, конечно, была пьянка. Он и курил много. Какие-то дешевые папиросы или махорку. Помню отвращение от смеси запаха курева и винного перегара, от нечистоты. Нюша убиралась, мыла, стирала свои подзоры и покрывала, но жизнь становилась бедней, печальней и неухоженней.

В комнате все чаще валялся пьяный Тверской. Нюша выходила с заплаканными глазами, денег не хватало, в деревне тоже стало плохо – начиналась коллективизация, скот обобществили. И она мало что могла им повезти, и от них нечего было взять.

Но появился на свет у них мальчик – Вася. Он родился через год-два после смерти Ванечки. Мальчик был тоже хорошенький. Голубоглазый, в Нюру. Но разница в летах у меня с ним была большая, и рассказы мои и песенки ему не нравились. Да и я выросла. Теперь уже Вася стал для Нюши всем. Ради него все терпела, сама ходила в депо получать зарплату Василия. А с ранней весны уезжала с младенцем в деревню на все лето. Там она много работала, уже в колхозе. Родителей не раскулачили, но скот весь, кроме одной коровы, забрали в колхоз. Все же корова, куры, огород... К осени Нюра с ребенком возвращались окрепшими.

Тверской же в их отсутствие совсем деградировал, не бывал дома по нескольку дней.

Нюша мрачнела, много плакала, причитая о загубленной жизни. Пошла работать в какую-то артель, но работу

эту не любила – теснота, грязь, беспорядок. И рассказы о деревне перестали быть идиллическими. Все было не слава богу: отец умер, мать болела, старилась, сестер и братьев разметало по стране, а кто остался в деревне – бедовал.

Только Вася, маленький Вася был ее кумиром и единственным счастьем. Его она кормила самым лучшим, обшивала, покупала игрушки, наряжала. Она привезла из деревни девочку лет двенадцати, чтобы сидела с ним. Все охотно оттуда убегали, но каждый год, а то и чаще приходилось брать новую девушку: освоившись, они устраивались у других хозяек, чтобы иметь возможность учиться, или уходили на производство.

Помню эпизод, связанный с одной из них, – белесоватой, озорной девчонкой. Однажды она таинственно поманила меня к ним в комнату. Вася лежал совсем голенький – она собиралась менять ему пеленки. «Посмотри, какая у него пипка», – и она начала сдвигать с его маленького членика кожицу. Членик напрягся и приподнялся. «А что, есть в нем косточки? Так вроде совсем мягонький, а то становится твердоватый. Вот попробуй». Я в большом смущении попробовала, инстинктивно понимая, что делаю нечто стыдное.

Смирновы

Во второй по величине комнате после нашей жила семья Смирновых. Папа Андрей Иванович, мама Софья Григорьевна и дочь Оля. Комната была большая, квадратная, но один угол был срезан и в нем широкое окно. Скорей всего в «бывшей» квартире эта комната служила детской. Она располагалась через коридор от нас, недалеко от уборной и ванной. Обстановка была как у всех – случайная и бедная. В середине комнаты – большой квадратный стол, на котором всегда стояла какая-нибудь еда: баночки, кастрюльки, мисочки, тарелки. Все это прикрывало полотенце – и для гигиены, и от излишнего любопытства соседей.

Андрей Иванович был небольшого роста, деликатного телосложения, с темно-русой бородкой и усами. Рано появилась проседь. Тихий, скромный, безответный, он был добр и жалел меня. Я это чувствовала. Носил он неизменно темную сатиновую рубашку и полосатые бумажные брюки. Когда было прохладно, надевал полосатый пиджачок. Он где-то служил счетоводом или бухгалтером.

Увлечением его была фотография. Фотоаппарат представлял собой большой квадратный ящик, стоящий на треноге. На ящике блестящие медные штуки и растягивающаяся гармошка. Когда Андрей Иванович настраивал аппарат и фотографировал, он покрывал себя большим черным платком. Помню восторг от ощущения тайны, когда, взобравшись на стул и тоже прикрывшись платком, я увидела перевернутую вверх ногами комнату и Олю, стоящую на голове.

Андрей Иванович был руковит, он все умел делать, но развернуться ему жена не давала – чтобы не было беспорядка. Он придумал и сконструировал походную фотолабораторию в самодельном чемодане. Сделал чертежи и послал зарегистрировать как изобретение. Я болела за него. Мне казалось: вот люди увидят и оценят Андрея Ивановича и ему станет легче жить, будут деньги.

У нас с ним были взаимная симпатия и сочувствие. Но я, даже такая маленькая, понимала, что не должна этого показывать, так как, и он и я боялись Софьи Григорьевны. Это была женщина среднего роста, худая, угловатая, темная, с небольшим пучком, с движениями резкими, порывистыми, нервными. Она была переполнена ненавистью, недовольством, презрением ко всему окружающему, за исключением обожаемой дочери Оли. Она кипела и негодовала на все неустройства. И больше всех доставалось бедному Андрею Ивановичу. Когда она приходила домой, из их комнаты неизменно раздавался ее крик и робкий, оправдывающийся голос Андрея Ивановича. После ссоры Андрей Иванович выходил из комнаты, бродил по коридору, курил. Я выходила якобы в уборную, а на самом деле – чтобы сказать ему: «Здравствуйте, Андрей Ивано-

вич». Я ужасно жалела его. Это был печальный союз двух несчастливых людей.

Софья Григорьевна происходила из хорошей, вероятно, интеллигентной семьи. Однако никаких родственников у них, по-видимому, не осталось. Домашние дела – уборку, готовку – она презирала. Она работала библиотекарем и была страстной читательницей, читала упоенно все свободное время. Тогда зарплату библиотекарям платили мизерную, и им, как и всем, было трудно. Читала она и на кухне, когда готовила, но самым любимым было чтение лежа в кровати. Кровать была довольно высокой, она забиралась на нее и, прикрывшись пледом, читала, читала. Чтение, по-видимому, уносило ее от этой ненавистной жизни. Оля тоже любила читать и иногда давала книги мне. Но редко, так как боялась материнского гнева.

Софья Григорьевна недолюбливала и презирала всех соседей и общалась с ними очень мало. Мою маму, в ту пору рабочую активистку и члена партии, она считала некультурной и, возможно, «красной». Олю Софья Григорьевна старалась оградить от меня, девочки из плохой семьи, в которой не читали книг.

Олю она вообще пестовала и воспитывала со всем возможным тогда старанием. Оля делала гимнастику «по Мюллеру», ходила гулять «на воздух» и питалась согласно какой-то системе, почерпнутой из литературы. Это была система, приближающаяся к современным натуропатам: фрукты, овощи, орехи, мед. Все это и стояло посередине стола. Однако мясо, курица и рыба в диете присутствовали.

Я ужасно завидовала Оле, мне страстно хотелось фруктов, и я потихоньку отщипывала виноградины. Так что укрывание еды от меня имело вполне реальные основания. Я вообще легко крала по мелочам – мелкие деньги, вкусную еду. Однако об этом я расскажу позже.

У нас в доме фрукты считались баловством, вроде конфет. У мамы хватало на обед, кашу, картошку. По осени, конечно, покупались яблоки – они были дешевые, да и из деревни соседи привозили.

Оля была миловидной смуглой девочкой с темными глазами и толстыми косами. Однако что-то в ней ощущалось странное. Она как-то хаотически двигалась, совершая иногда внешне нелепые движения. Вероятно, у нее было что-то вроде тика: она смотрела широко раскрытыми глазами с длинными черными ресницами и вдруг сжимала глаза до щелочек и вдруг подпрыгивала. Конечно, это казалось странным, но я никогда никого об этом не спрашивала, наверное, считала, что это какая-то болезнь. Почему-то об этом надо было молчать.

Оля была очень способной девочкой и, как и мать, страстно любила читать. Она училась на класс старше меня и с большой легкостью постигала все школьные премудрости. От Андрея Ивановича, который любил географические карты, она знала все материки и океаны, страны и города. Она имела собственный глобус, чему я тоже отчаянно завидовала. Я тоже любила и хорошо знала географию, но математика (особенно дроби) давалась мне с трудом. Оля не умела мне объяснить. Вообще она была индивидуалистка, в том смысле, что не понимала других.

Постоянным объектом моей зависти были книги, которые читали Оля и ее мама. Софья Григорьевна явно не хотела, чтобы Оля давала мне их. Возможно, боялась, что я испорчу, запачкаю книги в нашем неряшливом доме, но скорее просто из недоброжелательства. Я буквально вырывала книги из Олиных рук, тайком, пользуясь отсутствием Софьи Григорьевны. Иногда книгу мне давала Оля на несколько часов – матери она боялась, но мне сочувствовала, понимая мою страсть к чтению. На прогулках мы с ней непрерывно обсуждали книги. Очень хорошо помню чтение «Домби и сына». Особенно трогали меня «Большие ожидания». Мы обсуждали поведение гордой Эстеллы и Пипа как реально существующих детей.

Возвращаясь домой, Софья Григорьевна выпроваживала меня – «Оля занята, Оля делает уроки, Оле надо кушать». И я часто плакала от обиды, что меня не пускают в это царство Книги. Когда Софья Григорьевна особенно

бушевала, Андрей Иванович тихо говорил: «Соня, не надо, Соня, успокойся, я схожу, я улажу»...

В те счастливые для меня часы, когда Софьи Григорьевны не было дома, Андрей Иванович пускал меня к ним. Какое счастливое это было время! Мы рисовали – у Оли были громадные коробки цветных карандашей.

Все, что у Смирновых было, мать тратила на воспитание и разумное питание Оли. Она учила ее музыке, немецкому языку, старалась разумно кормить. Однажды я выпросила у мамы маленькую коробку акварелей. Я изобразила морской пейзаж с горами на горизонте, но дальше подражаний дело не пошло. Еще мы вырезали изощренные узоры из бумаги. Клеили аппликации, какие-то коробочки, кораблики и птиц, которые летали. Всем этим руководил Андрей Иванович. Мы мастерили игрушки из шишек, желудей, картона.

Олина мама считала все материальное ненужным, ей претила возникшая во время нэпа страсть к вещам. Она водила Олю в музеи и театр. И все же, несмотря на мой интерес и уважение к Оле, мы не были подругами, как с Милой. Возможно, из-за Олиной независимости, незаинтересованности в дружбе. Мы часто обсуждали книги, но никогда – окружающих взрослых, детей или события. Один случай, происшедший с Олей, глубоко врезался мне в память. Мы втроем – Оля, Мила и я – бежим по переулку, и вдруг на Олю налетает велосипедист. Оба падают, велосипед летит в сторону, и я с ужасом вижу: все лицо у Оли в крови. Дальше не помню. Олю куда-то увозят или уносят, рана на щеке глубокая, ее зашивает хирург. Очень долго этот шрам был виден на смуглой Олиной щеке, но потом все-таки рассосался.

Дружба наша кончилась, когда они поменяли комнату и уехали. Родители Оли рано умерли, но это было позже. Няня, которая раньше помогала им по хозяйству, продолжала к ним ездить и иногда что-то рассказывала. После школы Оля неожиданно для всех поступила в Сельхозакадемию. Было это странно, так как никакой тяги к сельскому хозяйству у нее не наблюдалось.

Окончив институт, она работала в издательстве. Ни романов, ни замужества. Казалось, эта часть жизни для нее не существует. Но, опять же неожиданно, она во время войны удочерила годовалую девочку из детдома, родители которой погибли. И, чтобы пресечь возможные разговоры, уехала с ней из Москвы.

Страхи

Андрея Ивановича я вспоминаю с нежностью и благодарностью всю жизнь. Был он моим спасителем и утешителем. В детстве мучили меня ужасные страхи. Я боялась темноты, одиночества, страшных историй и сказок. Я несколько раз бросала читать «Тома Сойера», как только дело доходило до сцены на кладбище. Когда позднее в пионерском лагере другая Мила, моя подруга, мастерски рассказывала страшные истории об упырях, призраках, я тряслась от ужаса, затыкала уши, закрывалась подушкой и все равно умирала от страха. Мои страхи доходили до потери сознания, до дурноты.

В раннем детстве мне часто приходилось ложиться спать одной, когда мама работала в ночную смену. Мама оставляла мне ужин. Часто в утешение что-нибудь вкусненькое. Я бодрилась, читала, танцевала, пела, но по мере наступления темноты страх овладевал мною, сковывал мое сознание, становился мучительным. Свет в комнате горел, но я начинала дрожать и тихонько плакать. Из-под двух закрытых дверей – Тверских и зубного врача Белогурской – мне чудилось, выползают какие-то чудовища, белые змеи. Это были большие толстые змеи, похожие на «белых гидр капитализма» из карикатур, ежедневно печатавшихся в газете «Правда». А может, это прорывался и огнедышащий Змей Горыныч с многими головами.

Почему меня преследовали эти образы, я не знаю. Не помню, чтобы меня в детстве пугали. Вероятно, это нечто глубоко упрятанное в подсознании. Однако страхи с наступлением вечера нарастали. Я начинала лихорадочно вслушиваться и всматриваться. Я дрожала, не могла со-

греться и, конечно, не могла уснуть. Не справившись с этой мукой, я принималась плакать – все громче и громче. Не выдерживала Нюша Тверская. Хотя и замученная жизнью, она входила: «Ну не плачь, Флорочка, мы же все здесь. Никто тебя не обидит. Все тихо, мирно». «Я не боюсь, мне скучно», – продолжала плакать я. И вот наступал прекрасный момент: приходил Андрей Иванович, садился за стол и начинал читать какую-нибудь книгу – «Маугли» или «Алису в Стране чудес». Сразу наступали счастье и покой. Страхи мгновенно исчезали, змеи казались смешным недоразумением. Успокоение, мир, счастье спускались к моей зареванной голове. Я слушала, улыбаясь, слушала и в изнеможении засыпала.

Мила Милкина

В комнате рядом со Смирновыми жила молодая энергичная девушка-комсомолка. Она после рабфака работала на Электроламповом заводе и одной из первых женщин окончила вечерний институт, стала инженером. Бойкая, уверенная в себе, она руководила моей пассивной и нерешительной старшей сестрой Зиной. Что плохо – не находилось пока достойного мужа, а ей было уже около тридцати. Однако в один прекрасный день она познакомилась с высоким с прекрасной каштановой шевелюрой Шурой Шелепиным и влюбилась в него. Он был несколько ее моложе, но заканчивал институт, и эта свадьба совершилась к общей радости. Справляли и в квартире, и на Милином заводе. Там это называлось комсомольской свадьбой.

Поначалу все шло хорошо, Шура был покладистый, Мила доминировала. Он начал работать инженером в кинопроизводстве, а там, сами понимаете, красивые мужики пользуются успехом. Опять же командировки, выпуск картин. Он стал выпивать, гулять. Возвращался поздно. Пошли скандалы, прощения, обещания. Мила очень хотела ребенка, но его не было. А Шура, несколько разжирев и полысев, приутих. Вскоре они переехали в другой дом. Незадолго до войны он заболел и неожиданно умер.

В Милину комнату после обмена въехала интересная дама. Она была высока, стройна, хорошо одевалась и, хотя работала в какой-то небольшой конторе, жила неплохо. У нее постоянно собирались гости, обычно мужчины. Держалась она несколько отстраненно от соседей, но я иногда к ней заходила. На маленьком столике около дивана стояли вино, ветчина, конфеты, фрукты. Она всегда меня угощала.

Однако еще более красивой, очаровательной была ее сестра, которая заходила, «дыша духами и туманами». Меня восхищали ее запах, какой-то волшебный, легкий, как пух, дымчатый мех, удивительно красивая голова и приветливая улыбка. Но вот неожиданно к нашей соседке пришли с обыском и арестовали. Соседям казалось зловещим, что занял ее комнату один бывший ее гость. Вернулась она через много лет – зашла погасшая, изможденная, хотела узнать, не остался ли альбом с фотографиями.

Любовь, предательство, ревность

Еще в первый период счастливого Милиного брака к ним приехал Шурин брат Женя. Он был другой – веселый, с темными глазами и непокорными волосами. Он все время рассказывал что-нибудь смешное, играл со мной и катал меня на ноге (нога была лошадью, а я всадником), приговаривая: «Гоп-гоп-гоп, ну скачи в галоп, ты лети, конь, скоро-скоро через реки, через горы, гоп-гоп-гоп-гоп, ну скачи в галоп». И подбрасывал меня особенно высоко. Я его обожала, была горда и счастлива и, конечно, влюблена. Он неплохо рисовал и нарисовал очень похожий, вполне комплиментарный мой портрет. Такая симпатичная девочка с кудряшками. Однажды, катая меня на колене, он сказал: «Вот вырастешь большая, я на тебе женюсь». Я покраснела, смешалась, не знала, что ответить на столь лестное предложение, соскочила с его колен и убежала. Вдогонку я услышала общий смех. Однако Женино предложение я приняла совершенно всерьез. Дело было за малым – вырасти.

Женя уехал, но я его ждала и ненароком пыталась узнать, когда он опять приедет. И вот однажды Мила говорит: «К нам Женя приезжает с молодой женой». Неописуемую по интенсивности боль, стеснение в груди, отчаянье ощутила я от его измены. Я убежала в темный угол и плакала, плакала, плакала. Когда пришла мама и увидела мое лицо, она забеспокоилась, и мне пришлось сказать, что я упала, очень сильно ударилась и мне очень больно.

Вскоре Женя с женой приехали, и вся квартира выбежала их встречать и поздравлять. Женю все любили. Я забралась под кровать и не хотела выходить. Когда я услышала Женин голос: «А где же Флора?», боль в сердце опять возобновилась. Они гостили несколько дней, и я к ним не ходила. Только раз, столкнувшись с разлучницей в коридоре, я взглянула на нее. Она, конечно, была уродлива!

Белогурская

Рядом с нами, с другой стороны, жила худая, хрупкая женщина – зубной врач. Ее комната была обставлена красивыми вещами, статуэтками, висели картины, красивые драпировки. Вначале у окна стояло зубоврачебное кресло – после работы в поликлинике она принимала пациентов дома. Но позже, по-видимому, ее прижали налогами, и она с видимым облегчением продала свой кабинет. Держалась она по отношению к соседям высокомерно, ко мне относилась строго, и я боялась шуметь вблизи ее двери и даже в нашей комнате. Она могла громко постучать в стенку.

Но однажды, узнав, что она больна, я зашла и предложила помощь. Я принесла ей чай, разогрела еду, дала лекарство. Татьяна Моисеевна была мне благодарна, расположилась ко мне и подарила красивую железную овальную коробочку с камешками. После этого я часто что-нибудь для нее делала. Мою маму это ужасно раздражало, так как у нас в комнате я не желала делать ничего. У нас

было так некрасиво, так неинтересно. Жизнь Татьяны Моисеевны текла однообразно, к ней приходили только сестры. У одной из них была чистенькая, примерная, толстенькая дочка Бэлла, которую все они обожали.

И вдруг Татьяна Моисеевна вышла замуж. И очень удачно. За редактора «Вечерней Москвы», небольшого роста лысоватого человека. Это было громадное событие в нашей квартире. Они собирались съехаться – обменять свои две комнаты на отдельную квартиру. Татьяна Моисеевна пребывала в счастливых хлопотах, но вдруг, не успев переехать, он тяжело заболел. Болел он несколько месяцев и умер. Татьяна Моисеевна осталась жить в нашей квартире. Во время войны она никуда не уезжала, жила очень бедно, продала многие вещи и вскоре умерла.

Федя и Груша

В маленькой комнатке с кафельным полом при кухне жил водопроводчик Федя. Был он молод, долговяз, с маслянистым прыщавым лицом и жесткими короткими волосами. Почему-то, несмотря на его приветливость и веселость, я его побаивалась с оттенком несимпатии. Он часто зазывал меня к себе, шутил и угощал конфетой. Он выпивал и тогда был особенно возбужден, весел и разговорчив. Однажды я оказалась на кухне одна, он открыл дверь и настойчиво зовет к себе: «Посмотри, какая у меня куколка». Я вижу, как он расстегивает ширинку и вынимает напряженный красный член. «Вот моя куколка, попробуй какая», – и тащит к себе мою ручку. Член мокрый, горячий. Мне как-то ужасно, я боюсь, чувствую, что что-то не так. «А где же куколка?» Я боюсь ослушаться, но все же вырываю руку. Я пытаюсь освободиться – он ловит меня, он возбужден, но я вырываюсь и убегаю. Я никому никогда не рассказывала об этом эпизоде.

Как-то Федя поехал в деревню и привез оттуда жену – Грушу. Небольшого роста, полноватая, с удивительно певучим голосом, двигалась она неспешно, но, хотя она работала, хозяйство вела отлично. Готовила вкусно. И глав-

ное, никогда не сердилась, ни с кем не ссорилась. Жили они с Федей ладно, ходили вместе в баню и к родным.

Она была постарше мужа и ничем не примечательной внешности. Но что в ней было замечательным – это ее речь. Она рассказывала истории о разных событиях, людях, а также всякие фантастические истории – о леших, домовых, о встречах с ними. О том, как один раз леший в лесу запутал дорогу домой, и она провела в лесу ночь. Рано на рассвете появился перед ней старый человек в рубище, поманил пальцем и повел к деревне. Вообще добрые и злые силы были постоянными участниками ее деревенской жизни.

Жизнь в Москве она воспринимала вполне реалистически, хорошо разбиралась в людях и обстоятельствах. Мне кажется, что она была необыкновенно одарена, обладая даром сказительницы. Чрезвычайно богатая и красивая речь, выразительные жесты и мимика заставляли любого ее слушать. Ее истории сразу запоминались. Я помню Грушин рассказ о встрече в лесу с медведем, и как она легла, замерла, а медведь понюхал ее, потыкал носом и ушел. Лес у нее был заселен лешими, а дом – домовыми, иногда добрыми, а чаще злокозненными. Они были постоянными спутниками Грушиной жизни. Эти истории завораживали не только меня. Иногда и занятые взрослые останавливались ее послушать на кухне. И еще рассказывала она о звездочке в небе, где обитает ее ангел-хранитель, который ее постоянно оберегает от нечистой силы.

Комната у Груши сияла чистотой. Такие же кружевные подзоры, покрывала, как у Нюши. Блестящие стекла окон за накрахмаленными занавесками. Она охотно приглашала меня попить чаю, когда была одна. Чай в блестящих стаканах в подстаканниках, с конфетой в прикуску и с баранкой был необычно вкусен. У нас дома чай заваривали раз в неделю. Вкус к чаю я приобрела у Груши. Еще Груша очень любила ходить в поликлинику – лечиться. Была ли она в самом деле больна, не знаю. Мне кажется, что и туда она ходила поговорить. Но как-то раз, вернувшись из поликлиники, она сама рассказала, что врач, взяв

ее очень толстую историю болезни, сказала: «Да это не история болезни, а целый роман».

Помню, что задолго до того, как я сама прочла сказки Пушкина, Груша рассказала мне сказку о царе Салтане, в прозе, конечно, но с теми же героями и чудесами. Когда я ее прочла, поняла, что знаю ее. И вспомнила – от Груши. Но летом, в мое отсутствие, произошло что-то трагическое: внезапно умер или погиб Федя.

Я была очень привязана к Груше, любила посидеть у нее в ее уютной комнатушке, любила ее ласковость и тепло, поэтому очень боялась, как с ней встречусь. Я вообще избегала, боялась разговоров о смерти. Сама я к ней не решилась зайти, встретились мы на кухне. «Вот и нет моего сокола ясного Федечки, вот и закатилось мое ясное солнышко. Вот и осиротела я, горемычная. Ушел касатик мой ненаглядный», – пропела она и заплакала. Но вдруг причитать прекратила: «Зайди, девонька, выпьем чаю». В комнатке царил неизменный порядок, в стаканы с подстаканниками она налила золотисто-коричневый чай, в который положила три ложки сахара. Отрезала ломоть мягкого хлеба, намазала густым медом и начала рассказывать...

Замуж она больше не выходила. Вскоре дали ей освободившуюся комнату в соседнем доме. Встречала я ее изредка. Она останавливалась и начинала рассказывать. До сих пор помню выразительный ее голос и прекрасный русский язык.

Коммуналка

Итак, вселенной, где я долгие годы обитала, была наша коммунальная квартира. Собрание людей, семей, случайно связанных общей жизнью. Ни при каких условиях в дореволюционной России они бы не жили вместе. Бывали ссоры, недоразумения – обычно из-за дежурств по уборке в квартире и платежей за электричество и газ. Иногда эти ссоры длились долго, но никогда не доходили до открытых враждебных действий или драк. Я же ощу-

щала поддержку Нюши, Андрея Ивановича и мимолетную – всех других. Только они спасали от мучавших меня в детстве страхов.

Конечно, сплетничали и обсуждали друг друга. Интересовались материальными условиями и личной жизнью. Особенно интересовались романами. Но в то же время необходимо сказать, что отношения были человеческими. Если был праздник, угощали друг друга пирогами, поздравляли, радовались. Если же случалось несчастье, болезнь или горе, помогали друг другу. Заходили, покупали лекарства, ухаживали. Слышала я и об ужасных коммунальных ссорах, но на моем опыте это странное сообщество – коммуналка – было вполне жизнеспособным организмом. К тому же не было равнодушия, которое возникает, когда соседи в отдельных квартирах, на одной площадке не знают друг друга.

Семья Масленниковых

Я уже писала раньше о моей подруге из соседнего дома Миле Масленниковой. Она была очень милая, добрая и прехорошенькая девочка. При разности характеров мы очень дружили. Я была более начитанная и смелая, она неизменно поддерживала все мои начинания. Мы с ней вместе ходили в детский сад.

Ее отец, высокий, полноватый, красивый мужчина, еще до революции работал инженером. По-видимому, был он хорошим специалистом, потому что жили они весьма неплохо.

В трех больших комнатах размещались спальня, столовая-гостиная и комната, в которой за ширмой лежала бабушка, мать Милиной мамы Евгении Семеновны.

Евгения Семеновна, женщина активная, всю жизнь всем помогала. Это благодаря ей я попала в наш детский сад. Более того, вряд ли она мне симпатизировала, но совершенно не мешала нашей дружбе с Милой. Когда я проявила желание заниматься музыкой, она разрешила давать мне уроки в их квартире и даже упражняться. Един-

ственным требованием было – когда дома нет папы. Моя благодарность ей безмерна.

Именно их библиотека стала моим первым и надолго неистощимым сокровищем – она разрешала мне брать книги из громадной библиотеки. Условие было одно: брать по одной и, только возвратив, брать другую. У них я прочла Чехова, Диккенса, Толстого, Мольера, Мопассана, Золя, Бальзака, «В лесах и на горах» Мельникова-Печерского, «Разбойников» Шиллера, Жюля Верна и много любимых детских книг из так называемой «Золотой библиотеки»: «Маленькие женщины», «Маленькие мужчины», «Голубая цапля леди Джейн», «Маленький лорд Фаунтлерой»... Позднее я записалась в библиотеку, брала книги у других подруг, но эта добрая интеллигентная семья и их библиотека незабываемы.

Елка у Кригеров

В Милином доме жила девочка Женя Кригер. Толстушка, хохотушка, она говорила быстро и громко. Ее отец был хозяин мебельного магазина. Дела у него шли, видимо, неплохо – они обживались, обзаводились вещами, мебелью. Папа Жени ездил сначала на извозчике, а потом даже на автомобиле. Женю одевали, как куклу, у нее была то ли бонна, то ли гувернантка, которая говорила с ней по-немецки. Особенно мы не общались, но однажды она позвала нас на елку. Это была первая и последняя в моей детской жизни елка.

Что это такое, мы знали только по рассказам и книжкам и с нетерпением ждали вечера. Стемнело очень рано. Мы вышли на улицу. Тихо падали на наши рукава прекрасные большие снежинки. Все разные! Но постепенно снег начал валить хлопьями, поднялся ветер. Снег свистел и крутился внизу, валил с неба, заворачивал из соседнего переулка, из инвалидного сада. Словом, творилось то, о чем потом я прочла в «Метели» и «Капитанской дочке» Пушкина, а затем у Пастернака: «Мело, мело по всей земле, во все пределы». Ветер почти сдувал нас, сле-

пил глаза, мы держались за руки, чтобы противостоять его порывам.

Наконец мы пробились к дому, замерзшие вбежали в подъезд. Вошли в квартиру, разделись где-то на сундуке и толкались в передней в ожидании. И вот обе створки двери открылись, играет музыка, и мы видим громадную елку. Она наряжена игрушками, увешана мандаринами, золотыми орехами и конфетами, гирляндами и золотой канителью, и на всех ветвях горят свечи. Это чудо. Затем мы играем, поем, в восторге зажигаем бенгальские огни. И нам всем дают подарки с конфетами, печеньем, орехами.

Поздно, усталые, разгоряченные, мы выходим в наш переулок. И вновь метаморфоза – тишина. Светит луна, сияют звезды. Синий снег лежит пеленой, поскрипывает под ногами. Немыслимая тишь и чувство благоговения. Я что-то читала в старых книжках о рождении Иисуса. Я бы охотно поверила этому, ибо эта легенда была прекрасна. Но мы росли во времена безбожия, закрытия церквей. В нашей да и в близких семьях о Боге молчали. Еврейский Бог был еще дальше. Но праздник был прекрасен!

Кончилось в этой семье все печально – отца Жени посадили в тюрьму, а Женя с мамой куда-то исчезли. Их особенно не жалели, вероятно, это было проявлением извечной зависти к богатству.

Дворник Ахмет и его семья

В полуподвале нашего дома жил дворник-татарин. Звали его Ахмет. Семья была большая. Его жена постоянно либо ходила беременная, либо кормила. Либо то и другое одновременно. Ахмет был широкогрудый, мощный, но с короткими ногами. Жена – маленькая, кругленькая, в постоянных хлопотах с детьми, готовкой, стиркой. Она еще и помогала мужу убирать улицу, когда наваливало много снега. Детей было много. Старший, тоже Ахмет – черный, озорной хулиганистый паренек, которого все жильцы немного опасались, мог и украсть что плохо лежало. Следующим шел Золтан, пониже и в явном подчи-

нении у Ахмета. При провинности отец драл их безжалостно. Но это мало помогало. Девочки – Земфира и Гюльсара. Гюльсара, с которой я играла, была красивая девочка с круглым личиком, правильными чертами лица и выразительными черными глазами. Имена остальных не помню. Мама не разрешала к ним заходить, но зачем-то (может, не могла открыть дверь?) я пошла к ним и попала в большую полутемную, грязную комнату, в которой размещалась вся семья. У отца с матерью была кровать, а дети спали на полу на старых матрасах и прикрывались цветными одеялами или пальтишками. Правда, было тепло, стояла газовая плита, и был водопровод.

Ахмет, на вид человек суровый, говорил мало, а жена его болтала без умолку, то причитая, то смеясь. Младший Ахмет мне симпатизировал. У них плохо шла учеба в школе. Дома они говорили по-татарски, а с русской грамотой и чтением было трудно. Я же обожала все, что имело отношение к книгам, письму, стихам, поэтому охотно помогала им. Конечно, не в арифметике, в которой сама была слаба. Когда бывала одна, я втихую приводила к себе девочек играть в куклы, читала и рассказывала им сказки. Ахмет помогал мне со старыми коньками, которые плохо держались, и вообще во всяких трудностях. От мамы все эти связи скрывались.

Однажды Олина мама засекла меня, пожаловалась маме, и мне категорически запретили их приглашать. И что можно было у нас украсть? Кусок хлеба? Так я и так им всегда давала, сама-то я ела плохо. Мне почему-то было стыдно, что мы живем в такой большой светлой комнате, а они...

Помню страшный скандал в доме – Ахмета поймали, когда он стащил с веревки стираную рубаху. Хозяин рубахи потащил его в милицию – она находилась в соседнем дворе. Его отпустили, но после отцовой порки он несколько дней лежал. Постепенно происходило отчуждение – я все больше тянулась к книгам и «хорошим» девочкам, а их судьба прошла как-то стороной. Правда, помню, что в начале войны Ахмета призвали в армию. Все давно про-

шло, но почему-то эта семья врезалась мне в память очень отчетливо. Может быть, этот чужой язык, чужой быт...

Семья Мендельсонов

Почти полной противоположностью семье Ахмета были их соседи, наши свойственники Мендельсоны. Дядя Моисей, глава семьи, мужчина вполне интересный, очень аккуратно и даже элегантно одевался. Он тщательно следил за тем, чтобы костюм был отглажен, носки и галстук гармонировали, а в кармане лежал чистый носовой платок. Он служил в какой-то конторе и зарабатывал неплохо.

Его жена, маленькая, живая, хрупкая женщина с живыми глазами, очень гордилась своими маленькими ножками. Детей у них не было, но постоянно в их единственной комнате обитали многочисленные племянники, которых они кормили, опекали, воспитывали и давали возможность стать на ноги.

Моисей иногда был грозен и шумел, но тетя Поля старалась покрывать своих домочадцев и спасала их от всех бед. Действительно, все получили специальность, один стал оператором кинохроники, две девушки бухгалтерами. Кого-то из них Поля выдавала замуж или женила. Дядя отличался скупостью и выдавал жене деньги на хозяйство каждый день. Она была прекрасной хозяйкой, очень вкусно готовила. Как теперь помню ее золотисто-янтарные куриные бульоны с клецками. Каким-то образом она ухитрялась всех накормить и даже при такой жесткой финансовой дисциплине немного утаить и истратить на то, что считала нужным.

Молодежь жила весело, устраивала вечеринки с танцами. Иногда они приглашали и меня, но я относилась к ним свысока, считала себя умней и интересней (особенно в отрочестве) и презирала их компанию. Дядя Моисей иногда заскакивал к нам, но нечасто, потому что жена ревновала его к маме. Веселый, остроумный, он любил рассказывать анекдоты, и маме он, по-видимому, импонировал. После

истории с Мотиным буфетом отношения были надолго прерваны, но потом восстановились.

В маленькой комнатке при кухне жили отец и мать дяди Моисея. Старик носил черную шляпу и пейсы, ходил в синагогу и свято соблюдал закон. Есть с семьей он брезговал, считая, что они не соблюдают кошерность пищи.

Один или два раза старики брали меня с собой в синагогу. Мне не понравилось там – было многолюдно и шумно. Однако все еврейские сладкие блюда – орешки в меде, штрудель и прочее – я очень любила и поэтому ошивалась у Мендельсонов во время праздников.

Среди воспитанников Моисея и Поли помню Табусю, которая отличалась тихостью нрава и трудолюбием. Мама помогла устроить ее на бухгалтерские курсы, а по окончании на хорошую работу в Госплан. Вскоре решилась и семейная Табусина жизнь. Вполне успешный инженер Яскович, живший в этой же квартире, женился на ней. У них родился сын, и жили они вполне счастливо. Однако его арестовали и расстреляли. Вскоре арестовали и отправили в лагерь и Табусю. Их сын Леня остался у Поли. Поля посылала в лагерь посылки, но вышла Табуся из заключения совершенным инвалидом. Комнатку ей дали, но она тяжко болела и очень рано умерла.

Мамина подруга Броня

Была у мамы давняя подруга – веселая, шумная, активная польская коммунистка. Они с мужем приехали из Варшавы, кажется, как эмигранты, преследуемые режимом Пилсудского. Броня работала на парфюмерной фабрике «Красная роза». Директор фабрики, «сама» Жемчужина, жена Молотова, ценила ее активность. В семье росли две дочери. Все складывалось неплохо, но произошло неминуемое: арестовали Якова, мужа Брони. Ему дали десять лет без права переписки, что, как мы узнали позже, означало расстрел. Броне объяснили, что целая организация польских националистов готовилась к соглашению с Пилсудским.

Броню с девочками выселили из Москвы. Она смогла снять небольшое помещение на окраине Можайска и там начала работать надомницей на швейной фабрике. Мама со мной ездила к ней в Можайск. Тогда она была еще крепкой оптимистичной женщиной, однако уж очень недалекой. Броня несокрушимо верила во все, что писала «Правда» и говорили на партийной ячейке. Она отреклась от мужа, назвала его пособником буржуев, и ее оставили в партии. Этим она дорожила до конца жизни. После реабилитации мужа она получила в Москве маленькую квартирку. Ее верность партии была столь велика, что она не захотела встречаться с мамой, когда арестовали моего сына Павла.

Смерть Ленина

Это была трагедия. Страшный мороз и общее горе. Однако мама решила идти на похороны. Мне страшно. Многие плачут. Смирновы – нет, но беспокоятся за будущее. Слухи о борьбе за власть. Один раз к нам приходит подвыпивший Тверской (он был членом партии). У них на собрании читали завещание Ленина. Он страшно взволнован. Ленин не велел отдавать власть Сталину, а тот настоял. И другие поддержали. Видимо, Сталин сильней Троцкого, Рыкова и Бухарина.

Еще одно «политическое» воспоминание

Однажды мама взяла меня с собой на октябрьскую демонстрацию. Кто-то несет меня на плечах. Мы выходим на Театральную площадь. Вдруг волнение среди демонстрантов: справа, между Большим театром и театром Корша (в будущем Второй МХАТ), идет небольшая по сравнению с нашим, основным потоком демонстрация. Все «наши» возмущаются. Это демонстрация оппозиции. Кажется, это было их последнее публичное выступление. Помню ощущение, что они против «нас», против чего-то правильного.

Дворы и Лялин переулок

За обоими нашими домами были небольшие заасфальтированные дворы, без деревьев. Там стояли ящики для мусора. Летом вокруг клубились мухи и плохо пахло. Все же мы там играли, но чаще в переулке. Движение на улице было небольшое, но впечатлений масса. Теперь это совершенно непонятно, но в наши детские времена мы бежали, чтобы увидеть человека в гимнастерке, у которого был орден Красного Знамени на груди.

Иногда проезжали автомобили. Тогда они тоже были редкостью. Ходил с мешком татарин, кричал: «Старье берем» – и покупал по дешевке вещи. Его я в раннем детстве побаивалась – он мог меня схватить и положить в мешок. Боялась я и цыган, которые иногда заходили целой толпой с детьми и женщинами в цветастых платьях в наш переулок. Хотя на площади Курского вокзала их было больше. Ходил лудильщик, который заделывал (лудил) дыры в кастрюлях. Хорошая кастрюля или чайник были большой ценностью. Ходил стекольщик, носивший в узком деревянном ящике на плече стекла. Помню точильщика. Он кричал: «Ножи, ножницы точу». Он тоже носил на плече агрегат с двумя наждачными кругами. Смотреть, как он крутит их ногой – и от круга брызжут искры, было увлекательно. Однако моя мама по бедности и из соображений безопасности ножи точила очень редко. «С точильного камня не сыпались искры, а сыпались, гасли, в лучах сгорев». Работа точильщика казалась праздничной, веселой. Около него всегда стояла кучка ребят, и всем очень хотелось покрутить колесо с точильными кругами.

Большое впечатление производило появление шарманщика. Шарманку он носил на ремне, с ним была маленькая тощая девочка. Он крутил ручку шарманки, звучала музыка, и девочка пела. Люди сбегали вниз или смотрели из окон. По окончании «концерта» девочка собирала деньги. Часто мелочь, завернутую в бумажку, бросали из окна. Почему-то мне было их очень жаль. Они выгля-

дели истощенными и печальными. Песни тоже пели жалостливые. Помню, что когда я в школе пела песню Шуберта «Шарманщик» («За рекой шарманщик уныло стоит, и рукою слабой еле шевелит»), то вспомнила того шарманщика. На Чистых прудах я видела другого шарманщика. На шарманке у него сидел суслик, который, после того, как ты давал денежку, вытаскивал билетик с «судьбой». Обычно это было обещание свадьбы, богатства. Наибольшее впечатление произвел кукольник. В нашем дворе он установил большой ящик, в верхней части которого была сцена с занавесом, а под ним спускалась материя – она прикрывала ноги кукольника. В ящике двигался Петрушка – очень смешной персонаж в колпаке и с длинным носом. Его многие обижали, но он был ловкий и побеждал всех – жандарма, царя, купца. Были у него и родители. Появлялись они со словами: «Здравствуйте, юные зрители, мы Петрушкины родители, а это наш сын Петрушка». Все разговаривали разными голосами, хотя участвовал только один, стоящий сзади актер. У Петрушки был громкий, визгливый, очень смешной голос. Актер один манипулировал куклами. Куклы надевались на руку. Иногда какую-нибудь из кукол он сажал на сцену так, что ноги ее висели наружу. Вообще спектакль был очень веселый, и мне очень хотелось играть с куклами самой.

Позднее, уже в школьные годы, у Милы появились две такие куклы – собачка и кошечка, и я очень любила играть с ними – сочиняла диалоги, разыгрывала ссоры и драки. Мне очень хотелось и самой делать кукол. Помню, что я хотела сочинить пьесу, где Петрушка был бы пионером и побеждал всех буржуев. Однако дальше мечтаний дело не пошло.

Музей фарфора

Лялин переулок одним концом выходил на Покровку, а другим, огибая старинный особняк, входил в Подсосенский. Издали казалось, что особняк замыкает наш пере-

улок. Раньше он принадлежал какому-то вельможе, и еще до революции там была знаменитая коллекция фарфора. Нам с тротуара заглянуть в окна не удавалось, но если подтянуться, ухватившись за высокий подоконник, то все эти красоты можно было увидеть. Однажды мы с Милой, возвращаясь из детского сада, увидели, что громадная резная дверь этого дома открыта, и попросились войти. Нас встретил улыбающийся старичок. И вот перед нами пролеты красивых деревянных лестниц. А старичок нам показал удивительно занятные фарфоровые скульптуры (статуэтки) пастушек, кавалеров и дам с веерами, разных животных. И посуду. Но она нас в то время интересовала меньше.

Конек-Горбунок

Как-то Милина мама взяла нас с Милой в Большой театр. Из-за волнения я плохо спала, ожидала чуда. И в самом деле – было Чудо. Золото, бархатные красные ложи, сверкающие хрустальные канделябры и люстры. Нетерпение – когда же наконец начнется спектакль. И вот открывается занавес. И там танцуют – очень красиво. И выводят двух живых лошадей! А Конек-Горбунок оказывается не лошадка, а тетя, переодетая в лошадку, с лошадиной головой и хвостом, но на двух ногах. Сначала удивляет отсутствие слов – все только танцуют. Однако действие захватывает, и, когда появляется Жар-птица, условность уже не мешает видеть в красивой женщине птицу. Она так похоже взмахивает крыльями, а Иван-дурак вырывает у нее перо. И мне почему-то очень ее жаль. Все действие проходит, как в волшебном сне. И на следующий день я с новым вдохновением начинаю танцевать. Теперь уже, разыгрывая спектакль. Более смутно помню «Садко». То, что там поют, мне не очень нравилось, хотя сама я петь любила, но мне казалось, что поют слишком долго, задерживая ход событий. Однако сцены подводного царства, движущийся корабль и Нептун мне очень понравились. И тоже вдохновляли меня на танцы.

Снег

Зимы в детстве были снежные. Это казалось чудом. Осень, листопад, дожди, потоки грязи, и вдруг в одно прекрасное утро просыпаешься и – все белое. Ветви отчеркнуты сверху белым, крыши – белые и тумбы (это каменные столбики, стоящие у ворот) одеты в белые шапки. Говорят, за эти тумбы привязывали раньше лошадей, когда санки или коляски подъезжали к дому. Дворники начинают убирать снег в сугробы – это были большие снежные холмы у тротуара. Они пушистые, и в них замечательно валяться. Санки с седоками лихо скользят по заснеженной улице.

В это время лучше всего гулять в валенках и одевшись потеплее, повязав потуже кушак, бежать на улицу. Больше всего мы любили дурацкую игру. Одна из нас становилась спиной к сугробу, а другая подбегала и кричала: «Барыня! Пожар!», и «барыня» падала в обморок, то есть в снег, вываливаясь в нем сколько возможно. Ни дворники, ни родители этой игры не одобряли, а мы обожали, хохотали и падали, падали в снег.

Вечером зажигали фонари, а мы еще застали время, когда фонари были газовые и фонарщик зажигал их, влезая на лесенку, а тушил длинной палкой. Вечером желтый свет фонарей мешался со светом луны, и было таинственно и прекрасно, особенно в переулках, спускавшихся к Яузе. Горели огни в домах – большинство были еще одно- и двухэтажные. Наши переулки становились похожими на улочки из «Снежной королевы». Мы катались на санках или просто скользили вниз на ногах, и нам казалось, что снежный вихрь может закрутить и унести.

Когда шел снег, снежинки, падающие на пальто, были невероятно красивы и разнообразны. Мы вырезали снежинки из бумаги, и это тоже было очень красиво и увлекательно. Вспоминаю и грустное (хотя скорей всего это относится уже к школьным годам) – у меня не было зимнего пальто. Кто-то отдал маме для меня старое, поношенное и очень широкое. Мама подпоясала меня ремнем

и считала, что на эту зиму сойдет. Я примирилась. Но однажды мы зашли к Миле, раскрасневшиеся, веселые, и кто-то сказал: «Эта девочка одета, как чучело». Я взглянула в зеркало шкафа, и там действительно была девочка в ужасном, потертом пальто с оттянутыми карманами и, главное, с клочьями какого-то собачьего меха на воротнике. Я ужасно расстроилась, убежала домой и сказала маме, что больше в этом пальто я не пойду. Тогда мама взялась и перешила на меня чье-то синее пальто, приделала маленький серый воротничок, и все получилось ладно и красиво.

Цирк

Быть балериной или акробатом было моей постоянной мечтой. И мама, наконец, купила билеты. И не просто в цирк, а на представление знаменитого дедушки Дурова. Сколько раз я слышала, как кто-нибудь из ребят рассказывал про это волшебное представление! Я канючила и канючила.

И вот мы идем! На здании цирка нарисованы две лошадки, стоящие на задних ногах мордами друг к другу. Входим, и сразу какой-то незнакомый запах – пахнет лошадьми, навозом, мокрыми опилками.

Вначале вышли два смешных человека, у одного был красный, как помидор, нос, рыжие волосы, широкие клетчатые штаны, у другого – длинный нос, черные волосы и узкий черный костюм. Второй был похож на Пата. Они говорили что-то смешное, но такими необычными голосами, что я плохо понимала. Но так как они очень забавно поливали друг друга водой, толкали, а когда помогали встать, то падали сами, я без умолку смеялась. (Вообще в детстве я была очень смешлива, иногда начинала хохотать, когда показывали палец.) Затем появились жонглеры. Они жонглировали мячами, булавами, кольцами, которые исключительно виртуозно нанизывали на руки, ноги, шпаги. Еще был факир – он жонглировал огненными булавами (я буду факиром!). А потом – лошади, в кра-

сивых попонах, с перьями на голове. На них скакали, делали кульбиты, перепрыгивали с одной на другую джигиты – молодые юноши и девушки, а в центре стоял старый человек с кнутом и командовал всем. Поразили меня воздушные гимнасты. Они под куполом цирка скользили и раскачивались на трапециях. Дух замирал, было очень страшно, даже жутко, но невероятно увлекательно. От волнения я закрывала глаза, но сразу открывала, боясь пропустить какой-нибудь трюк.

Перерыв. Все ходят по круглому коридору, мама купила лимонад, он очень вкусный и щекочет горло, и мы опять спешим на представление. На арене Дуров – большой, с усами, в блестящем клоунском костюме, с круглым белым жабо вокруг шеи. Гром аплодисментов. И на арену выезжает паровоз с вагонами. Из трубы паровоза валит настоящий дым. Поезд останавливается. Выбегают разные звери – собачки, обезьянки, какие-то грызуны – может, сурки или суслики, мне кажется, была утка с выводком утят, индюк. Все суетятся, стремятся сесть в поезд. Машинист – лохматая белая собачка, кондуктор – лохматый сердитый пес, он не пропускает некоторых зверей в поезд. Но наконец все сели, и поезд едет весело по рельсам, а во всех окошках зверята! Конечно, я буду циркачка. Со зверями.

Нет, я буду скакать на лошади. Нет, я буду воздушной гимнасткой. На следующий день я начала заниматься акробатикой.

Папа

С раннего детства я знала, что у меня нет папы. У Милы есть, у Аси есть, даже у соседского Васи есть папа, хотя и пьяница. Что-то мама говорила мне – то ли он погиб во время революции, то ли на Гражданской войне. Во всяком случае, пропал без вести. Но я почему-то знала, что мама меня обманывает. Я слышала какие-то неясные намеки и понимала, что что-то не так. Наконец я увидела, что мама стала ежемесячно получать переводы – 45 руб-

лей. Ее зарплата была 35, так что я ощутила некоторое улучшение нашего питания и одежды. Но вот происходит что-то чрезвычайное. Папа приехал в Москву из Англии, где он работал во Внешторге. Мы с Зиной приглашены его навестить в гостинице «Балчуг». Папа заезжает за нами на беговых дрожках – санках. Он берет меня на колени. Зина, в чужом пальто, садится рядом. Извозчик накрывает наши ноги медвежьей полостью. Лошадка бежит быстро, взметая снег копытами. Снег порошит глаза, мелькают фонари, звезды, все смешалось в восторг от быстрого бега, огней, чувства счастья, что меня держит на руках ПАПА.

Мне так и не сказали, что он – папа, но я все понимала сама. Мы приехали в «Балчуг». Это была сохранившая прежнюю роскошь шикарная гостиница с красными плюшевыми диванами, креслами и шторами, с золотыми хрустальными люстрами и канделябрами. При входе стоял громадный медведь с подносом. Я сразу поняла, что он не живой. Поднимаемся на второй этаж по мраморной лестнице с красным ковром и входим в роскошное помещение – номер: гостиная и спальня.

Нас очень приветливо встречает чужая женщина, и я сразу понимаю, что это папина жена и поэтому почти не отвечаю на ее попытки разговорить меня. Но папа дарит мне большую куклу, почти с меня ростом, в голубом, отороченном белым платье и такой же шапочке, из-под которой рассыпались по плечам белокурые волосы. Я крепко держу мягкую и прекрасную куклу и сразу называю ее Милой. Ее кругленькое хорошенькое личико, голубые глаза и ярко-красные губки напоминают мою дорогую подругу. Но и это не все – меня одевают в такой же голубизны шерстяной вязаный костюмчик с шарфиком и такую же голубую шапочку! Я смотрю на себя в громадном зеркале и замираю от восторга. Там стоит, держа прекрасную куклу, красивая девочка, с яркими глазами и волнистыми светлыми волосами. И я как-то понимаю силу красивого заграничного туалета в зазеркалье. И Зина надевает подаренное ей красное платье и модные ярко-желтые кожаные

сапоги. Она тоже выглядит незнакомо элегантной. Но и это не все. Мы спускаемся по широкой лестнице в ресторан. Мне кажется, что все обращают внимание на нашу красивую семью. Я даже смиряюсь с папиной женой. Потому что она молода, хорошо одета и хороша собой. В ресторане еще более прекрасно. Сверкающие люстры, крахмальные скатерти и салфетки, хрустальные бокалы. В мой наливают неслыханно вкусный лимонад. А в бокалы взрослых – сверкающее красное вино. Мы едим что-то очень вкусное, кажется, рыбу и салат, но от волнения я плохо ела и не помню, что там было. Нет, помню, – нам подали в хрустальных вазочках по три шарика мороженого, и все разного цвета. Шоколадный, клубничный и крем-брюле – удивительно вкусные и не похожие на то, что мама покупала иногда на улице у мороженщика.

А потом мы поднимаемся обратно в номер и уже там пьем чай с пирожными. И обратный полет домой по заснеженным улицам сверкающей огнями Москвы. И папа опять исчезает на много лет, в какую-то прекрасную страну, где красивые девочки ходят в голубых костюмчиках с голубыми нарядными куклами. Потом, уже в школе, я узнаю, что был в Англии налет на контору Внешторга АРА. В результате – разрыв дипломатических отношений с Англией. Папа возвращается в Россию.

Помню волнения мамы от отсутствия перевода, но потом все улаживается: папа – директор фабрики на Севере и присылает маме деньги. Он живет в городе Великий Устюг. Я уже большая, смотрю карту, вижу, что город Великий Устюг находится в месте впадения двух северных рек – Сухоны и Юга – в Северную Двину. Мне одиннадцать лет, я продолжаю писать стихи. И знаю много стихов моих любимых поэтов Пушкина и Некрасова. Вообще настроение подростковое, тревожно ожидающее чего-то.

Пробуждается романтическая любовь к далекому папе. Уже начинаются конфликты с мамой, мое снобистское отношение к ее необразованности, я начинаю думать, что, может быть, папа и не такой плохой и что жизнь и любовь штука сложная. Я решаюсь на отчаянный шаг – перепи-

сываю с перевода папин адрес и посылаю ему большое письмо и мои стихи. Стихи были плохие, сентиментальные. Помню из них четыре строчки: «Когда в дверь звонят два звонка, Мне кажется, что это ты, Но знаю хорошо я, Что это все мечты». Еще вспомнила строчки: «Мама, глянь-ка из окошка, Вдаль летят леса, поля, Наверху несется солнце, А внизу летит земля». Это из стихотворения «Поезд». А может, это не мои стихи. Что-то уж очень гладко. И вот приходит папин ответ. Он счастлив, что получил мое письмо, и, написав что-то по существу стихов, призывает меня наблюдать жизнь, описывать те события, в которых я участвую.

Я написала опять, теперь уже в прозе, о нашей школьной жизни, моих подругах и учителях. Мне кажется, я здорово приукрашивала нашу довольно скудную и скучную жизнь в школе. Это было начало коллективизации. У нас карточки, плохое питание и неважное мое здоровье. Зимой у меня был тяжелый фурункулез. Но мне казалось, что папе хочется знаков моего оптимизма. Во всяком случае, в результате нашей переписки я летом поехала к нему на Север. Но об этом я напишу позже.

Игры

Двор нашего дома совсем узкий. Сзади – два деревянных забора. Они отгораживали Лялин от Подсосенского – обежать кругом можно было минут за пять. Это открытие – наша тайна. Оторванные доски в двух заборах не параллельны. И какое-то время, запыхавшись от волнения – узнают мамы! – проникали мы в это запретное межзаборное пространство. Почему-то эту область задних заборов мы называли «чертовой куклой». Это название придумала Оля. Надо сказать, что в нашем детстве дети ругались чертом только между собой. Тихо, друг другу – пойдем поиграем в «чертову куклу». Сперва надо было осторожно пробраться мимо мусорных ящиков – к ним мамы строжайше запрещают подходить: возможность инфекции! И в самом деле, в жаркие дни над ящиками рой

мух, громадных, жирных. То, что мы пробирались украдкой, было особенно притягательным. Сперва мы проникали сквозь полуоторваную доску в пространство между заборами, потом бежали до второй отодранной доски, отодвигали ее – и мы в другом дворе, при доме в Подсосенском переулке. Там надо быть очень осторожными – дом небольшой, двухэтажный, все знают друг друга. Этот двор надо тоже быстро пробежать. Жильцов надо опасаться – публика после национализации самая разная: остатки «приличных» жильцов вперемешку с пролетариями, а вместе с ними разношерстная публика – и воры, и хулиганы.

Там особенно опасались детей дворника Ахмета. Я с ними иногда играла, особенно с моей ровесницей Гюльсарой, хотя моя мама подозревала ее в воровстве. Иной раз получала я от мальчиков и подзатыльники, тогда я от обиды горько плакала. (Однако от снисходительного предложения поиграть я отказаться не могла.) Все же, сколько мне помнится, Ахмет и старшие его ребята меня защищали и помогали. Мне кажется, так было потому, что у меня не было ни отца, ни братьев. К нашему великому огорчению, авантюра с «чертовой куклой» закончилась: жильцы подсосенского дома выловили нас и заделали свой забор намертво. Не так давно я решила совершить паломничество в детство. Оказалось, что сделан прямой проход из Лялиного в Подсосенский прямо на Покровский бульвар.

Наши приключения часто затевались мною. Родители Милы и Оли пытались противостоять нашим играм, воздействовать на своих детей, но им со мной было интересней. Именно потому, что я была более свободной. Конечно, мы играли в забытые теперь «казаки-разбойники» и в лапту. Нужны были отвага и ловкость. А потом мы придумали игру, которую вслух не называли. Мы приходили друг к другу и чертили пальцем в воздухе две восьмерки, это означало – идем путешествовать. Мы садились на любой трамвай и доезжали до конечной остановки. Тогда трамваи ходили далеко – в Измайлово, в Сокольники, на Поклонную гору. А оттуда мы должны были добираться

домой, не спрашивая дороги. Если мы долго блуждали и задерживались, приходилось врать и изворачиваться. Однако благодаря этой игре мы хорошо знали Москву.

Особенно зуд дальних странствий одолевал нас весной. Теплеет, текут ручьи, хочется гулять, куда-то бежать в неведомые страны, какое-то брожение в груди влекло нас в путешествия. Ах, как хотелось увидеть дальние страны, испытать всякие приключения. Чтение «Пятнадцатилетнего капитана» вызвало особенную страсть к путешествиям. Но это было в школьные годы. А мы практически никуда не выезжали, кроме ближнего Подмосковья.

Центр Москвы в то время опоясывали два бульварных кольца. Кольцо, по которому ходил трамвай «А» (ласково называемый «Аннушкой»), и большое Садовое кольцо (по нему ходил трамвай «Б» – «Букашка»), в те времена засаженное громадными деревьями. Там было прохладно и тенисто. В 1930-х годах по приказу Сталина все деревья на Садовом кольце были вырублены, образовалась широкая автострада. Во времена моего детства самым увлекательным и, конечно, запретным занятием было катание на «трубе», торчащей позади трамвая.

Это воспоминание уже относится к первым школьным годам. Дело в том, что от Яузских ворот к Покровским трамвай шел медленно, в гору и можно было, уцепившись за эту «трубу», проехать остановку. Нас выслеживали и наказывали. Из девочек решались на это приключение только я и Оля. Однажды меня увидела соседка и сказала маме. Мама меня наказала – не пускала гулять и к девочкам.

Еще в школьные годы была игра в «героев». Каждому из нас отводилась роль какого-нибудь персонажа книги. Я чаще всего была Джо – прямой, независимой девушкой из «Маленьких женщин» Луизы Олькот, Оля, очень любившая Жюля Верна, была Пятнадцатилетним капитаном, Мила – примерной красивой и старшей сестрой Джо – Мэг. Мы играли каждый сам по себе.

У меня в детстве была очень хорошая память, и я произносила целые монологи и диалоги из любимой книги.

Мила помнила хуже, но включалась в происходящие события. Затем мы «встречались» с Олей. Перед этим она «путешествовала» на захваченном пиратами судне, спасала от извергающегося вулкана своих товарищей, попадала в лапы дикарей. Она отчаянно махала руками, забиралась на ванты.

В сущности, мы с Милой ей совершенно не требовались для игры. Я чувствовала, что ее включенность в игру была несоизмерима с нашей. Вернее, она хотела, чтобы мы играли с ней, но – подчиняясь ее безудержной фантазии. И мы наконец «встречались» и спасали из плена нашу прекрасную Мэг – я решительной юной леди, Оля отважным юным капитаном. Если Оля настаивала, то мы все вместе отплывали в Новую Гвинею. И дальнейшие наши приключения подчинялись Олиной памяти и фантазии. Мы очень любили исполнять песенку «Из Ливерпульской гавани Всегда по четвергам Суда отходят в плаванье К далеким берегам. А в солнечной Бразилии, Бразилии моей Такое изобилие Диковинных зверей». Игры эти кончились годам к одиннадцати-двенадцати.

Пушкин

Я уже довольно хорошо читала, но Пушкин мне не попадался. Вероятно, в детском саду нам читали его стихи, вроде я даже помню «Зима. Крестьянин, торжествуя», но я уже читала Диккенса, «Алису в Стране чудес», а Пушкин не попадался. Однажды тетя Эся взяла меня к своим друзьям. Они были партийные, отец занимал какую-то ответственную должность. Тетя их очень уважала. У них была дочка – пухлая, серьезная и недоброжелательная ко мне девочка, старше меня. Во всяком случае, я чувствовала себя у них неуютно. Но на столе лежал большой однотомник Пушкина. Я открыла его на сказках. Прочла их все взахлеб, одну за другой. Вернулась к началу и опять перечитала. Уже надо было уходить, а я не могла оторваться. Назавтра я пошла в библиотеку, и мне дали такой же толстый том.

И посейчас моя самая любимая сказка – о мертвой царевне. И больше всего я люблю строки, где царевич Елисей обращается к ветру: «Ветер, ветер, ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море, Всюду веешь на просторе». Позднее я напишу подробнее о том, что мне выпало счастье встретиться с известным пушкинистом Сергеем Михайловичем Бонди. Я спросила, есть ли обьективно самые лучшие в поэзии строки, и он сказал, что это те самые строчки.

Свой собственный томик Пушкина у меня появился уже в школьные годы – мне подарил его папа. А пока я читала все, что могла понять и что не могла – тоже. Иногда и малопонятные стихи очень мне нравились (почему-то помню у Пушкина «Из Пиндемонте» – «Не дорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова» и на всю жизнь любимый «Цветок»). Потом очень полюбила «Повести Белкина», а позднее «Евгения Онегина», которого уже в школьные годы помнила наизусть, так же как и «Горе от ума».

Но сейчас вернусь к сказкам. Их я столько раз перечитывала, что многие помнила наизусть. Интересно, что «Балда» и даже «Золотой петушок», так же как и сказка о золотой рыбке, мне, по-видимому, нравились меньше, так как их я наизусть не знала. Мне кажется, что смешное, сатирическое меня не так увлекало, как романтическое. Сказки о царе Салтане и мертвой царевне я обожала и готова была перечитывать бесконечно. В детстве, как известно, страшно интересно перечитывать книги. Это бывало еще более увлекательно, чем читать новые.

Ко времени первого знакомства со сказками Пушкина относится и моя прогулка с мамой на Красную площадь. Мы поднялись к ней с набережной Москвы-реки. И вдруг я увидела то ли дворец царя Салтана, то ли остров царевича Гвидона – это был храм Василия Блаженного. Я вцепилась в мамину руку, требовала пойти туда. Я была уверена, что сказочный дворец существует по правде и что мы можем посетить его. Когда мы подошли ближе, я что-то поняла – храм был не столь наряден, давно не ремонтиро-

ван и явно нежилой. И войти туда тоже было нельзя. Однако это первое впечатление радости и счастья узнавания я помню по сию пору.

Храм Христа Спасителя

Вскоре после этого мама повела меня к храму Христа Спасителя. Громадный и величественный, он как-то подавлял своей мощью. Однако, когда мы обошли его, меня привлекли громадные барельефы на стенах. Экскурсовод объяснял исторические события России, отраженные в этих многофигурных композициях. От храма вниз шли длинные лестницы, по которым было замечательно прыгать и бегать.

Красавица

Первое, что я увидела из окна нашей комнаты, хотя мама категорически запрещала мне подходить к окну (четвертый этаж), был маленький дворик напротив. В металлической его ограде была навечно закрытая калитка. У ограды – громадный куст сирени, каждую весну радующий ярко-лиловыми пышными соцветиями. Когда соорудили пристройку и загрязнили двор, куст этот отчаянно полез вверх, к солнцу, но с каждой весной сирени становилось все меньше – она хирела и бледнела и наконец одной весной куст не расцвел совсем. Жизнь в одноэтажном домике была загадочна и приманчиво-любопытна. Нам, детям, внушали, что смотреть в чужие окна плохо, однако сверху я часто и подолгу наблюдала за жителями таинственного домика.

Там были две двойные высокие двери с бронзовыми ручками. Их тщательно запирали, когда кто-нибудь входил или выходил.

За правой дверью жили трое. Старый, почтенной внешности, хотя и небольшого роста профессор. Профессор и его гости подъезжали к дому на извозчике. Часто извозчик ждал его по утрам у подъезда. Профессор, сухова-

тый, с бородкой и усами, в черном костюме, в шляпе и с зонтиком, выходил и садился в пролетку. Он не важничал, но я почему-то осознавала его значительность. Его провожала до дверей жена (как тогда мне казалось, старушка). Она тоже была худощавой. В темном длинном платье со стойкой и кружевным воротничком. На груди – медальон. Иногда она носила блузки, застегнутые брошкой-камеей. На плечи был накинут платок – тонкий вязаный или скромный красновато-коричневый кашемировый. Сам вид и манеры чрезвычайно отличали ее от всех женщин вокруг. Она стояла в дверях, пока профессор, устроившись в пролетке, не уезжал, слегка помахав ей рукой. Тогда дверь закрывалась. Вечером, когда зажигали свет, а портьеры еще не были задернуты, можно было видеть старинные книжные шкафы, письменный стол, зеленый абажур. Говорили, что раньше весь дом был их, а теперь их «уплотнили». Однако не выгнали, по-видимому, за ученые заслуги. Теперь другая половина дома была занята чужой семьей. Когда я много позже прочла «Петербург» Андрея Белого, мне показалось, что «мой» профессор – копия профессора Летаева. Все казалось тихим и благопристойным в этом доме, как будто трудности тех лет не коснулись этого мирного существования.

В доме росла девушка удивительной красоты. Звали ее Ириной. Она была сероглаза, с черными густыми ресницами, отчего глаза казались темными. Прекрасная толстая коса, по-детски пухлые щеки и ямочка на подбородке. И стать ее была хороша, и упругая и одновременно женственная походка. Она всегда торопилась. Мы знали, что она учится в университете и занимается средними веками – медиавистикой, как нам объяснила Милина мама, которая заходила в дом профессора по каким-то общественным делам. Сам профессор тоже был историком.

Все дела вне дома падали на дочь. Вскоре жена перестала провожать мужа. По-видимому, она болела, хотя и прежде печальна была всегда. Впрочем, какие только беды не могли бы случиться в этой семье – мы это знаем, – ведь они были из дворян. А дочка была всегда бодра и

как-то тихо весела. Мы с Милой ею восхищались. Шли годы, она кончила университет и осталась там ассистентом. А мы все думали – а кто будет прекрасный принц? Но мы никого никогда не видели. Однако наше обожание не проходило. Как-то в третьем классе мы построили у них во дворе из тающего снега Кремль. Мы тогда проходили историю Москвы. Мы так увлеклись работой, что спорили очень громко. Ирина выглянула из окна и с любопытством взглянула на нашу работу. Потом она вышла и объяснила, какие соборы и дворцы расположены в Кремле. И про кремлевские башни тоже. Мы там никогда не бывали.

И вот мы узнаем, что Ирина выходит замуж и уезжает в Ленинград. Влюбленность заставила меня преодолеть робость. В то время я увлекалась составлением композиций из засушенных цветов. Я наклеила траву, цветы и листья на лиловую бумагу. Травы и листья располагались под углом, как под порывами ветра. Я пошла к ней и позвонила в дверь. Ирина открыла мне. Я стояла решительная, хотя и покраснела. Она пригласила меня войти. В доме никого не было. Возможно, ее родители уже умерли тогда? Сказать стыдно, но я не помню. В то время смерть старых с моей точки зрения людей казалась естественной.

В доме беспорядок сборов. Ирина с благодарностью приняла мой дар и пригласила выпить чаю. И рассказала историю своей любви с первого взгляда: «Я села в поезд, идущий в Ленинград. В купе оказался человек, сразу привлекший меня. Мы разговорились, и у нас мгновенно родилось ощущение, что мы знаем и любим друг друга всю жизнь. Все, о чем мы говорили, казалось, уже знаем, чувствуем. Его глаза говорили мне об этом. Мы говорили всю ночь, стоя в коридоре. Мы держали друг друга за руки и к утру решили – мы будем вместе всю жизнь. И что замечательно, так же было у моих папы с мамой – они познакомились на выпускном балу в маминой гимназии, куда папу случайно привезли друзья». Больше я Ирину не встречала...

Еще одна красавица

Это воспоминание совсем мимолетное, но впечатление от красоты этой дамы живо и поныне. Мы с мамой в гостях у незнакомых мне людей. Мама что-то сшила или подогнала для хозяйки дома, и она решила нас пригласить. За столом с винами и закусками женщина. Она полновата, высока ростом. На ней, по моде тех лет, короткое черное бархатное платье с глубоким вырезом, почти декольте, которое обнажало ее пышные плечи и грудь. Длинное жемчужное ожерелье завязано узлом на груди. Она была настоящей красавицей, с прекрасным цветом лица и правильными чертами. Когда она улыбалась, обнажались десны, но и это казалось почему-то прелестным. Что она говорила, было совершенно неважно – все казалось умным и интересным. Полные красивые ноги с круглыми коленями и узкие щиколотки обтянуты шелковыми чулками. Вокруг нее несколько мужчин, тоже очень хорошо одетых. Эти люди были явно из нэпманов. Никаких событий этого вечера не помню. Но когда я читала «Войну и мир», внешность Элен Безуховой напоминала эту женщину.

Лето в Тирасполе

Мне пять лет. Разговор о поездке летом в Тирасполь начался еще зимой. За окном мороз, ветер, снег, а мама вспоминает теплынь, горы арбузов и какую-то другую, неведомую, радостную жизнь. В Тирасполе у нас дальняя родня. Приближается мамин отпуск. Суета со сборами, трудности с билетами, какие-то узлы, ведра, корзины. И мы наконец в переполненном, душном вагоне. Понемногу все вещи распиханы. Корзины в головах. Деньги, зашитые в мешочек, приколоты к маминой нижней рубашке.

Я впервые на дальнем поезде. Я на верхней полке, смотрю неотрывно на пробегающие телеграфные столбы, птиц на проводах, мелькающие поляны, леса, речки. Смеркается. Зажигаются огоньки в окнах пробегающих

мимо деревушек. Становится грустно – там кто-то живет, а я их и они меня никогда не узнаем. А утром вместо русских деревянных изб беленькие сверкающие мазанки, окруженные палисадниками. А в палисадниках белые, розовые, красные цветы – мальвы на высоких стеблях.

Приезд в Тирасполь не помню. Но нашу небольшую мазанку, с чем-то вроде кухоньки, с небольшим крыльцом помню очень хорошо. В дом мы практически не заходили – вся жизнь проходила во дворе. Тетя – шумная, громогласная, растрепанная, с большим пучком волос, из которых все время выпадают шпильки, в засаленном на животе платье. Жизнь наша с самого утра во дворе сосредоточена вокруг очага – железной плиты, уложенной на большие камни.

Несколько раскидистых деревьев защищают от палящего солнца. Под старой грушей вкопан большой стол с двумя лавками. Еще во дворе колодец с низким срубом. Туда, пугает меня мама, можно упасть и утонуть. Когда мама опускает в колодец ведро на веревке, я стою поодаль. От колодца веет глубиной и прохладой. Говорят, что днем из колодца видны звезды. Утром прохладно. День начинается с растопки очага. На плите два больших котла. В одном варят кукурузную кашу – мамалыгу. Горячая каша, щедро политая подсолнечным маслом, дымится в моей миске. Масло пахнет жареными семечками. В другом котле готовят к обеду борщ. Мама в ступке растирает сало с чесноком, чистит свеклу, морковь. Нам при этом всегда перепадают сладкие хрустящие морковины. В борщ кладут укроп, перец, лавровый лист. На краю плиты закипает ведро компота – это падалки яблок, груш, слив. Здесь вообще пьют охлажденный в колодце компот. Столь излюбленный в Москве чай тут не в чести. «И за что москвичи чай любят? Одна вода», – комментирует тетя.

Как-то дядя принес громадную щуку. Когда он достал ее из мешка, завернутую в громадные лопухи, она еще была живая. Она билась, выскальзывая из тетиных рук. Тетя кладет ее на большой камень и ударяет по голове другим. Щука вздрагивает всем телом, мощно ударяет хвостом и

замирает. Тетя вспарывает ее, бросает внутренности собаке и курам и начинает чистить чешую громадным ножом. Чешуя летит во все стороны серебристым дождем, только пахнет рыбой и липнет. Затем берется за дело мама, она осторожно снимает с рыбы кожу и укладывает в лист лопуха. Мякоть тоже отделяют от костей и прокручивают на мясорубке. С луком, чесноком, перцем и намоченным хлебом. А затем кладут всю эту массу в рыбью кожу и – о чудо! – на противне опять получилась целая рыба вместе с головой! Помню мое разочарование, когда всеми обожаемая фаршированная рыба мне совсем не понравилась.

Другое яркое воспоминание связано с приготовлением к обеду курицы. Несколько кур с петухом постоянно бродили по двору. Одна из них почти не неслась. Тетя поймала ее и легким и точным движением отрубила голову. Было жутко, и меня слегка мутило, но я с любопытством наблюдала, как курица без головы кружит по двору и наконец падает. Из ее горла течет кровь.

А еще в большом тазу варят повидло. Когда оно закипает, мама снимает розово-фиолетовые пенки. Они такие вкусные! Удивительно, взрослые почему-то предпочитают пенкам повидло.

Жара. Жизнь в середине дня замирает. Тетя двигается медленней, перестает подкидывать в очаг щепу и кизяк. В тазу, подчиняясь затуханию огня, все медленней булькает густеющее повидло из слив. Все реже вырываются пузыри густой лиловой пены. Но вот и они не в силах ее прорвать. Застывшая, она так вкусна!

Тетя и мама дремлют под грушей. А меня так и тянет, так и манит колодец – заглянуть в его прохладную темную глубину. Крадусь тихо, не проснулась бы мама, а то отшлепает. Подхожу, наклоняюсь, а там, далеко-далеко, – я! Мама шевелится, и я мгновенно отбегаю к своему домику из поленьев, в котором живут в большом небрежении две мои куклы.

Одна – целлулоидовый голыш в ванночке, другая сшита мамой. Фарфоровая головка куплена в магазине. Хорошенькое розовое личико, губки бантиком, распахнутые

голубые глаза с нарисованными ресницами. На грудке четыре дырки, за которые головка пришита к туловищу черными нитками. Других, видимо, не оказалось под рукой, а хотелось сделать быстрее. Кукле этой мама сшила платье и пальто, но я ее не люблю. Оскорбляла несообразность красивой головки и грубо сшитого тряпичного тела. Но сейчас я играю с куклами увлеченно: я такая хорошая, послушная девочка.

Но самые счастливые дни были на берегу Днестра. После пыльной жаркой дороги попадаешь в прохладу громадных склонившихся к воде лозин и высоких осокорей. Среди ивняка песок. Длинные ветви ивы склонились так низко, что листья полощутся в воде.

Мы купаемся в маленьком затоне. Дальше – сильное течение, и я страшусь, когда мама отплывает от берега и ее относит за мысок. Песок тонкий, сыпучий, золотой, струится между пальцами. А если копать глубже, то становится сырой, тяжелый, холодный. Зато из него можно строить башни с двумя или тремя выходами и крепость, соединяющую эти башни. А рядом, в корзинке, абрикосы, сливы, груши.

Река широкая, недалеко мост, но по нему никто не ездит: здесь проходит граница, стоит зеленая будка и в ней изнывающий от зноя красноармеец. А на той стороне реки ходит румынский солдат. Он – враг, они захватили нашу землю – Бессарабию. Там такие же белые мазанки, поля подсолнуха, кукурузы. А граница – это что-то страшное, таинственное. Увидеть ее нельзя – она посередине реки, но туда можно заплыть. Тогда, объясняет мама, румынский солдат будет стрелять. Но на самом деле в мире тишина, только плещется и искрится солнечными зайчиками река.

А день длится и длится в каком-то счастливом безмыслии, счастье бытия. Но вот солнце заходит за вершины осокорей. Пора домой. Во дворе – вечернее оживление. Возвращается дядя, иногда с намокшими волосами и налипшей на мощную грудь рубахой. Значит, он выкупался по дороге. В другие дни тетя или кто-нибудь из ребят по-

ливают ему из ковша. Он шумно и радостно фыркает, вода холодная – из колодца, и он брызгает водой на нас. Это игра. Мы отбегаем и опять подкрадываемся, и он опять плещет в зазевавшихся. Мы визжим, а вода так смешно стекает с его усов. Из его мешка, который у него всегда с собой, он вынимает несколько громадных арбузов. Ему дали их на бахче. В старой сети он опускает их в колодец – охладиться.

И вот за большой стол во дворе садится много людей – родственники, друзья. Здесь же болтаемся и мы, дети. Сперва едят борщ, густой, ароматный. Затем застывшие куски мамалыги с компотом. На столе громадные, пышные круглые хлеба с хрустящей коркой и большущий нож, которым отрезают огромные ломти. И нам всем всегда достаются любимые горбушки. Едят шумно и весело. Но вот миски собраны. Вытирают клеенку, и на стол водружается самый большой арбуз. Он громадный, зеленый, с темными извилистыми полосами. Капли воды на его крутых боках. Свободно и лихо дядя вонзает в него нож. Арбуз крякает и распадается на две ярко-красные половины с блестящими черными семечками. Всем раздают тяжелые, сочащиеся красным соком куски. Так сладостно вонзать зубы в прохладную мякоть. Очень редко арбуз бывает неспелым, не трещит и плохо режется. Такой дядя небрежно бросает под стол, и его не спеша клюют куры.

Все в этом мире восхищает и поражает меня – и изобилие, и дядина артистичная небрежность. Иногда на столе появляется вино. Его приносят в большой бутыли – четверти. Это вишневка. В вине плавают горьковато-сладкие вишни. Взрослые пьют вино, а нам, детям, дают «пьяные» вишни. Мы легко и весело пьянеем, беспричинно и немного понарошку хохочем, танцуем, бегаем вокруг стола, пристаем к взрослым. А вокруг смех, шутки, анекдоты, гогот. Девушки взвизгивают, вероятно, говорят что-то смачное, так как мама оглядывается – где я. И все мы включены в эту атмосферу общего веселья и какой-то беззаботности.

Неожиданно, внезапно, без привычных в Москве сумерек, опускается теплая черная ночь с мириадами звезд, которые висят прямо над головой. Кажется, можно схватить звезду рукой. Чувство дружбы, радости, беззаботности – день прожит, и слава Богу – так не похоже это на нашу скудную жизнь в Москве. Конечно, мне просто так казалось, я не понимала трудностей и постоянной ежедневной борьбы за существование этой, в сущности бедной, многодетной семьи.

Но самыми удивительными были воскресенья. Базарный день. Еще с субботы на рыночную площадь вблизи Днестра едут огромные возы, запряженные волами. Волы поражают меня и слегка страшат своей медлительностью, тяжестью и величавостью. Они так не похожи на московских извозчичьих лошадок. И даже на более мощных ломовых лошадей. Громадные, доисторические, мохнатые головы с рогами. Обычно пустая, пыльная базарная площадь преображается. Она заполняется возами, суетятся люди. Чего только там нет. Арбузы, дыни, помидоры, яблоки, груши, баклажаны. Привязаны козы, блеют овцы, мычат коровы. Стоит жеребенок, жует сено. На возу маленькие розовые поросята, прикрытые мешковиной, высовывают свои пятачки. Прямо на земле глиняные миски разной величины, кувшины. А рядом раскрашенные глиняные игрушки – диковинные звери-свистульки и смешные человечки. Куски беленого холста, яркие монисто (ожерелья из монет) и ленты. Девушки и женщины в красивых вышитых черно-красным кофтах. А немного дальше продают лошадей, волов. Около них только мужчины в белых рубахах и портах. Рядом цыгане, которых я боюсь, – они воруют детей. Основной торг еще затемно, ранним утром. Часам к восьми-девяти утра базар уже кончен, возы со скрипом разъезжаются. В это время все оставшееся продается почти задаром, и мама с тетей везут задешево купленную снедь на двухколесной тележке. На ней же восседаю и я, переполненная впечатлениями и угощениями. На площади мусор – сено, овес, навоз, просыпавшееся зерно. Непроданные помидоры просто вывали-

ваются на землю. Тут же разбившиеся арбузы. По площади бродят громадные свиньи, подъедая оставшееся добро.

Был ли это особенно урожайный год, сказался ли расцвет нэпа, но чувство изобилия того лета запомнилось на всю жизнь. Потом, в Москве, в зимние и не особенно сытные вечера мы с мамой взахлеб вспоминали то пиршество изобилия.

Спим мы прямо под деревьями. Это особенно прекрасно: теплые ночи обнимают и ласкают. Нет привычной московской ночной прохлады. Голубой прекрасный свет луны разлит по всему миру, иссиня-черные тени громадных деревьев четко обрисованы на голубой земле. Мир таинствен, тих и прекрасен. Чувство счастья и растворения в громадной ласковой вселенной. Звезды не пугают мыслями о бесконечности, собственной малости и ничтожности, а радуют сопричастностью этому чудному миру. Засыпаю в ощущении счастья. И во сне – летаю. Возвращаться в Москву не хочется.

Школьные годы

Первый класс

Первое сентября 1926 года. Мне восемь лет, и я первый день в школе. Очень волнуюсь, но рядом со мной все мои подружки из детского сада. В руках у меня какая-то сумка с книжками и тетрадями, но я, конечно, мечтаю о ранце за плечами, как у Милы. Наш садик связан дружескими отношениями с этой, как мы слышали, замечательной школой.

Школа находится в Николо-Воробьинском переулке рядом с церковью, по пути к нашему детскому саду. Мы стоим в школьном дворе. День теплый, радостный. Дмитрий Иванович Петров, завуч, приветствует нас – первоклассников. Он говорит, что наступил новый, замечательный этап нашей жизни, что мы теперь будем учиться всему на свете: как устроены Земля, звездное небо, цветы, звери и человек. Затем мы собираемся в пары и идем в класс с нашей учительницей Варварой Александровной. У нее миловидное русское лицо и пучок русых волос. Грамоте, литературе и начальным знаниям об окружающем мире учиться было не трудно, но арифметика мне не нравилась. Я соображала плохо, когда дело касалось цифр, хотя любила рисовать и вырезать геометрические фигуры.

Так как я хорошо читала, знала много стихотворений наизусть, мне не очень интересно было на уроках. Я все время тянула руку, чтобы отвечать, но спрашивали меня

редко. Так что в первом классе было мне скучновато. Я, непоседа, пыталась болтать с Милой, но она, девочка дисциплинированная, мне не отвечала. Я, очевидно, мешала на уроках, и Варвара Александровна ставила мне не «отлично», а «хорошо», чтобы я не зазнавалась.

Даже мы, первоклассники, знали, что школа наша особая. Интересно было все. В школе серьезно занимались и столь же активно играли пьесы, пели в хоре. Был симфонический оркестр. На инструментах играли школьники и преподаватели. Устраивались выставки художественных работ учеников. Все это возглавлял Дмитрий Иванович. Он был педологом. Как я стала понимать много позже, смысл учебы и воспитания он и учителя видели в том, чтобы развивать индивидуальные способности ребенка, а не подгонять его под стандарт общих для всех требований. Для того чтобы выявить способности каждого ученика, они устраивали весьма изобретательные тесты. В результате тестов появлялись какие-то рекомендации в отношении дальнейшего направления развития ученика. Принципы эти кажутся мне разумными. Однако на практике я была очень огорчена и обижена, когда в результате тестов мне рекомендовали ручной труд. А я-то мнила себя «интеллектуалкой»!

Самое главное – в школе собрался коллектив учителей, которые посвятили детям жизнь. Мы почувствовали сразу дух добра, свободы, инициативы и деятельности. В школе работали столярная, переплетная и швейная мастерские.

Появился и радиокружок, где способные к технике ребята сами собирали детекторный приемник. В ящичке монтировали проволочные катушки, сопротивления, а снаружи в маленьком углублении лежал кристалл. Если в него потыкать проволочкой, соединенной с приемником, звучала музыка или голос: «Говорит Москва». В мастерских чинили стулья, мастерили декорации, шили костюмы к спектаклям. Все оборудование было старым или самодельным, добывали его у шефов, помогали и родители.

Школьный театр

Всей театральной жизнью школы, бурной и разнообразной, руководил Сергей Владимирович Серпинский. Он был учителем физики и постоянно добывал электрические и оптические приборы для будущего кабинета в новом здании, которое долго ремонтировали. Но основной страстью Сергея Владимировича был наш театр.

Зал в полуподвале школы забивался ребятами, учителями и родителями. Духота, теснота, возбуждение. На сцене сбоку – инструментальный квартет. Играют не взрослые, а дети! Ставят «Мещанина во дворянстве».

Занавес открывается. На сцену выбегают четверо ребят, одетых в черное. Они ставят на сцене кресло, стол, диван и ширму. Как я поняла позднее, постановка была в духе сугубой театральности, в стиле Вахтангова и Мейерхольда. Только костюмы соответствовали эпохе. На мужчинах короткие штаны с лентами под коленями, банты на туфлях, украшенные золотой каймой кафтаны с широкими рукавами, а у женщин декольте, бижутерия и широкие юбки. С самого начала было смешно и занятно. Когда же пошли сцены с учителями и Журден узнал, что, оказывается, он говорит прозой, а затем зазвучали диалоги с другими учителями-профанами, зал рыдал от смеха. Еще помню, как забавна была сцена посвящения Журдена в мамамуши: неожиданно артисты обменивались репликами, относящимися к событиям школьной жизни. Это было особенно занятно. Артистами были старшие школьники. Нам их игра казалась бесподобной.

После уроков в нашей школе проходили клубные дни. Ребята занимались в разных кружках, а для нас, младших, кто-нибудь из учителей читал вслух интересные книги. Особенно мне понравилась «Старшины Вильбайской школы» – про жизнь, дружбу и приключения английских школьников.

Очень нравились мне и перипетии превращений героев книги «Принц и нищий». Еще поражали диапозитивы. Их показывали через так называемый волшебный фо-

нарь. Это был большой проектор, где яркий свет возникал от вольтовой дуги – двух сближенных раскаленных током углей. В то время кино и радио только начинались, а телевидения не существовало, поэтому изображения разных далеких стран, путешествий, экзотических и доисторических животных или иллюстрации исторических событий были нам очень интересны.

Колония

Уже в первом классе мы узнали, что у нашей школы есть «колония», где летом живут, а старшие школьники еще и работают. Позднее нам рассказали, что колония возникла из группы ребят-беспризорников (или просто голодающих после разрухи ребят), которым Дмитрий Иванович и другие учителя решили помочь. Колония располагалась в Очакове, в ряду пустующих дач. Теперь это городской район, застроенный высокими домами, а тогда это было пригородное дачное место.

И вот наступило лето, и мы едем в колонию. Это были три довольно большие дачи, отделенные друг от друга рядами саженых еловых перелесков. Дома располагались на расстоянии около полукилометра друг от друга. Был еще небольшой прудик. Теперь я понимаю эклектичность архитектуры нашей дачи. Это был псевдорусский стиль со множеством резьбы, наличников, но одновременно дача хотела казаться западной, поэтому украсилась узкими высокими окнами. В нижнем этаже находились две большие спальни, выходящие в игровую комнату, где мы играли, читали, занимались. Еще в одной небольшой комнатке жила воспитательница. Игровая комната сообщалась с большой открытой террасой. Там были толстые, витые резные столбы, верх украшала кружевная резьба. Второй этаж состоял из одной или двух маленьких комнаток с двумя балкончиками. Со стороны было видно, что второй этаж резко сужается, переходя в башенку. Еще выше крутая лесенка вела к совсем маленькой площадке, напоминавшей церковный барабан, с окнами во все стороны. Над

этим фонарем торчал высокий шпиль с булавой. По-видимому, этот шпиль дал название нашей даче – Шпиц. Итак, Шпиц был средневековым замком и русским теремом одновременно. Мы любили, гордились, восхищались нашим Шпицем. Многообразие псевдорусских барочных украшений и даже готического стиля давало большой простор воображению.

Такого же вида, но попроще и поменьше, была средняя дача – Среда. В ней жили ребята постарше. Она выглядела попроще: мало резьбы, колонн, небольшая терраса.

Самой главной была белая дача «Беда» – оштукатуренный двухэтажный дом. С нашей точки зрения, совсем некрасивый. Там жили старшие школьники, учителя и Дмитрий Иванович с женой и двумя детьми. Мы мало там бывали, но однажды я увидела около «Беды» большого мальчика, вернее юношу, верхом. От пота блестит его загорелый торс, он как бы слился с лошадью. Скача мимо сарая, он, красуясь, кричит что-то стоящей в дверях девушке. Эта картинка – девчоночья мечта о грядущей любви.

Около «Беды» немудреные хозяйственные постройки, огороды, на которых работали все колонисты. Обед на всех тоже готовился в «Беде», нам его привозили на телеге, в больших кастрюлях, накрытых одеялами. Было в колонии строгое правило: привезенные родителями сладости отдавались воспитательнице и после обеда делились на всех. Иногда это была одна конфетка, другой раз два монпасье (малюсенькие леденцы) и одно печенье, но мы знали твердо, что, кроме всунутого в рот любящей мамой лакомства, остальное идет в общий котел. Благодаря этому правилу сладкого понемногу у нас было каждый день.

Мне очень нравилось жить в колонии. Я постоянно находилась в радостном настроении. Мы много играли – в лапту, в казаки-разбойники, в прятки и в мяч, а также в какие-то развивающие игры с разгадыванием слов, в буриме и другие. Особенно мы любили шарады, которые иногда превращались в маленькие спектакли. Нам читали и рассказывали сказки, легенды и истории. Мы рисовали,

вырезали, лепили. Занимались и физическими упражнениями – бегом, прыжками, эстафетами. Рядом был лесок, куда вроде бы нам не разрешалось ходить одним, но мы иногда убегали. В жару мы плескались в пруду. Главное – я в колонии была счастлива. Это ощущение не оставляло меня с утра до вечера. Куда-то исчезли все мои комплексы, во многих отношениях я оказалась не только равной, но и из лучших. В физических упражнениях, пении и танцах. Так, я, знавшая много стихов и сказок наизусть, охотно их исполняла.

Здесь, в колонии, мы были все более или менее одинаково одеты – в трусики и рубашечки. Очень были популярны так называемые шаровары – короткие пышные трусы, внешне похожие на широкую короткую юбочку. Тогда еще только появились майки и футболки из трикотажа, и эти майки, особенно полосатые, были невероятно желанны. Платья носили из ситца или байки.

Однако один эпизод выпал из общего счастливого ощущения. Приближался мой день рождения – 22 июля. Это я знала точно. За пару дней до него приехала мама. День был будничный. Мама пришла к Варваре Александровне и попросила отпустить меня, сославшись на свой единственный выходной. Мама приехала не одна, а со своим другом Ромео (я о нем уже писала). Он ждал нас неподалеку в лесочке, но его, по-видимому, видели. Я заметила поджатые губы нашей учительницы.

В то время мама уже не работала на фабрике – ее «выдвинули» на курсы «Нарпита», и она работала в буфете военной артиллерийской академии «Выстрел». Жить нашей семье стало легче. Однако нравы тех времен характеризует мое воспоминание о том, что когда я приходила к маме на работу и она кормила меня, то всегда клала деньги за еду в кассу. Мама была и снабженцем, и продавцом, и посудомойкой, и кассиром.

Но вернусь к приезду мамы в колонию. Когда мы подошли к лесочку, я увидела расстеленную Ромео газету, а на ней всякие вкусные вещи: колбаса, какая-то рыбка, мягкая хала и конфеты. И бутылка вина, и лимонад (я его

обожала). Я быстро проглотила бутерброды, конфеты, запила лимонадом. И тогда мама вынула подарок – синюю книжку Корнея Чуковского «Телефон», тетрадь для рисования и цветные карандаши. Книжку я здесь же прочла и перечла, она мне очень понравилась, смешное я очень любила. И рисунки – сам Чуковский и как он из болота тащит бегемота. Мне и во сне не могло присниться, что через десятилетия я познакомлюсь с самим Корнеем Ивановичем! «Телефон» стал первой моей собственной книжкой. И первой в нашем доме! Я сходу запомнила стихи и повторяла их вслух маме и дяде Ромео. Мама явно мною гордилась. Но вскоре я заскучала и захотела вернуться к ребятам. Мама не держала меня, дала пакет с конфетами и печеньем для ребят, и я весело убежала. На следующий день я спросила Варвару Александровну, нельзя ли мне пригласить на мой день рождения нескольких моих друзей. Она разрешила. Все ребята ушли гулять, кроме моих двух подружек и Сережи, в которого я была влюблена. Мы устроились на террасе за маленьким столиком, украшенным мною цветами и вырезанными из бумаги салфетками. Однако гости, охотно съев угощение и выслушав мою декламацию «Телефона», разбежались. Я, вероятно, ждала триумфа или каких-нибудь теплых слов и была разочарована. Произошло то, что психологи называют рассогласованием между ожидаемым и осуществленным.

Робин Гуд

И вдруг разносится весть – мы, самые младшие, будем ставить спектакль «Робин Гуд». И режиссером будет сам Сергей Владимирович. Мы, трепеща и замирая, слушали, как С. В. читал нам пьесу. Это была инсценировка для детей. Я перечла ее позднее, она оказалась вполне хорошей. А ведь известно, как меняются впечатление и оценка самых любимых книг, когда мы их перечитываем через много лет. «Играть будем здесь, – сказал С. В., указывая на наш Шпиц. – Это будет замок шерифа Ноттингемского. Наш лесок – Шервудский лес». Начинается действие на

полянке. Вбегает внучка свинопаса и сообщает деду-пастуху, что видела Робин Гуда с соратниками и их схватку с рыцарем, приехавшим из Лондона. Робин Гуд победил рыцаря и в знак примирения меняется с ним одеждой. Рыцаря вскоре ловят слуги шерифа и, сочтя его за Робин Гуда, заключают в темницу замка. Он сопротивляется, говорит, что он рыцарь, но ему затыкают рот. В это время Робин Гуд в обличье рыцаря появляется в замке шерифа. На балкончике – Сесиль, дочь шерифа. Они влюбляются друг в друга, и Робин Гуд дарит ей талисман.

Теперь я должна рассказать, что Робин Гуда играл Сережа, моя первая любовь. Был он круглоголов, коротко острижен, ясноглаз, очень живой, задорный, с большим куражом. Все он делал легко, не задумываясь, и все у него получалось. Кларинду, старшую надменную дочь шерифа, играла Ася, а младшую, Сесиль, непокорную бунтарку, миловидная, черноглазая и смуглая Мира. Маленький Джон, друг и соратник Робин Гуда, в этой инсценировке был мальчиком (в легенде эта насмешливая кличка относилась к большому и толстому обжоре и пьянчуге). Я мечтала о роли Маленького Джона. Она, мне казалась, создана для меня, а я для нее. Я была маленькая, щуплая, ловкая. Кроме того, мечтала быть рядом с Сережей. Я умирала от волнения и ожидания и была ужасно расстроена, когда роль Джона дали другому, а мне – эпизодическую роль внучки свинопаса. Началась репетиция. Выбегая на полянку и сделав по дороге кульбит, я закричала: «Робин Гуд идет!» Моя раскованность понравилась С. В., и он дал мне роль Маленького Джона! «Сережа, ты помоги Флоре сделать лук, и кто-нибудь дайте ей штаны. А ты пришей к ним заплаты». Репетиция прошла удачно, текст любимого героя я знала. И вот, счастливая, отправляюсь с Сережей за луком. Сережа сломал ветку, дал ее мне, а сам продолжал искать еще. Я стала сдирать тонкую кору. «Вот дура. Лук теперь высохнет, перестанет гнуться и сломается». Я удручена и обескуражена. Наконец он находит подходящую ветку, сгибает ее, связав концы бечевкой, и лук готов!

Потом он заостряет стрелы из веток и учит меня стрелять. Из висячего карманчика для платка я сооружаю колчан для стрел. Это что-то! Волнение и вдохновение сопровождали репетиции, а затем и сам спектакль. Место действия менялось, и зрители должны были двигаться в антрактах от одного места к другому. Сперва лесок, затем балкон и, наконец, сам замок – наша терраса. Колонны террасы украшены гирляндами из золотой бумаги. В день спектакля приехали родители, учителя, пришли старшие колонисты – публики много. Волнение неслыханное. На мне рубаха без рукавов, подпоясанная ремешком, под ней широкие рукава другой рубахи. Дочери шерифа в очень красивых платьях в стиле той эпохи – мы их шили под руководством взрослых. Из бумаги мы складывали «елизаветинские» воротники – это было очень красиво, похоже на парадные старинные портреты.

Мне помнится, что я немного завидовала Сесиль – она была очень хороша! Над губой у нее красовалась пикантная родинка, и костюм ей очень шел. А главное, они с Сережей играли любовную сцену! Зато у меня была самая интересная роль с остроумными репликами, вроде «Робин Гуд стреляет ночью лучше, чем днем. Днем ему деревья мешают, а ночью деревьев не видно».

Когда Робин Гуд под видом рыцаря появляется в замке, шериф с гордостью сообщает, что Робин Гуд уже пойман. Из темницы приводят бедного рыцаря. Он мычит (во рту у него кляп) и его отправляют обратно. Вдруг появляется еще один рыцарь, посланный разгневанным королем. Шериф, осознав происшедшее, в отчаянии: пленный рыцарь будет жаловаться королю. Крик: «Робин Гуд идет на замок!» Маленький Джон тайно вручает Сесиль сверток. Сесиль разворачивает полученный сверток, разворачивает свой – там две половинки стрелы! «Так это был Робин Гуд!»

В спектакле все действующие лица ясны и определенны, как в комедии масок. Робин Гуд отважен и добр, шериф глуп и жаден, Кларинда напыщенна и пуста, Сесиль смела, отважна, рыцарь труслив. Действие развивается

стремительно. Добро побеждает зло, любовь торжествует. Спектакль окончен. Аплодисменты, счастье успеха. Мы окружены публикой. Похвалы, восторги. После этого за мной надолго закрепилась роль озорного, смелого, острого мальчугана. И зимой в какой-то пьесе на тему о бедном мальчике, участнике революции в Китае, мальчика играю я. Но ожидаемого успеха нет. И пьеса плохая, и С. В. уже не с нами! Я продолжаю ходить в брюках, до тех пор, пока одна старшая девочка не произнесла: «Ты что воображаешь? Мальчиком все равно не будешь, и девочкой хорошей тоже». Не знаю почему, но на следующий день я надела юбку. Это теперь совершенно все равно, в брюках или юбке ходит девочка.

Полеты во сне и наяву

Ого-го, ого-го,
Я взлетела высоко.
Надо мной летают птицы,
Так прекрасно мне летится!

Мне всегда нравилось лазать через заборы, на деревья тоже. Влезать на нашу любимую рябину. Прыгать через лужи, съезжать с высоких горок. Но все же я не была храброй. Очень высоко я на деревья не забиралась – боялась. Помню, как в колонии недалеко от нас росли кедры, их, конечно, как и елки, посадили. На кедре росли шишки. Нам разрешили забраться на этот высокий ветвистый кедр и сорвать каждому по шишке. На самый верх, естественно, забрался Сережа, за ним кто-то еще. Я была только третьей. Сережа сорвал пять шишек, и их распределили по величине, в зависимости от высоты, на которую мы поднялись. Мне было стыдно за трусость, но я понимала, что это справедливо.

Однажды мы, несколько ребят, убежали из колонии без спроса. Зашли за первый лесок, затем за второй. Было чуть страшно, но как-то возбуждающе, таинственно. Вел нас, сами понимаете, Сережа. А за ним – хоть на край света. Где-то там, вдалеке, появилась заброшенная дача.

За развалившимся забором – округлая полянка, а на ней «гигантские шаги». Это столб с вращающейся наверху железной пластиной. К ней прикреплены толстые веревки с петлями внизу. Мы садимся в петли и, держась за веревки, разбегаемся. Мы делаем несколько больших шагов по земле, а потом отрываемся и летим в воздух. Восторг от полета неописуем. Почему-то никакого страха, только немыслимое желание, чтобы этот полет никогда не кончался.

Я очень часто и долго летала во сне. Почти до старости лет. Летая, я была абсолютно счастлива, даже проснувшись, ощущала чувство блаженства. Мои полеты были абсолютно естественным бескрылым парением – над домом, облаками, над нашей комнатой, физкультурным залом (я очень любила занятия физкультурой), над нашим двором, над бульварами, церковью, Чистыми прудами, над лесами, полями, холмами, оврагами. Никогда не было страшно, я просто летала, созерцая мир внизу, и была счастлива. Иногда во сне я думала: ведь это так просто – летать. Просто оттолкнуться от пола и взлететь плавно и спокойно. Иногда я где-то приостанавливалась в воздухе, не опускаясь, но чаще парила и парила в какой-то сладостно-спокойной уверенности в естественности состояния полета.

И вот – «гигантские шаги». И это острое, острее, чем во сне, ощущение полета. Счастье. Восторг. Счастье, которое и теперь вспоминаю как одно из самых острых чувственных наслаждений. Мы летали и летали. Реальная жизнь как бы остановилась. Мы парили и летали в счастье. Нас могут хватиться, нас могут искать, нам всем попадет. Но оторваться от сладостного этого полета было невозможно. Мы не могли перестать разбегаться, и парить в воздухе, и опять разбегаться.

Возвращения я не помню. И почему-то это не повторилось. Возможно, нас наказали. Может быть, мы не могли больше удирать или это случилось в конце лета. Не знаю. Помню, через какое-то время я попала на другие «гигантские шаги», но было это не так и не то. Вероятно,

соединились в том полете счастье того лета, игры и влюбленности...

Второй класс. Евгения Андреевна

Передо мной лежит фотография – наш второй класс. В середине наша учительница Евгения Андреевна. Это немолодая полноватая дама. Она учила детей еще при царе. У нее волнистые с проседью волосы, собранные в высокий пучок. В классе у нее всегда тишина и порядок: каким-то образом она могла заставить работать всех. Строгая и требовательная, особенно в отношении русской устной и письменной речи, она читала нам стихи, которых я не знала. Мне кажется, что кроме Пушкина и Лермонтова она читала нам Некрасова, Фета, Тютчева, Блока и, мне помнится, Бальмонта.

Она пристально следила за нашей речью, учила рассказывать простым, но ясным и по возможности нестандартным языком. И ценила хорошее, четкое выражение мысли. Очень часто, прочтя фразу, она спрашивала: «А как еще это можно рассказать или описать?» Мы искали другие слова, выражения. Иногда она подсказывала нам: «А может, так сказать лучше?» И в самом деле – вдруг пейзаж или событие представали ярко и выпукло. Она поощряла наше домашнее чтение. Спрашивала: «А что ты сейчас читаешь?» И прочесть советовала какую-нибудь книжку. Я помню, что мы читали рассказы детей яснополянской школы.

Как-то Е. А. попросила нас написать рассказ из своей жизни. Я написала о поездке в Царицыно, в гости к нашей молочнице. Е. А. прочла мой рассказ вслух, и ребята задавали мне вопросы.

Я очень гордилась своей славой и, отвечая, была многословна, употребляла выспренные выражения и восклицания. Е. А. остановила меня, и я сразу почувствовала, что она мною недовольна. Урок кончился. Я приуныла, мне хотелось, чтобы мой триумф длился, но тщеславия Е. А. не одобряла.

Е. А. рассказывала нам и об окружающем мире – о природе, о животных. Она повела нас в зоопарк, и многие из нас впервые увидели слона, тигров, крокодила. Она показывала нам картинки о природе, о жизни в других странах. Помню Африку и Южную Америку. Особенно впечатляли диапозитивы, их нам показывали внизу в зале.

Е. А. учила нас и в третьем классе. Весь год был посвящен Москве – ее истории, географии. Читали произведения и стихи, посвященные Москве. Иногда Е. А. водила нас по улицам Москвы и рассказывала о зданиях, людях и событиях, связанных с этими местами. Очень хорошо помню памятник Минину и Пожарскому. Он стоял тогда в центре Красной площади, на другом месте.

Интересен был Китай-город. Там стояли очень странные дома, с наружными лестницами. В этих домах и дворах шла какая-то бурная уличная жизнь, похожая на спектакль в декорациях. Позже там построили безликую гостиницу «Россия». А надо было бы оставить это место городским музеем, как в других европейских городах – в Праге, Варшаве. У Ильинских Ворот было множество букинистов с лотками старых книг. Количество их завораживало и соблазняло, тем более что многие книги были очень дешевы. Я даже купила там «Приключения барона Мюнхаузена», и его фантастическое вранье меня завораживало. Книжка была довольно потрепанная, но рисунки с половиной лошади, из которой текла вода, с оленем с вишневым деревцем на голове вызывали у нас неудержимый хохот.

Помню рассказ Е. А. о начале Москвы, об Иване Калите, Смутном времени, Лжедмитрии. Кажется, она читала нам отрывки из пушкинского «Бориса Годунова». Помню ее рассказ о дворцах, соборах и башнях Кремля. Но в сам Кремль уже не пускали. Я думаю, что к моей бессознательной любви к Москве прибавилось от этих прогулок и чтение чего-то более основательного.

Одно из сильных впечатлений этого периода – ледоход на Москве-реке. В то время еще не было гранитных

набережных, и от несущихся со скрежетом, встающих дыбом льдин нас отделяла невысокая железная ограда. Был год, когда ледоход совпал с наводнением. Ничто не могло удержать нас, мы убегали из школы и вместе с бурными ручьями, плещущими вдоль Яузского бульвара, сбегали к самому интересному месту, там, где Яуза впадала в Москву-реку. Вода заливала Котельническую набережную. Мы в веселом безумстве убегали от наступающих волн, промочив насквозь ботинки и чулки. Леня, самый отчаянный и озорной мальчик, бросил на льдину любимый красно-синий мячик, и он плыл на ней, пока льдина, столкнувшись с другой, не разбилась, и мячик исчез... Стихия ледохода и наводнения запечатлелась, наказания не помню...

Вспомнился и анекдот из школьной жизни того времени. В нашем классе учился способный мальчик Лева Ш. Он написал в сочинении, что Москва стоит на семи московских холмах. Рядом с ним сидела большая, туповатая второгодница Маня. Она списала у Левы: «Москва стоит на семи магелланских холмах». Е. А. прочла это вслух. Мы издевались над Маней долго. Достаточно было произнести слово «магелланские», как раздавался хохот. Может быть, на этот раз Е. А. была не права, огласив этот опус, но она не допускала нечестности.

Скарлатина

Однажды, возвращаясь из школы, я ощутила непривычную слабость. Болело горло, стало невмоготу душно. Пришла с работы мама. Испугалась. Температура у меня при обычной простуде не поднималась, а так не хотелось идти в школу, особенно если не были выучены уроки, а мечталось поваляться в кровати, почитать. Но на этот раз был жар, и мне было очень плохо. Я металась в постели, все тело горело. Мама ужасно волновалась, вызвала срочно врача. Когда пришел врач, было уже темно, горел свет, который меня раздражал. Врач увидел сыпь на всем теле, определил скарлатину и сразу вызвал «скорую». Тогда она называлась «карета скорой помощи». Но название

уже не соответствовало действительности – это был автомобиль. Позднее я изобразила прошедшее в стихах.

Что за оказия, такое безобразие –
Районный врач пришел,
Он меня всю раздел,
Всюду сыпь разглядел.
Смотрит горло. Болит?
Голова вся горит.
«Тебе в больнице место,
Не здесь тебе лежать».
«Скорая помощь» приехала к нам:
В скарлатинное отделение, пожалуйста, вам.
Девятый корпус наполнен ребятами,
Но не весело было мне там.

Когда меня везли в больницу, мне стало совсем худо. Хотя рядом в машине сидела мама, было очень страшно. Я ощущала мамино волнение. Особенно, когда меня одну повезли куда-то на каталке. Был поздний вечер или ночь. Меня положили в палату, там кто-то плакал. Мне стало еще страшней, я тоже заплакала. Толстая добрая нянечка успокаивала меня: «Спи, спи, завтра легче будет. Вот сыпь уйдет, начнешь выздоравливать».

И действительно, на следующее утро стало легче. Я увидела еще одиннадцать кроватей с девочками, тоже больными скарлатиной. Я быстро познакомилась с соседками. Нянечки были очень добрые, кормили тех, кто сам с этим не справлялся.

Позор

Эта история, может быть, одна из самых трагических во всей моей детской жизни. Мама приносила мне в больницу апельсины. Сперва я не могла их есть – болело горло. Апельсины скапливались на тумбочке. Но настал день, когда я почувствовала подъем, веселье, – жизнь прекрасна! Я не только съела все свои апельсины, но с аппетитом

поглощала скудную больничную пищу. Я начала выходить в коридор, что не разрешалось. Энергия выздоровления бушевала во мне, я напевала, пританцовывала, веселила ребят. Я пользовалась популярностью, так как рассказывала сказки, читала стихи. Но – апельсинов больше не было. У мамы не было денег на такое роскошество. А на соседних тумбочках у вновь появившихся девочек лежали апельсины. И меня они безумно соблазняли. Я стала каждый вечер таскать по апельсину. Выбирала, где их несколько, брала один и съедала со шкуркой. Я выздоравливала, но возникло осложнение – воспалились околоушные и шейные железы. Стало хуже. Я ходила с обмотанной шеей и головой. В это время я научилась довольно ловко бинтовать других детей и сматывать бинты. Я помогала нянечкам и гордилась этим.

Однако в один злосчастный вечер, когда до выписки осталось всего два дня, я, как обычно, когда все заснули, направилась к тумбочке напротив, чтобы стащить апельсин. И тут внезапно та самая нянечка, которая в первый день утешала меня, зажгла свет и обнаружила меня на месте преступления. Она больно схватила меня за руку и потащила с криком в коридор. Сбежались все дежурившие в отделении. «Вот она, воровка, таскает апельсины у других детей. Ты их жрешь, а родители на нас валят, что мы детей их обворовываем». Меня предали остракизму.

Последние два дня в больнице были для меня ужасны. Врачи, сестры, нянечки, все знали, что я воровка. Никто со мной не разговаривал, когда я выписывалась. Никто меня не проводил, не попрощался. По-видимому, нянечки подозревали меня в краже и следили за мной. Одна из них сказала: «А мы думали, что ты хорошая девочка».

Память об этом позоре долго была самым тяжелым воспоминанием в жизни. Мне кажется, что впервые о своем позоре я рассказала терпимой к смертным грехам, моей свекрови Айви Вальтеровне. Она отнеслась к этому легко. Когда я думаю теперь о моих больничных приключениях, мне не было по правде стыдно, я понимаю, что тяжел был именно позор разоблачения. Если бы меня не

поймали, мне кажется, я совсем не переживала бы свой поступок. Главное было не попасться! Моральных терзаний совести я не помню. В школе, однако, ничего о моем воровстве не знали и встретили очень тепло.

Я была счастлива вернуться домой и в школу к подругам. Ребята нашего класса подарили мне две книги: «Республика ШКИД» Пантелеева и Белых и «Звери дедушки Дурова». Это были хорошие книги в переплетах, я их читала и перечитывала. Они положили начало моей библиотеке, в которой до тех пор были сказки братьев Гримм, стянутые у кого-то, «Снежная королева», которую я обожала, и «Телефон» Чуковского.

Воровство

Я должна продолжить тему воровства. Я была склонна к воровству. Я не таскала дома, так как денег у мамы было в обрез и она знала о каждой копейке, но в доме у Масленниковых было иначе. Вечерами там собирались играть в карты, а мы с Милой шарили по карманам пальто. На вешалке в коридоре набирали довольно много мелочи. На эти деньги мы покупали конфеты, всякие канцелярские мелочи и маленьких голышей в ванночке – нам они очень нравились. Но где было этих голышей прятать? Однажды мы спрятали их под темной лестницей в полуподвале, но сын дворника Ахмет нашел голышей и отдал сестрам. Спорить мы не могли, они это понимали. В другой раз мама нашла голыша под моим матрацем. Я быстро соврала, что мне его подарила Мила, но мама, заподозрив неладное, пошла к Милиной маме. Мила созналась, что инициатором была она (в данном случае так и было), но взрослые, да и моя мама, как всегда, приписали все моему дурному влиянию.

Лето в Крылатском

После второго класса я ужасно огорчилась, узнав, что не поеду в колонию. Мама сняла комнату с террасой в

Крылатском. Неподалеку, во дворце, на берегу Москвы-реки помещалась теперь артиллерийская школа «Выстрел». Там готовили старший комсостав. Мама была чем-то вроде завхоза в этой школе.

В этот период у мамы появился друг Данила Максимович, очень симпатичный молчаливый человек с бородой. Тогда бороды были редкостью. Он был инженером-строителем и хорошо зарабатывал. У нас в комнате появились тюлевые занавески и покрывала на кроватях. А теперь мама могла еще и «снять дачу». Хозяева ютились в пристройке. У них была корова, однако хозяин уже работал в Москве, куда ездил на поезде.

Во дворце была хорошая библиотека, сохранившаяся от старых владельцев, к тому же ее постоянно пополняла замечательная библиотекарша. Тогда на книги выделялись средства, и немалые, библиотеки получали в коллекторе экземпляры выходящих книг. Но больше всего я помню старые дореволюционные издания.

В то лето мне исполнилось десять лет. Я ходила во дворец по высокому берегу Москвы и набирала книги. Библиотекарша, конечно, поощряла мою страсть к чтению. В то лето меня очень привлекала драматургия. Я прочла всего Мольера, даже его слабые вещи. Это были тоненькие непрочные книжки в желтых бумажных обложках, в каждой книжке одна пьеса. Прочла все пьесы Островского. Прочла «Коварство и любовь» Шиллера, пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» и «Смерть Тарелкина».

Под большим впечатлением я была от «Театра Клары Газуль». Очень нравились сказки Гоцци «Король-Олень» и «Ворон». Читала и Гольдони. Понравилась «Собака на сене».

Еще в это лето я научилась плавать. Сначала я купалась и, перебирая руками по дну, болтала ногами, но в какой-то момент оторвала от дна руки и поплыла. Я бросилась к маме – она сидела на берегу. Но она не поверила, потому что я часто врала. Однако я проплывала все большие расстояния и убедила ее в своей победе.

Я собирала что-то вроде гербария – засушивала цветы, потом приклеивала их на бумагу и писала какие-нибудь стихи. Иногда свои, а иногда чужие. Такие листы я дарила подругам на дни рождения. К этому лету, пребывая в созерцательном и углубленном в себя состоянии, я сочинила стихи, явно под влиянием «Балаганчика» Блока. Там было несколько героев – мальчики и девочки под дождем. Большая капля. Дети размышляют о том, что бы они сделали, войдя в каплю. Мальчик говорит о том, что он стал бы рыцарем и героем, защищал обиженных. Маленький мальчик: «Если бы в каплю вошел я, никогда бы не стал умываться. Никогда бы не чистил зубы, а прыгал бы в облаках». Маленькая девочка: «А я бы гуляла в высокой траве, где кузнечики больше коров. Я их видела во сне, когда училась летать». Большая девочка: «Какие глупости говорят малыши. Если бы в каплю вошла я, никогда я бы не стала смеяться и жила бы странной жизнью, и никто бы не знал, где я». Дождик прошел, капельки высохли. Впрочем, иногда мне кажется, что я где-то прочитала об этом в стихах, и они мне так понравились, что я выдала сюжет за свой, а потом сама поверила. Уж слишком мастерски и слишком отличается это от других моих опусов.

К моему дню рождения мама сшила мне прелестное платьице. Я крутилась и танцевала, пела и читала стихи моим гостям и взрослым. Ребят мама угощала за маленьким столиком в палисаднике. Взрослые, во главе с Данилой Максимовичем, сидели за столом на террасе и были очень веселы.

Мама подарила мне говорящую куклу с очаровательным фарфоровым личиком. Когда ее переворачивали со спинки на живот, она говорила что-то вроде «мама». Но, честно говоря, я не очень любила кукол. Разве что маленьких голышей и пупсиков, которых можно было купать, пеленать и баюкать. Да и мама предпочитала держать эту куклу завернутой в шкафу. Кукла жила долго. У нее вылезли волосы, истаскалось роскошное платье, но личико с открывающимися глазами (с ресницами) оста-

лось прелестным. Пропала она, кажется, только во время войны.

Уезжая с дачи и сдавая книги, я узнала от библиотекарши, что я ее самый лучший читатель: за лето я прочла больше сотни книг.

И все же, несмотря на радости деревенской жизни, я мечтала о колонии в будущем году и, конечно, об участии в спектаклях. Я умоляла маму поехать в конце лета в Очаково на новый спектакль, но этого не получилось. Я не могла предугадать, что «рай» нашей школьной и очаковской жизни был потерян навсегда: система воспитания и обучения в нашей школе подверглась травле. Мы мало что понимали, но учителя и родители читали и обсуждали разгромные газетные статьи. Все закончилось увольнением или уходом Дмитрия Ивановича Петрова и учителей.

И все лучшее кончилось. И печаль от этой потери жива до сих пор.

Ася Х. и ее семья

Асю я помню еще с детского сада. Это была миловидная, умненькая, активная и дисциплинированная девочка из хорошей семьи. Ее постоянно выбирали старостой и председателем совета отряда. Жили они в небольшом домике, бывшем помещении для слуг при особняке на Земляном Валу.

Это был старинный дворянский особняк, в котором находился туберкулезный центр «Высокие горы». Отец Аси, известный профессор, специалист по туберкулезу, был врачом Горького и поэтому время от времени выезжал к нему в Сорренто, откуда привозил Асе красивые вещи. Был он членом партии. Мать Аси, Елена Петровна, не работала, но состояла в родительском комитете школы, ездила с нами на экскурсии, водила в театры и музеи. Она в свое время окончила гимназию, много читала и была образованной и хорошо воспитанной женщиной. Мы с Асей были в хороших отношениях, но дружбой это не назовешь. Я немного ей завидовала, а она не понимала и

осуждала мои выходки, вранье и неровность поведения. Я была то дружелюбной и оживленной, то неожиданно холодной и неприязненной, но бывать в их доме очень любила. Опять же – много книг, пианино и атмосфера интеллигентной семьи.

У Аси был старший брат Борис. У него в этой тесной, но по тем временам вполне хорошей квартире была маленькая комнатка. Вроде кельи с кушеткой, столом и книжными полками. Он любил Маяковского, Асеева, у него были футуристические «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ». Короче, он гипнотизировал меня своим существованием. Увлечение девичьим и не пахло (он был толстоват и некрасив), но привлекательность и таинственность взрослого литератора влекла меня постоянно в их дом.

В разговорах он относился ко мне с интересом, но я была для него ребенком, и дальше наши отношения не развивались. Однако книги Борис мне давал.

Вспомнила мое первое посещение их дома. Был Асин день рождения, и я впервые тогда попробовала черную икру. Она произвела на меня неслыханное впечатление: я намазывала и намазывала бутерброды. А были еще и вкусные пироги. Короче, дома у меня начались боли в животе. Мама думала, что я отравилась, но я просто объелась, как чеховский дьячок.

В школе Ася была активисткой и хорошо училась. Так все и продолжалось до десятого класса, когда ее отца арестовали. Только после реабилитации выяснилось, что его расстреляли. До этого ему пришлось признаться в шпионаже в пользу Италии и других государств. Я к моменту ареста Асиного отца уже не училась в школе, но, встретив Асю, была потрясена. Она плакала. Ее заставляли отказаться от отца, признать, что он враг народа, а она не могла. На бюро комсомола одна новая комсомолка, незаметная до недавнего времени, а сейчас хорошо одетая наша соученица, обличала Асю. Еще при мне, когда эту девочку принимали в комсомол, она сказала, гордо подняв голову, что отец ее работает в НКВД. Так сменялись герои. Все-таки Ася попала в медицинский институт и стала хоро-

шим врачом, тоже туберкулезником, участвовала в войне, вышла замуж за уже немолодого врача, работала с ним на Сахалине.

Судьба Бориса сложилась трагичнее. Поначалу он стал известным критиком и публицистом, печатался под псевдонимом, но, когда в 1948–1949 годах началась травля космополитов, с расковычиванием псевдонимов, он был отовсюду изгнан. Однако участь отца его миновала. После смерти Сталина он пытался вернуться к журналистике, но так как его основной темой было отражение в театре жизни Ленина и Сталина, то дела его стали совсем плохи.

Вранье

Вранье было основной причиной, по которой не складывались мои отношения с подругами или с их родителями. И так в среде благополучных девочек из интеллигентных семей наша семья не внушала доверия, но хуже всего было мое вранье. Врала я чудовищно, но, как я теперь понимаю, в большой степени компенсационно. Один раз в младших классах я пришла в школу и спонтанно, чтобы привлечь внимание, удивить, сообщила, что ко мне приехал дядя. Он матрос. Приплыл из дальних стран. Все помалкивали, тогда я с каким-то непонятным упорством продолжила: «Он привез мне в подарок обезьянку». Ребята смеялись, прекрасно понимая, что я вру, и решили после уроков пойти ее посмотреть. Я повела их к себе. На что я надеялась? Придя ко мне, все начали издеваться и дразнить меня врушей, но я продолжала упорствовать и утверждала, что дядя с обезьянкой ушел и скоро вернется.

Другой случай произошел уже в шестом классе. У меня был небольшой голосок, хорошая музыкальная память, и я любила петь. Вера Андреевна, продолжавшая учить нас музыке в школе, предложила мне выучить и спеть на уроках песни Шуберта. Это были «Баркарола», «Мельник», «Шарманщик» и «Ворон». Я пела с упоени-

ем. Моему самолюбию льстило, что исполняла я эти песни не только в нашем классе, но и в других. Но этого было мало: попела – и интерес ко мне закончился. Тогда я объявила, что познакомилась с известной в то время певицей, солисткой Большого театра, и она, прослушав меня, предложила учиться у нее пению. Мне не верили, но я продолжала утверждать, что хожу к ней на уроки. Тогда они предложили спеть что-нибудь из того, что я учу. Я запела арию Татьяны, которую знала плохо. Девочки фыркнули и ушли, недослушав.

Случалось также не только фантастическое, но и прагматичное вранье маме, чтобы избежать неприятных объяснений в данный момент.

В четвертом классе

В четвертом классе нашей учительницей стала Елизавета Михайловна, маленькая живая женщина с темными глазами и растрепанными короткими пружинками волос. Поведением она резко отличалась от степенной и строгой Евгении Андреевны. Я уже ее немного знала, так как ходила на клубные вечера, где она читала вслух интересные книги.

Мы долго не догадывались, что Леля С., один из самых способных мальчиков нашего класса, ее сын. Вела она уроки живо, учиться было вполне интересно.

Однако на уроках математики у меня не все ладилось, трудно было с дробями. То ли я пропустила, то ли проболела тему «приведение к общему знаменателю», но она никак мне не давалась. Мне кажется, что я не смогла этого понять до самого конца учебного года. Мне поставили «удовлетворительно» (это теперешняя тройка) с условием, что летом я буду заниматься. Впервые мне стала не нравиться школа, и я охотно прогуливала, когда удавалось. Но я очень любила наши клубные дни. В эти дни мы могли приходить в школу и заниматься чем хотим – рисовали, лепили, делали какие-то поделки. Но самым моим любимым было, конечно, слушать чтение вслух.

Конец эпохи

Школа наша была маленькая. Предстоял переезд в большое четырехэтажное здание, стоящее на берегу Яузы, почти у впадения ее в Москву-реку. Мы ходили смотреть новую школу, учителя охотно показывали нам будущие кабинеты химии, физики, биологии.

Однако переезд в новую школу совпал с разгромом педологии, объявленной партийными идеологами буржуазной лженаукой. В нашей школе все началось с увольнения директора Дмитрия Ивановича Петрова, а затем школу покинули или были выдворены и другие учителя. Все они придерживались взглядов, развиваемых Выготским, Блонским и другими светилами педологии. Однако никакие попытки ее защиты не проходили. Шел тридцатый год, и террор был не внове для людей, даже самых лояльных к советской власти.

Придя осенью в школу, мы нашли ее опустевшей. Ни спектаклей Серпинского, ни клубных дней, ни творческой атмосферы, царившей раньше в нашей школе, – ничего не было. Исчезли из школы Сергей Владимирович, Николай Борисович. Очень хорошо помню, что вместо истории, изучение которой должно было начаться в пятом классе, появилось обществоведение. Нам дали тоненький учебник, где не было людей, личностей, царей, полководцев, а действовали массы. Классовая борьба, сменяющие друг друга общественно-экономические формации объясняли все исторические события. Все усугублялось тем, что учебник был написан канцелярским языком, и так же сухо, бесцветно, почти слово в слово повторял его нам наш новый историк Владимир Викторович Виноградов (В в кубе). Носил он что-то вроде френча, был худ, аскетичен, скучен и никогда не улыбался. Что-то припоминаю про восстание лионских ткачей, чартистское движение, что-то про французскую революцию, но совсем без истории.

Физику стала преподавать бесцветная шкрабиха (производное от ШКольный РАБотник). Так и не поняв, за-

чем нужно переводить вычисления из одной системы мер в другую, я бросила попытку понять что-либо в физике.

По счастью, у нас был хороший математик, и я ожила после дробей на легкой алгебре. Была, кажется, и неплохая химичка, и делать опыты было интересно, однако, когда дело доходило до трудностей, я их избегала.

Единственной, оставшейся из прекрасного прошлого, была Вера Андреевна, учительница музыки. Ее кабинет помещался под лестницей, в полуподвале. Там стояло старое пианино. Вера Андреевна старалась, насколько ей удавалось, учить нас петь и слушать музыку. Однако в те времена царил РАПП, и нам приходилось петь современные, «пролетарские» песни. До сих пор помню «Гремит, ломая скалы, ударный труд, Прорвался песней алой ударный труд. Буржуй стоит за рубежом, Грозит нам новым грабежом, Но уголь наш и сталь его зальют рекой, Зальют расплавленной рекой. Бей с плеча, Бей с плеча, Даешь программу Ильича. Даешь! Даешь! Даешь!» Но Вера Андреевна старалась привить нам вкус к хорошей музыке. В основном мы пели русские народные песни, романсы, арии и хоры из опер. Был и кружок пения – мы пели многоголосные хоры. А главное, она учила нас слушать музыку, объясняла форму музыкальных произведений. Когда мы были в шестом классе, она сыграла нам клавир Пятой симфонии Бетховена и показала темы – главную и побочную, объяснила, как они развиваются. Потом она купила нам билеты на эту симфонию в консерваторию. На галерку билеты стоили 20 копеек. Мы отправились в Большой зал консерватории. На стенах портреты композиторов, на сцене оркестр, невиданный нами прежде, и музыка, отчасти знакомая. Все вместе произвело громадное впечатление. С того времени я стала ходить на концерты в консерваторию, что определило и мою личную судьбу.

По приглашению Веры Андреевны мы один раз были у них дома. Где мог работать после разгрома Дмитрий Иванович, не знаю, но выглядел он похудевшим и постаревшим. Он старался с нами шутить и расспрашивал про школьную жизнь, которую мы описывали весьма саркас-

тически. Мне все казалось, что партия и советская власть должны разобраться в несправедливости. Но вскоре мы узнали, что Дмитрий Иванович умер.

Следует отметить, что время попыток реставрации дореволюционной гимназии еще не наступило. Наше поколение пережило еще несколько новаций, включая «Дальтон-план», так называемый бригадный метод. Последний нам нравился – задания сдавали единой бригадой.

Но что бы там ни происходило, мы по традиции ставили в школе спектакли. В какой-то пьесе из школьной жизни я играла мальчика – нарушителя дисциплины. Он, конечно, был наказан и исправился. Пьеса, кажется, называлась «Бузонада». Ребята радовались проделкам героя, и я наслаждалась успехом.

Великий Устюг

Пришло время вернуться к рассказу о папе. Итак, таинственный папа, однажды осыпавший меня в детстве подарками, теперь живет где-то на севере России. Я помнила его в ореоле снежной пыли конных саночек и хрустального блеска золотых канделябров. Со временем наша переписка перестала быть тайной. Закончилось это тем, что папа предложил мне приехать к нему летом. Все вокруг – мама, Зина, тетя Эся, подруги, соседи – волновались о моем будущем путешествии. Наступило лето. Куплен билет, послана телеграмма папе. Он должен встретить меня в Котласе. Мама сложила в какой-то разбитый чемоданчик пару новых платьиц и белье. В вагоне она поручила меня соседям, и я отправилась в первое самостоятельное путешествие.

В Котласе меня встретила, к моему разочарованию, папина новая жена Вера Ивановна. Она была вполне миловидной и скромной женщиной. Не слишком обрадованная ролью мачехи, она достойно исполняла долг. Мы сели на пароход и поплыли. Это первое путешествие по громадной реке произвело на меня неизгладимое впечатление. Тихо плывем под стук колес парохода. По берегам в

блеклом свете белой ночи тайга. Я стояла на палубе, хотя глаза слипались. Таинственный свет неба и воды. Солнце еле успело спрятаться, и в багровом сиянии вновь вернулось. Я была в странном состоянии сочетания восторга и тревоги. Но встречи с папой не помню.

Мне в то лето было хорошо и интересно. Предприятие, на котором работал папа, находилось в бывшем монастыре, высоко на горе, над Северной Двиной. В стенах монастыря были большие дворы, располагались разные здания. В том числе и небольшой деревянный домик, в котором жил папа.

Около домика был небольшой огородик и цветник. Папа всегда любил что-нибудь выращивать. Было немного овощей – морковка, репа, петрушка, укроп, но большую часть занимали цветы. Папа, как и я, любил яркие простые цветы. Помню ноготки, настурции, бархотки, анютины глазки (особенно нравилась мне фиолетовая грядка), астры. В доме у Веры Ивановны было уютно, чисто и тепло. С восхищением я взирала на занавески из сурового полотна с ромашками из белой тесьмы. Это было очень красиво и оригинально. Многое она привезла из Англии, где работала машинисткой вместе с папой. Уют и несуетливость быта в доме мне нравились. Но вместе с тем я и завидовала.

Вера Ивановна относилась ко мне лояльно, но любви ко мне не испытывала. Я, естественно, ершилась. Тем не менее она дала мне свой велосипед, и я после пары уроков с папой научилась на нем держаться. Я приволокла откуда-то ящик и, отталкиваясь от него, стала ездить. Это было большой радостью, хотя мне одной разрешали кататься только в пределах монастыря. Бывали воскресенья, когда мы отправлялись на велосипедную прогулку с папой. Тогда мы колесили по красивому старому городу и выезжали в окрестную тайгу.

Большое впечатление на меня произвела поездка в повозке в село Красавино. Папа ехал туда как коммунист, чтобы разъяснить статью Сталина «Головокружение от успехов». Раскулачивание и насильственная коллективи-

зация вызывали на фоне страха иногда подспудное, а в некоторых случаях и явное недовольство и волнения крестьян. Сталин сделал финт. В докладе на пленуме ЦК он разъяснил, что ретивые партийцы на местах загоняли в колхозы насильно, а на самом деле крестьянин должен вступать туда добровольно. Это было иезуитским ходом, но некоторые крестьяне поверили, вышли из колхоза, однако потом их задавили налогами, да и остались они без скота, так что пришлось возвращаться в колхоз или уезжать в города и на стройки. Всего этого я, конечно, тогда не понимала.

Я радовалась дороге, величию тайги, быстрому бегу нашей лошадки. Красавино оправдывало свое название. Нас поместили в большом пустом доме, вероятно, раскулаченного крестьянина. Папа пошел на собрание, и мы с В. И. тоже пошли. Папа явно волновался, видимо, хотел, но и боялся верить в искренность и действенность партийных и правительственных директив. В конце доклада он сказал: «Вы должны знать, что в колхозы вступать не обязательно». Раздались робкие хлопки. И тут поднялся большой могучий сибиряк, председатель колхоза, и произнес: «Вот здесь товарищ из Москвы объяснял, что в колхозы вступать не обязательно. – Он повысил голос. – Не обязательно, но же-ла-тель-но». Последнее слово он выговорил, стуча громадным кулаком по столу при каждом слоге. Я не понимала драматизма событий, но видела угрюмость папы. Переночевав, мы отправились домой. Всю дорогу обратно папа молчал.

Еще из воспоминаний этого путешествия. На меня производили большое впечатление окающий говор жителей, незнакомые интонации и незнакомые слова вроде «баской» – красивый, хороший. Я записывала слова и выражения в тетрадку.

Попыталась я нарисовать вид с Двины на наш монастырь. Его изображения, очень красивые, были на продававшихся на рынке серебряных браслетах. Мне очень хотелось иметь такой, но попросить я не смела, да и вряд ли В. И. купила бы.

Прекрасно было купаться в Двине. В воду ныряли с плота, от этого захватывало дух, меня предупреждали, что под плот может затянуть. Купаться с папой было весело. Я висела на нем, хохотала, плавала, ныряла. Папа тоже нырял и наслаждался отдыхом и веселым купанием со мной. В. И. не купалась, а сидела, нахохлившись, на берегу. Накупавшись, я подбежала к ней. Зубы у меня клацали, я дрожала. Она, помогая мне вытереться, обернула меня полотенцем, сняла трусики, в которых я купалась. «Знаешь, Флора, ты уже большая девочка. Смотри, у тебя уже появилась грудь, а ты купаешься без купальника и пристаешь к взрослым». Я была ошарашена и смущена. Так называемую грудь я еще не успела заметить. Это были малюсенькие твердые пуговки. Отношения наши с В. И. стали еще более прохладными. Настало время собираться в Москву. Сломанный чемоданчик В. И. выбросила. Он и правда не годился для пути обратно. В. И. купила мне лубяной сундучок, который мне очень нравился и долго служил мне верой и правдой.

Папа в Москве

Через год папа переехал в Москву. Они жили в доме Внешторга, в одной комнате. Вторую комнату в квартире занимала семья немецкого инженера. Отношения не складывались. Немец был, по-видимому, антисемит и, вероятно, нацист. Папа, знавший немецкий, говорил, что по ночам немец слушает «их» радио. Вскоре соседи вернулись в Германию.

В Москве и я, и Зина стали встречаться с папой регулярно. Папа интересовался моим чтением, покупал мне книги, слушал мои стихи и пьесу. Папа был добрым, но легкомысленным человеком, он плохо понимал реальность, когда не только с продуктами, но и с одеждой и обувью стало очень трудно. Все продавалось по карточкам и ордерам. Правда, существовали всякие распределители, где можно было купить так называемые промтовары. Всем этим, естественно, занималась Вера Ивановна. Моя

мама, зная папин характер, часто хитрила, чтобы принудить папу купить нам нужные вещи. Помню, как один раз, отправляя меня к папе в гости, мама заставила меня надеть рваные сандалии, в то время как у меня были туфли, в которых я ходила. Я чувствовала себя неловко. А мама в сердцах бросила: «Пусть папа тебе новые купит». И действительно, папа, увидав, во что я обута, повел меня в распределитель (он находился в Доме на набережной) и купил мне красивые сандалии и платье. Я все эти хитрости понимала, и были они мне не по нутру. Не говоря о кислой реакции Веры Ивановны.

Нас с Зиной очень огорчило, когда папа в приливе щедрости подарил приехавшему старому другу патефон с пластинками. В то время о патефоне можно было только мечтать, и человек с патефоном был желанным в любой компании. Именно тогда появились и советские пластинки Утесова, записи других популярных мелодий и песен. Под них танцевали на вечеринках.

Теперь я должна рассказать о том, что папа любил меня целовать и хотел, чтобы и я его целовала. Однако все эти целования никогда не происходили при В. И. Вообще я стала замечать, что их семейные отношения охладились, и она часто уезжала к сестре. Иногда я оставалась у них ночевать. Один раз осталась, когда В. И. не было дома. Папа в пижаме сел на диванчик, где я спала. Я была в рубашечке. Он ее с меня снял и начал целовать. Целовал и маленькие грудки, и тело, но не касался нижней половины. Я была ужасно смущена, пыталась уклоняться, но он мне говорил: «Ну что ты боишься папы!» Он перенес меня на свою постель, но я заплакала от страха, волнения и смущения, и он отнес меня обратно. Этот эпизод меня очень смутил. Я никому не могла рассказать о нем, но чувствовала, что это нехорошо, и стала избегать поездок к папе. Возможно, и он почувствовал опасность и рискованность своего поступка. В это время я уже ходила в театральную студию Дома пионеров к Серпинскому, начиналась любовь с Яшей, и мои отношения с папой стали менее нужными и доверительными.

Надо сказать, что поначалу папа к нам не заходил, затаил старую обиду на то, что мама добивалась алиментов через суд, но как-то раз зашел за Зиной перед театром и с того времени появлялся у нас. Позднее он, поехав на юг отдыхать, взял с собой не только Зину, но и маму. Но это было уже в последние годы его жизни. В 1936 году он тяжело заболел. В течение двух лет его переводили из больницы в больницу. Он страдал от страшных болей. Оказалась, что в спинном мозгу была опухоль. Тогда их еще не оперировали, и летом 1937 года отец умер.

Пятый класс. Татьяна Григорьевна

В пятом классе казалось, что кончилось все хорошее, – ушли любимые учителя, прекратились клубные дни, театр. В школе поселились серость и скука.

Единственное, что произошло хорошего в пятом классе, – к нам пришла Татьяна Григорьевна, новая учительница русского и литературы. И она стала нашим классным руководителем. Это была красивая молодая девушка, только что окончившая филологический факультет. Светлые пышные волосы, красивые серые глаза делали ее привлекательной, но что-то в ее облике и поведении предсказывало судьбу старой девы. Мы были первыми ее учениками и всю свою долгую жизнь она любила наш класс, дружила с нами, а после окончания школы собирала нас у себя в свой день рождения.

Я очень хорошо помню ее первый урок литературы. Она прочла нам из «Сорокоуста» Есенина о жеребенке, который пытается перегнать поезд:

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок...

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?

Есенина я не знала, и Татьяна Григорьевна рассказала нам все, что было нужно, – Есенин был певцом уходящей деревни и прочее. Но красота этих стихов запечатлелась и запомнилась навсегда. Кто-то мне дал Есенина, и «Анна Снегина» и его любовная лирика стали на время моими любимыми стихами. Я воображала себя той самой простой прекрасной девушкой, о которой мечтал Есенин. Хотя должна сказать, что меня очень смущали его стихи о пьянстве, хулиганстве и дебоширстве. Пьяных и неуправляемых я боялась сызмальства. Татьяна Григорьевна и далее старалась среди стихов Демьяна Бедного, Жарова и других советских поэтов читать нам и настоящую поэзию. От нее я впервые услышала стихи Блока. Конечно, она хотела привить нам любовь к классике.

У Милы дома не было Толстого и Тургенева. Мне кажется, может, я и ошибаюсь, что «Детство», «Отрочество» и «Юность» были у нас в программе. На меня эта трилогия произвела большое впечатление. Очень многие переживания Николеньки, при всем различии наших характеров и положения, я ощущала как свои. Вся история именин, где Николенька, зарвавшись и завравшись, действует по принципу «семь бед – один ответ», была психологически мне абсолютно близка. Так же, как и его метания в отрочестве. Потом я прочла «Войну и мир». С философией было трудно разобраться, тем более насчет Бога, масонов. Конечно, основной интерес вызывали дети Ростовых – Наташа, Николай, судьба Пьера, Болконских. Но в те времена я, читая книгу, не пропускала страниц, и что-то оставалось и о Каратаеве, и о смерти, и о чувствах Болконского на поле боя в Аустерлице, и о гибели Пети, совсем еще мальчика, и роды, и смерть маленькой княгини, и,

конечно, смерть князя Андрея. Очень разочаровала меня метаморфоза, произошедшая в Наташе. Как из этой одухотворенной девочки развилась такая самка?

Надо сказать, что Татьяне Григорьевне я как личность, вероятно, не нравилась. Мой протест, мое отстаивание чего-то, мой начинавшийся роман с Яшей, моя ершистость, невоспитанность, все мое поведение были ей чужды. Однако она была ко мне справедлива, ценила мою любовь к поэзии и нередко читала вслух мои сочинения.

Следует отметить, что Т. Г. была немного ханжой, а может быть, просто стеснительной. Думаю, что ее стародевичество не было случайным. В шестом классе мы проходили «Горе от ума». Я знала эту комедию наизусть. Когда Т. Г. читала нам эту пьесу вслух, разъясняя по ходу историю и быт тех времен, то пропустила реплику Чацкого. В ответ на молчалинское «мы покровительство находим, где не метим» Чацкий говорит: «Я езжу к женщинам, но только не за этим». Надо сказать, что если бы она не пропустила эту фразу, мы бы на нее не обратили внимания. Мало ли зачем можно ездить к женщинам! Может, пообщаться. Но, когда она пропустила, я, конечно, сразу поняла, зачем он ездит к женщинам, и немедленно поделилась с подружками.

К этому времени я стала довольно нагло экспериментировать. Когда мы дошли по программе до романа Чернышевского «Что делать?», не знаю почему, но мне он активно не понравился. Вплоть до того, что я его не прочла. Не прочла, но сочинение написала, используя какие-то литературоведческие брошюры или даже рассказы самой Т. Г. И цитаты привела. И «отлично» получила. И поняла, что если хочешь, то можно легко халтурить. Хотела так же поступить и с Обломовым, но роман меня увлек, и я прочла его с удовольствием.

Самоощущение

Пожалуй, здесь самое время сказать о моем самоощущении. Все детство и отрочество я постоянно чувствовала

себя несправедливо недооцененной. Я ощущала себя умной, способной, с нераскрытыми дарованиями в самых разных областях. Я была сообразительна, обладала хорошей памятью, особенно на стихи, писала стихи и пьесы, была гибкой, ловкой, хорошо танцевала, пела и обладала актерскими способностями. Более того, понимая, что я не красавица, тем не менее, глядя в зеркало, находила, что в моей внешности есть что-то особенное, лица необщее выражение, а это важнее красоты, и посему я бы не поменялась внешностью ни с кем. Однако все мои замечательные качества не были достойно оценены. Не знаю почему, но мною очень долго владела идея, что эта несправедливость будет исправлена, когда я вырасту. Это очень странно, я достаточно видела и осознавала несправедливости взрослых, я читала много книг, но почему-то думала: вырасту, и все будет иначе. Короче, что будет «высший суд».

Странным образом с ощущением счастья на меня находили приступы грусти, задумчивости. Даже подавленности. Я не помню мыслей о смерти, мне казалось, что я бессмертна, то есть я просто не представляла мир без себя, и себя без мира, но беспокоила бесконечность. Ну, если ее представить в виде длинного, бесконечного коридора... Но ведь он где-то кончится. И после этого тупика что-то должно же продолжаться? И что это такое бесконечная вселенная? Еще созвездия как-то принимались, движение светил было закономерным, но Млечный путь меня уже беспокоил. Бесконечность, безмерность вселенной лишала радости и уюта в столь любимом мною мире природы, солнца, леса. Я вглядывалась в полотно зеркала, и там плыли облака. Куда? Иногда я так пристально вглядывалась в даль зазеркалья, что мне становилось не по себе, и я в смятении и непонятном страхе бросала это занятие.

Еще странности моей психической жизни проявлялись в сумерки. Какое-то таинственное, пугающее и угрожающее пространство грезилось за серыми осенними сумерками. Может быть, это состояние было продолжением моих более ранних детских страхов? Если я была одна, то сразу зажигала свет, и наваждение проходило. Но если я

была с Милой и Илюшей или с кем-нибудь из них, когда мы читали вместе стихи, вдруг возникало какое-то особое состояние окружающей среды, чувство какой-то особой, не телесной близости, какой-то слитности наших неясных образов – пугающее и влекущее.

Хотя мы не прикасались друг к другу, казалось, соединены именно размытостью контуров каждого. Это ощущение слиянности в нереальности меня очень волновало, беспокоило необъяснимостью именно потому, что вообще-то я была девочкой, живущей в реальном мире, вне религии, вне мистики. (Пожалуй, единственным прикосновением к мистике была «Синяя птица» Метерлинка в Художественном театре.) И вот однажды у Николая Борисовича Гофмана я нашла стихи Иннокентия Анненского и прочла:

Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле иная среда,
Где живем мы совсем по-другому?

С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.

Эти стихи соответствуют значительной части моих ощущений, его пугающую часть я описать не умею.

1929–1930-е годы

В конце двадцатых годов стало худо с едой, появились очереди, карточки, и хотя настоящего голода в нашей семье не было, но скудость ощущалась. По-прежнему я могла читать, съедая хлеб со слипшимися конфетами-подушечками, но у меня начался фурункулез – все туловище было в гнойниках. Только вскрывался один, появлялся другой. Мама чем-то мазала их, бинтовала и поила меня пивными дрожжами, но я их ненавидела. Возникала

ужасная боль, когда снимали бинты. Я плакала, была раздражена. Наконец мама повела меня к «частному» врачу – хирургу. Он прописал какой-то состав с йодом и велел прижигать им, как только появляется фурункул, а не при его расцвете. Эта тактика, а может быть, и весна привели постепенно к уменьшению, а затем и исчезновению фурункулов. Хотя шрамы от них сохранялись у меня очень долго.

Я помню невероятное чувство благодарности и восхищения этим врачом. Помню и мысль – хорошо быть врачом и помогать страдающим людям. Однако долго эти настроения не длились – я не любила больных, я любила здоровых, веселых, а без этого врачом быть нельзя.

В этот же период болезни произошло следующее. Один раз, открыв на звонок дверь, я увидела на темной лестнице женщину, плотно обвязанную большим серым платком. Рядом стояли двое детей. Она слабым голосом попросила что-нибудь поесть. Я бросилась в комнату, схватила весь хлеб, подушечки, какую-то крупу в мешочке и отдала ей. Она сказала, что она с Украины, что у них голод, все умирают, а ей каким-то образом удалось добраться до Москвы, и она может кормить детей только на милостыню. Они ушли, а я, оставшись, была очень удручена. Вечером рассказала все маме и стала ее расспрашивать. Я знала, что Украина богатая страна, почему же там голод. Мама не ругала меня, но напомнила, что и у нас еды мало.

Надо сказать, мама умела приспосабливаться к трудностям жизни. В Москве в то время жила американская семья Мандели. В семье было два сына-подростка. Мама знала их мать Белу еще в Америке. Та с трудом привыкала к жизни в СССР. Мама стала помогать ей по хозяйству – с покупками и готовкой. Сам Мандель работал по договору инженером, и они покупали продукты в открывшемся тогда «Торгсине», за валюту. Благодаря этому и нам кое-что перепадало. С мальчиками я дружила, и бывать в теплом и сытном доме мне очень нравилось. Однако какое-то ощущение, что мы приживалы, было. Мальчи-

ки хотели вступить в пионеры, а потом и в комсомол, и Бела очень беспокоилась, что они, увлеченные советской пропагандой, захотят остаться в СССР. Возвращаясь в Штаты, Мандели оставили нам кое-что из мебели и посуды, но жить становилось все трудней. По приезде Бела рассказала нашим родным в Америке об истинном положении, и мамины сестры стали понемногу присылать деньги, так что мы смогли кое-что покупать в «Торгсине». К Новому году мама купила мне голубую шерстяную кофточку, которая много лет была моей нарядной одеждой.

Пионерская жизнь

Пионерами мы стали, кажется, еще в третьем классе. Мы заучили «Торжественное обещание»: «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...». Принимали нас в районном Доме пионеров, нам надели галстуки и нацепили значки. Мы исполнили пионерский гимн: «Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы пионеры, дети рабочих. Прочь испытания прошлых годов, Клич пионеров – всегда будь готов!». Потом были какие-то собрания отряда и звеньев, проходили какие-то мероприятия – собирали металлолом, макулатуру. Помню скуку на собраниях. Скуку эту прервал Всесоюзный слет пионеров.

Не помню, как я туда попала. Было это на стадионе «Динамо». Стадион забит пионерами. Белые рубашки, красные галстуки. Чувство торжественности и праздника. Кто-то говорит с трибуны. Играет духовой оркестр. Песни. Волнующее известие – приедет главный пионер Германии. Чем он знаменит, не помню, но его приезд овеян героизмом. Звали его Гарри. Он выступает, и все встают, кричат «ура». Вдруг объявляют, что на съезд приехал Маяковский. Он стоит на трибуне и даже издалека кажется большим. Он читает «Левый марш», и мы все подхватываем: «Кто там шагает правой, Левой, левой, левой!». Чувство подъема и солидарности.

Спорт

Бег. Гимнастика. Все это у меня хорошо получалось, и я часто оказывалась победительницей в соревнованиях. Любила и баскетбол. Тогда еще рост в этой игре не был решающим, а мяч я закидывала в корзину метко. Все мы в то время чего-то достигали. Сдавали на значок ГТО – «Готов к труду и обороне», первой и второй степени. Надо было пробежать, проплыть, перепрыгнуть и попасть в цель. Все это нравилось.

Одну ужасную обиду помню по сию пору. Я была неизменным победителем в беге на средние дистанции – 500 и 800 метров. На районных соревнованиях я быстрее всех пробежала в забеге на 500 метров, но оказалось, что был фальш-старт. Решили повторить забег. Но на втором забеге я была слишком перевозбуждена и проиграла. Заветный приз вручили на пьедестале почета другой девочке. От обиды и несправедливости я ревела.

Еще мы ходили в тир стрелять. Стреляла я неплохо, и нас с Милой выделили на районные соревнования сдавать нормы на «Ворошиловского стрелка». Мы ходили на тренировки. Кого-то я даже инструктировала. Стреляли лежа. Мой подопечный ткнул дулом мелкокалиберной винтовки в землю, и я решила дуло почистить. Неожиданно мальчишка нажал на курок и прострелил мне палец. Это было ЧП, но наши инструкторы решили дело замять. Так и остался у меня на всю жизнь искореженный ноготь на большом пальце.

Не знаю, к какому роду занятий относилась так называемая «Синяя блуза». Несколько мальчиков и девочек, держась друг за друга в ряд, совершали немудреные полуспортивные упражнения, сопровождаемые декламацией злободневных стихов. Помню какие-то дурацкие строчки: «Мы синеблузники, мы профсоюзники, Куем мы счастия ключи...» – и что-то еще вроде «И все должны мы, Неудержимо Идти в последний смертный бой». Мы, держа друг друга за локти, двигали ими, подобно шатунам паровозных колес. Кажется, в эти выступления входил и лю-

бимый в то время танец «Яблочко», но может быть, я путаю и «Яблочко», танец моряков, входил в программу наших вечеров отдельно. Иногда эти выступления заканчивались так называемыми пирамидами, в которых мы, вставая на плечи друг другу, составляли на счет «три» какую-то фигуру.

Еще одним увлечением, уже в пятом-шестом классах, был парашют – не настоящий, а прыжки с вышки на парашюте в Парке культуры и отдыха. Прыжок требовал некоторой отваги, немногие из моих подружек решались. Земля была хорошо видна, и прыгать предстояло в бездну. Мне эти ощущения страха и отваги в полете очень нравились, но искать путь в настоящий спорт я не стала. У меня никогда не хватало упорства тренироваться, разучивать упражнение. Что получалось, то и хорошо. Обычно вначале я вызывала у тренеров надежды, но, натолкнувшись на трудности, отступала – мешала инерция. Так я помечтала и о полетах в учебной авиации. В те времена расцветал «Осоавиахим», я даже сунулась туда, но, не найдя нужного человека, отступила. Так было и с плаванием. Я неплохо плавала брассом, но не научилась плавать кролем. Прыгала неплохо с вышки в бассейне, но не продвинулась и в этом. Надо, конечно, сказать, что в те времена никто не искал талантов в спорте: нас приводили в бассейн, и мы там бултыхались, а обучения правильной технике не было.

В Ясной Поляне

После пятого класса мы поехали в пионерлагерь в Ясную Поляну. То, что мы ехали на родину Толстого, нас волновало. Я представляла себе имение Толстого по описанию дома старого Болконского в «Войне и мире». Ехали мы на поезде довольно долго, от станции шли пешком. Разместили нас в двухэтажной школе, выстроенной на месте яснополянской школы, в которой учил еще сам Толстой. Конечно, нас повели в Дом-музей Толстого. Оказалось, что те самые ворота, которые были описаны

в романе, все еще существуют. Странное было ощущение сочетания литературы и жизни.

Шел 1931 год. Дом Толстого, по-видимому, давно не ремонтировали, и он сохранялся трудами немногих служащих музея. Однако после революции прошло не так много времени, жив был еще последний кучер Толстых и кто-то из прислуги. Они работали в музее. Тогда там не было толп экскурсантов, и все выглядело довольно патриархально. Кто-то из сотрудников музея провел нас по дому, интересно рассказал о жизни в этом доме. Поразил кабинет, довольно маленький и темный, в котором Толстой работал. Тут же лежали инструменты и колодка для тачания сапог. В сарае висела коса Толстого. Поразили нас черновики Толстого, его гигантский труд, а также труд его дочерей и жены, переписывавших все его рукописи по нескольку раз. Все это будило воображение. Я опять перечла трилогию о детстве, отрочестве и юности.

Помню встречу с одной старой женщиной, которая жила в деревне. Она училась у Толстого в школе и вполне заученно рассказывала о жизни в школе, об отношении Толстого с крестьянами. О Софье Андреевне отозвалась недоброжелательно: «Он хотел землю раздать крестьянам, а она не соглашалась». Какая-то фальшь чувствовалась в ее рассказах. Возможно, она чего-то опасалась. В деревне шла другая жизнь, разворачивалась коллективизация.

Мы часто гуляли в окрестностях усадьбы и в саду. Помню, что воровали там незрелые еще, но очень вкусные яблоки. Хотя очень боялись: говорили, что сторож стреляет солью.

Незадолго до отъезда я решила еще раз пойти в дом Толстого одна. Никого в вестибюле не оказалось, и я свободно прошла на второй этаж. Зашла в гостиную и остановилась: что-то было незнакомое в расположении мебели. Почему-то стояла ширма. И вдруг за ширмой я услышала шорох и покашливание. Шелестела газета. Я замерла в испуге. Из-за ширмы вышел старый человек с толстовской бородой, одетый, как и он, в белую холстяную рубаху. Он был похож на Толстого, но не совсем. Он ласково

спросил меня, зачем я пришла. Я сказала, что мы уезжаем и хотелось еще раз посмотреть музей. Это оказался сын Льва Николаевича, Сергей Львович. Он приехал на некоторое время и вполне патриархально жил в отцовском доме. Сергей Львович поговорил со мной и показал какую-то свою книжку, кажется, сказки. Встреча эта меня поразила – я воочию увидела сына Толстого! Оказывается, вся эта совершенно иная жизнь была не так давно!

Еще одно воспоминание ярко светит мне и по сию пору. Мы уезжаем, идем на станцию, и я оглядываюсь. На повороте дороги стоит одинокая береза. Мы идем дальше, а я все вглядываюсь в нее, желая запомнить, и кажется, будто дерево это что-то говорит мне. И вроде бы я смогу что-то понять, если еще взгляну, но мы идем дальше, дорога поворачивает, и дерево исчезает. Эту березу и еще, может быть, несколько других деревьев я запомнила навсегда.

Наташа Ш.

Еще помню яснополянским летом возникла дружба с Наташей Ш. Эта девочка, самая умная в нашем классе, тоже была страстной читательницей. Я любила ходить к ней. Помню, как в их по тем временам большой квартире сидит она на полу, а на незастеленной кровати – книга. Бабушка негодует. А Наташа продолжает читать.

Жили они во дворе туберкулезного диспансера, которым заведовал Наташин отец. Парк санатория спускался к Яузскому бульвару. Туда ходить не разрешали, там лежали больные с открытой легочной формой туберкулеза. Но мы, конечно, ходили. Там даже росли ландыши! В Ясной Поляне мы подружились с Наташей на почве книг – мы говорили и говорили о прочитанном, и настороженность моя таяла.

Вообще я постоянно чувствовала, что меня не принимают в некий круг избранных девочек, и от этого становилась все ершистее, всячески показывала, что не очень-то в их дружбе нуждаюсь. На самом деле я очень хотела дру-

жить с Наташей. Ее мама ко мне относилась неплохо, не обращая внимания на неблагожелательное мнение обо мне других мам.

Однажды, когда мы встретились совсем взрослыми, Наташа спросила: «А почему ты не хотела дружить со мной? Мне с тобой было так интересно». Ах, как жаль, что дружба эта не состоялась!

Мила Б. и погружение в стихи

В ранние годы близкой моей подругой была Мила М. О ней и ее семье я писала раньше. Без лишних сантиментов Милина мама помогала мне во всем, а главное, была основным поставщиком книг. Однако во второй ступени школы наша дружба с Милой как-то незаметно ослабела. Она любила только детские книги и была равнодушна к поэзии, а я все больше тянулась к интересным, начитанным девочкам.

В шестом классе я сблизилась с Милой Б. Она была черноглазой, смуглой, несколько сутуловатой, плотной и не любила спорт. Но зато она страстно любила книги, стихи и театр. Мы садились с ней на заднюю парту и принимались шелестеть страницами сборников стихов. Пришло время Маяковского. Мы были им потрясены. Я знала наизусть и «Облако в штанах», и «Флейту-позвоночник», и другие его ранние произведения. Его бунт как-то соответствовал возникшему к этому времени в моей душе протесту. Маяковский привел к Хлебникову. Где-то мы достали серые томики с его автографом на обложке и пытались вникнуть в эту поэтическую заумь. Ну конечно, такие стихи, как «О, засмейтесь, смехачи», и некоторые другие мы тоже знали наизусть. К седьмому классу дошли и до Пастернака. Разгадывать его сложные стихи было захватывающе интересно. Его поэзия живет со мной до сих пор.

В те времена не попались нам ни Мандельштам, ни Цветаева, хотя я прочитала стихотворение Цветаевой «Попытка ревности» и была потрясена ее страстностью.

Помню, я держала в руках сборник Мандельштама «Камень», но тогда мы не поняли его стихов. Вообще и проза и стихи – все было в большой мере случайно. Даже в библиотеке я не искала что-либо целенаправленно, а поддавалась воле случая.

Что я ценила в Миле и даже немного переняла – это ее умение работать и учиться. Так было и в театральной студии: она не обладала ни особыми актерскими способностями, ни яркой внешностью, но постоянно трудилась, репетировала и добивалась успеха, особенно в характерных ролях. Мила очень любила театр, и мы много посмотрели с ней спектаклей в разных театрах.

И еще одно воспоминание относится к Миле. В младших классах она очень любила рассказывать страшные истории про вурдалаков, утопленников и прочую нечисть. Я уже писала, что я в детстве была обуяна страхами, боялась оставаться одна, не могла заснуть по ночам. Когда мы подружились с Милой, я призналась ей в моих страхах и просила не рассказывать в лагере, куда мы собирались, страшные сказки и истории.

Накануне отъезда в лагерь Мила пришла ко мне переночевать, чтобы завтра вместе ехать в лагерь. Мама положила нас в одну постель. Неожиданно Мила стала меня страстно целовать, обнимать, ласкать. Почему-то эти страстные ласки меня смущали и тревожили. Я не помню никакого возбуждения, думаю, потому, что все чувственное у меня было связано с мужским полом, но какое-то смущение я помню очень четко. В Миле ощущалась чувственность, вероятно, ее ласки тоже были проявлением ее скорее всего неосознанного влечения. Я замечала ее страстные взгляды. Ее любовь ко мне сопровождалась ужасной ревностью. Помню, что смущали меня и усики над ее губой.

И все-таки хочу еще раз подчеркнуть, что Мила хорошо училась, была трудолюбива и аккуратна, и ее влияние на меня было благотворным – я стала иногда учить уроки, а моя любовь к природе вылилась в большой интерес к биологии.

Случай на Земляном Валу

В течение долгого времени эта уличная сцена, так меня потрясшая в отроческие годы, держалась в моей памяти, в моем сердце. Но только сейчас, когда я стала писать, я вспоминаю это событие без потрясения, хотя по-прежнему помню его во всех подробностях.

После развала нашей школы мы искали место, где бы могли заниматься театром. И вот узнали о существовании драмкружка где-то на Таганке и отправились с Милой туда. Там нам не понравилось: читали вслух какую-то занудную пьесу про пионеров, а мы привыкли к зажигательной импровизации, этюдам, веселью репетиции. Чтение затянулось. Мы побаивались района Таганки, с детства мы знали, что там Таганская тюрьма, из которой могут сбежать преступники.

Мы торопились домой, в невеселом настроении, когда перед нами появилась молодая женщина, тянущая за руку маленькую девочку. И вдруг она возбужденно вскрикивает: «Вот он!» А навстречу идет мужчина под руку с женщиной. Мы видим, как он остановился в растерянности, сбросил руку спутницы, а потом как-то нелепо всплеснул руками и замер. Женщина с ребенком бегом приблизилась к нему и с размаху ударила по лицу. «Подлец!» И плачет навзрыд. Мужчина растерянно лепечет: «Ну, что ты. Ну, не надо». Спутница исчезает. Собираются люди. Конечно, нам понятна ситуация, но видеть этот взрыв ярости женщины, страх и растерянность мужчины, это общее несчастье – для нас с Милой потрясение. И хотя мы переживали обе, мне кажется, что потрясение до глубины души, которое испытала я, было вызвано ситуацией в нашей семье. Мама никогда не говорила о причине развода с папой.

К этому периоду относится моя находка в старых вещах писем, написанных по правилам орфографии. Это были письма о глубокой любовной драме, о попытке самоубийства. Я, конечно, опасалась, что мама застанет меня за чтением этих писем, но никаких идей о непозволитель-

ности чтения чужих писем у меня не возникало. Я думала, что это ее давние письма, и собиралась перечесть их позже, разобраться. Однако, когда я решилась приступить к этому занятию, их не оказалось. Оба эти впечатления, по-видимому, как-то связаны между собой. И потому так глубоко запечатлелись. Я думаю, что мамина несчастливая семейная жизнь отразилась на ее отношении ко мне: она постоянно страшилась, что я пойду по так называемой худой дороге, опасалась моей дружбы с мальчиками.

Любовь к биологии

Я всегда любила растения, цветы, деревья, при любой возможности стремилась в лес, в поле. Любила я и животных, но у нас никогда не было ни собаки, ни кошки. Однако книги о животных и их судьбах меня очень трогали. Это были Сетон-Томпсон, с детских лет трогали до слез «Каштанка» и «Белый пудель». Но одной из самых любимых моих книг была «Песнь о Гайавате». Эту книгу подарил папа. Меня глубоко волновала и притягивала жизнь индейцев в природе. Я и до сих пор помню многие строки этой замечательной книги. Мне очень нравились рисунки оружия, предметов обихода в этой книге. Конечно, тогда я не интересовалась тем, что перевел ее Бунин. Не знаю, куда она делась...

Наша учительница биологии была неплохой, но, кажется, замученной семьей и бедностью. А вот если мы сами проявляли интерес, она его поддерживала. Что-то пытались мы с ней сажать в небольшом школьном дворе, но без успеха. Помню, что меня заинтересовала генетика. Показались замечательными законы Менделя. Мы посадили горох с двумя разными признаками и собирались проверить, как эти признаки будут наследоваться. Но тут наступили каникулы, и все завяло, а моего интереса к генетике было явно маловато. Однако мое решение стать биологом бесспорно было вызвано книгой Поля де Крюи «Охотники за микробами». Я не перечитывала ее, когда выросла, но в то время она стала моей постоянной спутни-

цей. Никаких сомнений – я тоже стану как Пастер, Кох, Мечников, я тоже стану микробиологом и буду бороться с опасными болезнями, если потребуется, буду ставить опыты на себе. Вторая его книга (названия не помню) была менее увлекательной, но поддержала мою романтическую мечту. Я поступлю на биофак МГУ! Я стала регулярно читать прекрасный журнал «Природа» и научно-популярные книги по биологии. Читала и самого Дарвина – что-то об эволюции и о его путешествии на «Бигле». Читала «Жизнь растений» К.А.Тимирязева и «Этюды оптимизма» И.И.Мечникова. И все-таки стихи и литература меня влекли больше. Однако я почему-то ясно понимала, что это не мое призвание. Я писала стихи, но я слишком любила Пушкина, Маяковского, Пастернака, чтобы не понимать, что для поэзии нужен талант.

Театральная студия. Сергей Владимирович Серпинский

Однажды, учась в шестом классе, мы узнали, что Сергей Владимирович Серпинский организовал театральную студию при Доме пионеров. После разгрома нашей школы мы находились в культурном вакууме. Конечно, Татьяна Григорьевна просвещала нас в области литературы, но в тот год она уехала работать в Монголию, оставив нас в полной пустоте. Поэтому несколько ребят из школы, зараженных желанием играть, пошли в Дом пионеров.

Занятия в студии полностью меня захватили. Мы не только разыгрывали этюды на заданную тему или придумывали их сами, но и ставили сцены из Мольера, кажется, сцены с врачами из «Мнимого больного». Под влиянием конструктивистских идей Мейерхольда Сергей Владимирович заказал фанерные кубы разной величины, которые изображали все необходимые в спектакле декорации. Мы поставили пьесу, посвященную Парижской коммуне. Она родилась из наших этюдов, постепенно выросших в целый спектакль. Конечно, интрига развивалась в духе тех времен. Там были и Гаврош, и Козетта

(влияние Гюго), была храбрая девушка-коммунарка Марион и ее возлюбленный солдат (ее героизм и его предательство). Марион играла Рая, очень красивая девочка. Я была счастлива ролью Гавроша. Никаких серьезных девичьих примет у меня не обнаруживалось, и я с восторгом вернулась к роли задорного героического мальчика. Баррикады были из кубов. И комната в мансарде. Были и французские песенки – бержереты. По ходу спектакля я исполняла их за сценой. «Зачем к колодцу ты ходила, скажи Марион, и с кем-то долго говорила». Эта песенка и являлась ключевой в предательстве. Спектакль был романтичен и революционен, мы играли его много раз с большим успехом. Я была счастлива.

А затем С. В. задумал нечто грандиозное. Поставить «Евгения Онегина» как живой теневой театр. Тени (артисты) двигались, отраженные на большом экране, стоявшем перед сценой. Яркий свет освещал действующих лиц сзади. На экране мы играли сцены – живые картинки, как бы иллюстрируя читаемые на просцениуме строфы из «Евгения Онегина». Это было очень выразительно. Тени двигались вдоль сцены, увеличивались, уменьшались, расплывались в зависимости от положения по отношению к источнику света. Кружились в танцах. Картинки эти напоминали черно-белые силуэты иллюстрации Н.В.Кузьмина.

Особенно выразителен был Онегин – красивый стройный мальчик, с которым я очень любила танцевать. Уж очень хорошо он смотрелся в коляске, запряженной лошадью. Весь реквизит мы вырезали из картона. Удались сцены бала, дуэли, в саду Лариных. Помню, что в картинах, относящихся к юности Онегина, я изображала Истомину!

Надо сказать, что Сергей Владимирович выбрал для спектакля не самые известные отрывки. Начало – детство и юность Евгения. Потом описание его характера и времяпрепровождение дворянской молодежи в Петербурге. Деревня – дом Лариных, сатирические описания деревенской жизни, портретов соседей. Однако сцена дуэли была

особенно выразительной в теневом виде. Надо сказать, что на роли Онегина и Ленского были очень удачно подобраны мальчики, в теневом варианте отчетливо высвечивались детали их костюмов. Онегин «вырастал» и убивал уменьшавшегося Ленского. Это подчеркивало безнравственность Онегина.

Особенно большую роль играла музыка в нашей постановке «Евгения Онегина». Здесь надо сказать о сестре Сергея Владимировича Наталье Владимировне Бонди. Она была пианисткой и вместе с С. В. подбирала музыку к нашим спектаклям. Внешне они с С. В. были похожи. В заключительном этапе работы над спектаклем принял участие муж Н. В., пушкинист Сергей Михайлович Бонди. О нем я еще напишу. Наш теневой «Евгений Онегин» мы играли несколько раз.

Однако жизнь моя в студии складывалась не очень удачно, что и привело к уходу из нее. Вначале и я, и С. В., памятуя о моих детских театральных успехах, были уверены, что я и дальше буду играть талантливо, но после некоторого успеха Гавроша нам обоим стало ясно: детская непосредственность ушла. Я превратилась в напряженного подростка, мучимого ужасной смесью самомнения и самоуничижения. Я была закомплексованная, некрасивая, но с грузом бывшей славы. Иногда в этюдах прежняя непосредственность проглядывала, но чаще речь моя звучала натужно, неестественно. Да и картавость мешала мне публично читать стихи. Короче, через какое-то время я осознала, что мне в студии ничего не светит. Смириться с этим было нелегко. К тому же я не могла не видеть одаренности некоторых других ребят. Помню жгучую зависть и ревность к успеху двух по-разному способных девочек. Одна, Рая, живая, кокетливая, прекрасно двигалась и танцевала, хорошо читала онегинские строфы. Другая, Тамара, была хороша истинно русской красотой и обладала глубоким голосом, удивительно естественно вела себя на сцене. Я признавала их одаренность и завидовала. В самый последний год моего пребывания в студии к нам пришел очень одаренный мальчик, ставший впоследствии из-

вестным артистом. Его талант был столь очевиден, что мое решение уйти из студии стало окончательным.

Был у меня короткий период участия в школе танца Алексеевой. Из многих пришедших на конкурс приняли только меня. Я была гибка и пластична. Однажды я даже участвовала в выступлении в Колонном зале Дома союзов. Однако обучение танцевальным па, ежедневный труд у балетного станка мне не нравились. Так что и оттуда я тоже сбежала. Бродить по Москве, болтать с Милой и Илюшей, читать стихи, моя первая любовь – вот что меня увлекало.

Сергей Михайлович Бонди

Сергей Михайлович, как я уже писала, появился в студии, когда мы ставили «Евгения Онегина». В тот период Пушкин был «наше все»: мы непрерывно читали его стихи, много говорили о нем и о его друзьях-поэтах – о Баратынском, Дельвиге, Рылееве, Вяземском, Кюхельбекере. Витала тема декабристов. Часто во время репетиций или после С. М. и С. В. беседовали с нами: читали стихи, рассказывали о событиях из жизни Пушкина и его современников. Конечно, декабристы были герои, а царь – подлец. Идея «декабристы, не будите Герцена» показалась бы нам тогда кощунственной. Что поражало в С. М. – ощущение его сопричастности к той эпохе.

Среди прочитанного мною в студийные времена были Белинский, Добролюбов, прочла я тогда и Писарева. Его едкая ирония ниспровергателя заразила меня. Однако что-то мешало принять его точку зрения полностью. И однажды я решилась позвонить С. М. по телефону, спросить, чем же Онегин выше презираемого им общества. Мягкий голос С. М.: «Я думаю, что, несмотря на многие отрицательные его черты, он все-таки выше. Вспомните его ум, образованность, скуку от пустого света. И как он уезжал, чтобы не общаться с соседями. И книги, которые он читал. И еще – он оценил Татьяну и рассказал ей о себе искренне и жестко. И, может быть, глав-

ное – «Ярем он барщины старинной Оброком легким заменил; И раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, Увидев в этом страшный вред, Его расчетливый сосед, Предвидев в этом много бед»». Я возражала: «А дуэль? Убийство друга?» – «Да, здесь он оказался «мячиком предрассуждений», а «не мужем с сердцем и умом». Но надо, Флора, понимать то время. Тогда кодекс чести, в который входила дуэль, был главным у дворянина. Сам Пушкин в молодые годы много раз стрелялся на дуэли. И часто по ничтожному поводу». И вдруг он предложил: «А не хочешь ли послушать лекцию? Я как раз об этом читаю студентам». Я пошла и сразу «прикипела». Ходила несколько раз, когда могла. Даже подумала: «Вот счастливые эти студенты – учиться им так интересно».

Сумею ли передать, чем меня одарили на всю жизнь С.В.Серпинский и С.М.Бонди? О С. М. хочу написать еще. И до него я читала и любила Пушкина, но не задумывалась, как из романтического поэта, ученика Байрона, вырос он. Конечно, и «Кавказский пленник», и «Анджело», и, особенно, «Цыгане» пленяли своим романтизмом, страстной любовью к свободе. Все эти разочарованные, иногда мрачные герои пугали, но и пленяли. Но как же «Свободы сеятель пустынный» с его «паситесь, мирные народы», которым нужны «ярмо с гремушками да бич»? Как было понять пережитый поэтом кризис, совпавший, а может быть, ускоренный ссылкой в Кишинев и Одессу? А позже из-за его непокорства, дерзостных эпиграмм, дуэлей и отчаянного поведения все кончилось ссылкой в Михайловское.

А там еще хуже – почти смертельная ссора с отцом, подозрения, что отец тайно надзирает за ним. Наконец, одиночество, с одной только Ариной Родионовной. Дошло до попыток самоубийства. Но спас его Гений стихотворства. В этом одиночестве связь с друзьями поддерживалась только перепиской. Существенным оказалось общение с крестьянами, погружение в их жизнь, народные обряды, песни, сказки. Что-то новое зрело в поэте, и родилась «Деревня», а главное – продолжение «Евгения Онегина»,

«Борис Годунов», «Капитанская дочка». Все эти мысли возникли под влиянием С. М.

Дело шло к пушкинскому юбилею. Столетие со дня гибели. Год, вероятно, был 1935 или 1936-й. Власти решили сделать Пушкина «своим». Литературоведами и пушкинистами было подготовлено юбилейное издание сочинений Пушкина. С. М. часто работал с рукописями поэта. Не знаю почему, но архив Пушкина (или часть его) хранился в тогдашнем Музее Горького на улице Воровского. И вот один раз С. М. взял меня туда с собой. Мы поднялись по громадной лестнице, С. М. получил у хранителя рукопись и открыл ее осторожными пальцами. Это был отрывок из «Цыган».

Все в музее вызывало трепет – рукописи, книги, анфилада комнат. Я, воспитанная в коммуналке, не могла представить, как такой громадный дом занимала только одна семья, я и сказала С. М., что не знала бы, как там жить. «Да что ты, Флора, прекрасно ты смогла бы. Ты так красиво двигаешься по этим залам». Я смутилась, но была польщена. И вдруг, увидев себя в громадном зеркале, подняла голову, взяла в руку подол платьица и сделала глубокий реверанс. Как нас учили в студии. И что-то незримое, безмолвное возникло между нами. Наступило лето, жена С. М. куда-то уехала, и я все чаще проводила время с ним. Мы ходили и в музеи, и в театры.

Несколько раз С. М. приглашал меня в ресторан Дома литераторов. Однажды мы обедали там вместе с приехавшим из Ленинграда пушкинистом Цезарем Вольпе. Я чувствовала себя на седьмом небе с двумя такими умными людьми. Помню, что была в розовой кофточке, которая мне очень шла, и в неизменных белых резиновых туфельках, тогда единственной обуви. Впрочем, не помню, чтобы меня мой туалет смущал. Я даже как-то участвовала в разговоре, благо беседа шла о стихах. А стихи я знала наизусть. Мне казалось, что и С. М. было приятно представить меня. Вечером С. М. провожал меня домой по Бульварному кольцу. Настал день отъезда С. М. в отпуск, и я пошла его провожать на вокзал. По дороге он

рассказывал о встречах с Блоком! Мы стояли у вагона, поезд тронулся, и С. М. вскочил на подножку. Мне было ужасно грустно, я ощутила пустоту.

Через несколько дней от него пришло письмо. Оно начиналось с прерванной фразы о Блоке. И подумать только, в какой-то момент своей жизни я решила, что все прошлое надо отринуть, письма хранить ни к чему, и уничтожила все письма С. М. и других дорогих мне людей довоенных и военных лет.

...Я продолжала бывать у Бонди. У них всегда было интересно. Часто мы встречались и в консерватории. А один раз я попала к ним, когда в гостях были Цявловские. Это был незабываемый вечер. Цявловский сначала рассказал что-то о встрече с А.Н.Толстым. Он удачно имитировал барские интонации и особенности речи Толстого. Байка была о том, как зажаривали на вертеле теленка, начиненного поросенком, индейкой и оливками. Так вот – самый смак состоял в оливке, впитавшей в себя соки всех сортов мяса. Мы сидели за маленьким столиком на крохотной тахте. Это было небольшое разгороженное помещение, где жили С. М. с Наташей и С. В. с женой. «Напряженка» в жилищном вопросе ощущалась, но в те времена в Москве так жили чуть ли не все.

Жена Цявловского, работавшая в то время с рисунками Пушкина, показала нам несколько отпечатанных на фотобумаге страниц ее будущей книги. И тут возник спор о датах рисунков и самих лицах, изображенных на рисунках. Это было очень оживленное обсуждение. Цявловский досконально, день за днем и час за часом, знал, где бывал Пушкин, кого он встречал, с кем говорил. Помню и удививший меня отзыв о Каролине Собаньской. Я знала, что она адресат пушкинских стихов «Что в имени тебе моем» и еще нескольких столь же прекрасных. И вдруг Цявловский отозвался о ней не только как о весьма легкомысленной женщине, бывшей содержанке, но и как об авантюристке и, возможно, секретном агенте Бенкендорфа. Это меня потрясло. Я уходила с чувством причастности к высшим сферам. И стала думать, не посвятить ли себя ли-

тературе. Однако понимание, что литературу можно любить и не будучи литератором, и мысль о неспособности к такого рода скрупулезным занятиям охладили эти намерения. Кроме того, меня не оставляло желание заниматься биологией.

Очень хорошо помню, как в здании Исторического музея готовили выставку к столетию со дня гибели Пушкина. Я там была вместе с С. М. Вешали портреты современников в тяжелых рамах. Все было полно благоговения. Присутствовала я и на открытии выставки. Было душно и скучно. Выступил кто-то из современных идеологов, кажется Благой. Как далеко это от пушкинских стихов!

Влияние С. М. распространилось и на мое отношение к изобразительному искусству. С С. М. я впервые посетила бывший Щукинский музей. Лестница с картиной Матисса «Танец», импрессионисты – все произвело на меня большое впечатление, ведь раньше я ничего подобного не видела и почитала реализм передвижников и Репина единственным направлением в изобразительном искусстве. Однажды С. М. сказал: «Импрессионисты – вот на чем я остановился в своем восприятии живописи. Дальнейшее – футуризм, абстракционизм, супрематизм – я уже не могу воспринимать». Надолго импрессионизм и для меня стал самым любимым течением. Пока я не прониклась ранним Пикассо, Шагалом, Гончаровой. Но это случилось позже.

Подлинно новаторским был фильм С. М. «Рукописи Пушкина». Он первый понял возможности кино в чтении черновиков, процесса сотворения стиха. И вот начальная строка «Медного всадника» – «На берегу пустынных волн...». Какие-то слова или строки зачеркивались, появлялись другие, что-то восстанавливалось, вновь зачеркивалось, переписывалось, дописывалось. Короче, зритель (читатель) мог следить за последовательностью творческой мысли Пушкина. И раньше пушкинисты исследовали процесс написания стихов – в этом и состояла их работа, но в движении киноленты тайна творчества становилась доступной каждому. Это была новаторская работа, сде-

ланная еще до войны. Много позже этот фильм, несколько украшенный видами Ленинграда, был реставрирован. Я его видела после войны, он по-прежнему был замечательным.

События и настроения

Подростковое настроение переменчиво. В основном я была обычной, не задумывавшейся ни о чем серьезном девочкой. С детства воспитанная в идеях социализма, коммунизма (как цели) и атеизма, я считала, что настоящий коммунист, беззаветно преданный этим идеалам, и есть герой нашего времени. И я хотела быть такой. Как и все вокруг, я переживала происходящее в стране, но коллективизация, индустриализация впрямую меня не волновали. Даже трудности этих периодов не были для меня критическими: и при карточной системе мы не голодали, а просто хуже питались. Меня это как-то мало трогало – хлеб, сахар, какие-то жиры и крупы были у нас всегда. За всем этим нужно было стоять в очередях, но я вместе со всеми считала эти трудности временными, неизбежными в стране, строящей свою индустрию в капиталистическом, враждебном окружении. Было необходимо выполнить пятилетку в четыре года, догнать и перегнать Америку. В двадцатые годы эти мечты сопровождались идеями перманентной мировой революции, но когда революции в Германии и Венгрии не состоялись, Сталин объявил, что социализм может быть построен в одной стране, и эта страна – СССР. Конечно, и я, как другие ребята, гордилась, что именно нам привелось жить в первой стране, строящей государство социальной справедливости, где каждый будет работать на общество по способностям, а получать по потребностям.

Все крупные события в государстве мы переживали со всем обществом. Помню челюскинскую эпопею, когда ледокол был затерт во льдах и члены экспедиции и пассажиры высадились на льдину. Романтическая, героическая фигура Отто Юльевича Шмидта, и спасающих их летчи-

ков, и спасение всех! Приезд их в Москву был подлинным триумфом. Строительство ДнепроГЭС, Магнитки, другие великие стройки также вызывали энтузиазм. Гражданская война в Испании, героические репортажи о ней Михаила Кольцова и кадры кинохроники Романа Кармена – все обсуждалось в школе и дома и находило горячий отклик. Все мы были антифашистами. Ежедневно следили за перипетиями процесса над Георгием Димитровым, когда болгарских коммунистов обвиняли в поджоге Рейхстага. Его сокрушительные, как нам казалось, ответы в суде и заключительная речь, разоблачающая провокацию, занимали все наше время. Так как Гитлер еще не был у власти, дело кончилось высылкой Димитрова в СССР.

Все эти события вызывали желание подвига, однако ни в какие военизированные кружки я так и не пошла. Весь мой энтузиазм сопровождался чувством протеста неизвестно чему. Может быть, чему-то навязываемому извне. Наверное, внутреннее сопротивление возникало и из жизни, и из литературы. К этому периоду начались вокруг аресты. Была арестована не только наша соседка, о которой я ничего толком не знала, но и муж нашей родственницы, активный коммунист. Она осталась с маленьким сыном, но вскоре забрали и ее. Был арестован муж маминой подруги, польский коммунист. Не могу сказать, что я очень переживала эти аресты, но, вероятно, мамины приглушенные разговоры с Зиной и тетей, их общую тревогу я ощущала. К этому времени относится и попавшая ко мне книжка «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка. В ней описывалось, как некий герой Гражданской войны был умерщвлен во время операции, и сделано было это по приказу Кремля. Откуда-то я знала, что речь идет о Фрунзе.

А в школе, скучной и формальной, мне не нравилось.

В Оптиной пустыни

Это был последний мой пионерлагерь. Приехали мы в монастырь Оптина пустынь. Монастырь давно закрыли,

монахи изгнаны и сосланы, хотя какие-то фигуры в темных длинных одеяниях я помню. Столовая была устроена в главном храме, поражавшем своей мощью. Там сохранились росписи на стенах и, сверху, громадная фигура Бога Саваофа, распростершего руки. Мы после долгой дороги устали и проголодались, пришли в столовую, а еды нет. Начали стучать ложками о миски, подняли бузу. Нам дали хлеб и чай, но обеда не было.

Меня, за мои литературные подвиги, выбрали редактором стенгазеты. Я спешно стала сочинять. Кто-то умевший рисовать изобразил Бога в карикатурной форме и внизу нас, голодных. А я скомпилировала какие-то строчки. Начиналось так: «Мы голодны, мы есть хотим, мы скоро кухню разгромим», а заканчивалось с помощью Маяковского: «А бог потирает ладони ручек И думает: вот насолил». Было еще что-то сатирическое. В общем, получилось удачно, совсем необычная стенгазета. Мы ее повесили. Ребята читали, смеялись, собралась небольшая толпа. К газете подошел наш пионервожатый. Это был рабочий парень, партийный, уже подкованный политически. Он прочел, побагровел и сорвал газету со стены. «Как вы смели повесить эту антисоветчину?!» Я была возмущена такой реакцией (ведь это критика, к которой призывают большевики) и отказалась быть редактором. Меня и не уговаривали. Ребята меня не поддержали, так как этой истории был придан политический оттенок.

Еще из этого лета я помню, что мы ходили на прополку колхозных огородов. Это было интересно, хотя и трудновато. Дело в том, что мы соревновались с другими отрядами на количество и качество прополки. Мы вставали очень рано и в тишине уходили в поле. Меня увлекало чувство общности в труде, радовали победы. Все же в то лето мы чувствовали не то чтобы голод, но нехватку и скудость пищи. Лагерь был далеко от Москвы, так что родители ничего не привозили. Но, пожалуй, я только сейчас это вспомнила – о еде мы как-то мало думали.

История со стенгазетой отозвалась в седьмом классе. Почти все ребята вступали в комсомол, подала заявление

и я. В те времена вступление не только в пионеры, но и в комсомол шло практически автоматом. Однако, когда вызвали на бюро меня, наш пионервожатый, тот же парень с завода (они были шефами школы), выступил с заявлением, что я политически незрелая и с приемом меня в комсомол надо повременить. Все бюро его поддержало. Я была оскорблена, страшно обижена предательством товарищей. Антагонизм между мною и классом усилился, но со второго захода меня приняли. Однако фактически больше я в комсомольской жизни не участвовала: к этому времени меня начали терзать всяческие сомнения.

Первый роман

Героем моего первого романа был Яша. Круглоголовый, светлоглазый, высокий мальчик, ходивший в гимнастерке старшего брата и увлекавшийся военным делом и спортом. Он был умным мальчиком, хорошо учился, и то, что он обратил на меня внимание, мне льстило, так как он нравился многим нашим девочкам. До него я много каталась на коньках, а он – на лыжах. Однажды мы с классом поехали в Сокольники, там была лыжная база, где можно было взять лыжи и пьексы напрокат. Пьексы – это мягкие ботинки. Мы оборачивали ноги газетой, а у лыж были ремешки, в которые засовывали пьексы. Мне кататься на лыжах понравилось. Мы мчались по просекам Сокольников, и Яша все время был поблизости. Катались долго. Уже на закате Яша сказал: «А я в тебя вмазался» – тогда так называли влюбленность. Я была на седьмом небе.

В другой раз мы возвращались домой из школы втроем, с Милой. На Воронцовом поле мы с Милой перешли на нашу сторону, а Яша настойчиво позвал меня вернуться. Я и хотела, и боялась объяснения. Он повторил свое признание и потребовал, чтобы и я ему ответила. Я не решалась, убежала и уже с другой стороны улицы крикнула: «Я тоже!» На следующий день Яша, неплохо рисовавший, подарил мне рисунок рыцаря, в полном облачении и со щитом, на котором было написано: «Навсегда». Я в ответ

свела с какой-то книги Жанну д'Арк. Шла весна, встречи наши и прогулки участились, и один раз на Земляном Валу Яша обнял меня и поцеловал. Я как-то в тревоге и страхе влюбленности отстранила губы, и получилось, что он поцеловал меня в щеку. Но счастье этого первого поцелуя было столь велико, что деревья и звезды крутились над моей головой в полусознании немыслимости происшедшего с нами. Я и сейчас помню это ощущение как одно из самых потрясающих в жизни. В нем слились счастье взаимной любви, острое чувственное переживание и радость единения с окружающим миром. Поцелуи на улице продолжались, становились все более страстными, но ниже шеи не спускались. Однако однажды Татьяна Григорьевна решила поговорить со мной о засосах на шее. Я была страшно смущена, но упорно отрицала, что это следы от поцелуев. С поцелуями, ссорами, примирениями, недоразумениями длился этот роман довольно долго, пока у нас в классе не появилась новая очень красивая девочка Нина. У нее были громадные серые глаза с пушистыми ресницами и точеная фигура. Мальчики нашего класса повально влюбились в нее. И Яша тоже. Нина не отличала кого-либо из своих поклонников, мне кажется, что ей была приятна сама победа. Я, конечно, была огорчена, но одновременно не оставляло ощущение, что «что-то кончилось» и я свободна. Однако через некоторое время наша любовь победила, и мы опять были счастливы вместе. Позже роман наш пережил трагическую фазу. В нашем классе учился большой, нелепый, с какими-то заскоками мальчик Сеня. Его тетя работала билетером в театре и иногда давала ему контрамарки. Однажды он пригласил меня на спектакль «Горе от ума». Отказаться я была не в силах. Я сказала об этом Яше, и это его взбесило. Но в театр я пошла, и мы с Яшей надолго поссорились. В это время Татьяна Григорьевна ставила с нами пьесу «Бедность не порок». Я играла главную роль. Мне думается, играла плохо: роль бедной покорной девушки вовсе мне не подходила. Однако у меня было длинное платье, и роль я знала наизусть.

Забыла упомянуть, что в одной квартире с Яшей жила наша одноклассница Ляля. Я не вполне бескорыстно стала с ней дружить. Она была хорошая, но малоинтересная мне девочка, однако возможность приходить к ней, по соседству с моим героем, значила очень много. Яшино жилище хранило черты старого быта – прекрасная мебель, картины. На пианино и полочках стояли уменьшенные копии скульптур, «Поцелуй» Родена. Висела репродукция «Города мертвых» Мурильо и что-то еще, вероятно, времен женитьбы Яшиных родителей. До сих пор не забывается жуткое смущение, отчаянье, когда я однажды зашла за Яшей, чтобы позвать его погулять, а у них были гости. Я стояла в передней, и Яшина мама, совсем меня не любившая, пригласила зайти в комнату. Я вхожу, и раздается страшный хохот гостей. Конечно, им показалась комичной моя щуплая, одетая во что-то несуразное фигура, да и вообще у взрослых пара влюбленных подростков вызывала только смех.

Однако вернусь к дню нашего спектакля. После первого действия Ляля, прибежав за сцену, в ужасе сообщила, что Яша собирается избить Сеню. Я в своем длинном платье мчусь на темную лестницу второго этажа. Из темноты выскакивает Яша в трусах и боксерских перчатках. Я бросаюсь к нему, прошу не устраивать драку, но он меня отталкивает и бранит. Он демонстративно рвет подаренную мною Жанну д'Арк, кричит, что я предательница, если защищаю этого психа Сеню. Раздается звонок ко второму действию, нужно бежать на сцену. Я ищу Лялю, чтобы она предупредила Сеню о грозящей опасности. Но драка происходит. Не в школе, а потом, на улице, на берегу Яузы. В результате попадает (и довольно здорово) Яше. Разражается скандал, Яшина мать негодует. И в самом худшем виде предстаю я, как причина драки и безнравственная интриганка. Меня вызывают к директору, вызывают и маму. Мама в отчаянии и готова вместе с учителями и другими родителями признать меня исчадием ада. Дальнейшего я не помню. Наверное, память не случайно вытеснила это воспоминание.

Сеня ушел в другую школу, и через какое-то время произошло примирение с Яшей. Пережив такую драму, мы оба вновь счастливы. Мы много гуляем. Позвать Яшу к себе невозможно, так что роман у нас чисто «уличный». Прогулки длятся до все более позднего часа. Один раз (мне, наверное, уже четырнадцать-пятнадцать лет), когда я возвращаюсь, мама в отчаянии кидает в меня табуретку. Я в ответ говорю какие-то страшные слова, что она меня ненавидит, не любит. «Да ты проститутка!» – кричит в отчаянии мама. Чувство ярости, ненависти, несправедливости, и я решаю убежать из дома. Куда? Ночь была довольно теплая, и я шаталась по бульвару, а потом прикорнула на скамейке. Утром пошла в школу. После школы мама позвонила Миле и, узнав, что я жива, успокоилась, а я, пошатавшись где-то, пришла домой. Худой мир был восстановлен. Однако стена непонимания росла. Мама мое «свободное поведение» не могла объяснить ничем, кроме как моей испорченностью, хотя у нас с Яшей дальше поцелуев не шло. По-видимому, мы были еще очень юны и инстинктивно боялись переступить черту. Немалую роль играл и общий пуританский настрой общества.

Уже в девятом классе Яша мне сказал, что он влюблен в девочку, которая жила около Библиотеки Ленина. Мы по-дружески пошли туда познакомиться. Девочка оказалась умной, красивой и обаятельной. Рядом был ее друг Миша. Мне было шестнадцать, а ему уже восемнадцать, в то лето он готовился поступать в университет. Мне он казался взрослым, и я, в то время свободная, увлеклась им. Это не было влюбленностью, но я ощущала, что без романа, без любовных отношений, звонков, свиданий жить невозможно.

С Мишей поцелуи стали не столь невинны, уже возникало настоящее желание, но мы не переступали роковую черту. Я думаю, что, если бы он был порешительней, я бы не устояла. Но в те времена существовала какая-то преграда перед решительным шагом, и, насколько я знаю, не только у нас. Я думаю, что в восьмом и даже девятом классе настоящих сближений ни у кого не было. Однаж-

ды Мишина мама застала нас в довольно растрепанном виде. Я в ужасном шоке убежала.

Мишины экзамены надвигались, мы пару раз встретились и погуляли в Александровском саду, но эти довольно поверхностные, по существу, отношения сошли на нет.

Николай Борисович Гофман

Николай Борисович был учителем математики. Как и всех педагогов нашей бывшей школы, его уволили или он ушел сам. Был он явно беден, поэтому ходил в старой гимнастерке, военных брюках-галифе и сапогах, оставшихся с Гражданской войны. Он был высокий, худой, с правильными чертами лица и маленькими усами над губой. Года через три после разгона нашей старой школы я встретила Н. Б. на Покровке. Я тогда училась в седьмом классе. Увидев его, я бросилась ему на шею и повисла, как делала это в детстве. И хотя мы оба почувствовали неловкость, Н. Б. явно был рад меня увидеть. Помнил, кажется, по «Робин Гуду», и мы пошли вместе. Я рассказывала о своей жизни и тех напастях, которые на меня свалились. Когда я упомянула о своих неладах с математикой, он предложил мне помочь. И я стала с ним заниматься. Он был очень хорошим педагогом, и я довольно быстро освоила школьную премудрость и стала получать четверки. Полагаю, что трудности были скорее психологические, я не умела работать, не выполняла заданий.

Однако мои посещения Н. Б. продолжались. Он повел меня в Музей изящных искусств, показал античную скульптуру, потом итальянскую живопись. Он очень любил и хорошо знал искусство Возрождения. В детстве, до революции, родители Н. Б., люди интеллигентные, возили его и братьев в Италию, считая это необходимым для воспитания детей. Оттуда Н. Б. привез много репродукций. Он показывал и рассказывал о них. Он дал мне прочесть, а потом и подарил «Образы Италии» П.П.Муратова. Эта книга стала моим сокровищем и мечтой.

У меня в те времена была хорошая память, я много читала, ходила в музеи. Конечно, в те времена главным было увлечение Ренессансом, Высоким Возрождением, – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Знания мои не отличались особой глубиной и не перешли в подлинное изучение предмета, но все же заронили любовь к изобразительному искусству, которая с большей или меньшей интенсивностью длится всю мою жизнь. Несколько лет назад я была в Италии, и, несмотря на быстроту и поверхностность взгляда туриста, это было возвращение в отрочество – узнавание.

Дружба с Н. Б. продолжалась и в восьмом классе, но в свою взрослую жизнь Н. Б. меня не пускал. Он был влюблен (сам сказал мне об этом) в Наташу, очень хорошенькую девушку, дочь поэта Сергея Соловьева. У нее собирались друзья, ночами читали стихи, говорили о литературе. Н. Б. очень любил и ценил этот круг. Мне безумно хотелось туда попасть, но меня не приглашали, может быть, просто по малости лет. Круг этот, однако, сотрясали события. В Наташу был влюблен молодой, но уже знаменитый математик Лев Шнирельман. Однажды Н. Б. со смехом, но восхищаясь, рассказал, что Шнирельман пригласил Наташу в театр, купив на один день билеты на несколько спектаклей, чтобы она могла выбрать, куда ей хочется пойти. Он приносил ей цветы и конфеты. И наконец сделал предложение. Наташа отказала. Неожиданно он покончил жизнь самоубийством, но причиной стала не безответная любовь, причиной были вызовы в НКВД с целью надавить на него и принудить к сотрудничеству. Он не согласился, но выдерживать эти пытки не смог.

Конечно, моей маме мои визиты к Н. Б. казались подозрительными. Она выследила, куда я хожу, и пришла к нему. Я была там. Мама велела мне уйти, и я покорно подчинилась. Н. Б. был спокоен, предложил ей сесть и, по-видимому, успокоил в отношении возможности аморального поведения. Похоже, что мама ему поверила. Однако что-то было испорчено, искорежено маминым вмешательством и моей покорной ретировкой. На самом деле какой-

то чувственный элемент в наших отношениях был, однако он проявлялся только в случайных касаниях, иногда поцелуях при встрече или прощании...

На войну Н. Б. ушел добровольцем и погиб.

Илюша Нусинов

Мой уход из студии Серпинского совпал с началом дружбы с Илюшей Нусиновым. Все его звали Эля, а мне больше нравилось имя Илья. Он был на два года моложе (в том возрасте это существенно), но как-то раз мы на переменке разговорились и поняли, что мы из одного «племени». Мы бродили по улицам, говорили о книгах, пьесах, театре, кино, но главное – читали стихи. В то время нашим богом был Маяковский. Дореволюционного Маяковского – «Облако в штанах», «Флейту-позвоночник» и ранние стихи – мы знали наизусть. «Про это» – тоже. Однако нам не нравилась поэма о Ленине, хотя «Хорошо!», «Левый марш», «Стихи о советском паспорте» мы любили. Как сумасшедшие, громко, размахивая руками, мы читали на улице его стихи. Илюша прекрасно знал поэзию и сподвижников Маяковского – Асеева, Кирсанова, Бурлюка, других. Когда я пришла к ним в дом, мне польстило знакомство с отцом Илюши, известным литературоведом. Позже я узнала, что отец ушел от них. Распад семьи больно ранил Илюшу, он скрывал разрыв. Я, больная тем же, безмолвно ему сочувствовала, и это нас еще больше сблизило.

Мы гуляли с Илюшей по Чистопрудному бульвару, когда кто-то крикнул: «Маяковский застрелился!» Мы совсем недавно слушали его в Политехническом и были под впечатлением его мощи, саркастических ответов на выпады из зала, вообще от явления поэта – громадного, могучего. Известие о его гибели потрясло. Как такой красивый, талантливый человек, советский поэт мог покончить с собой?! Есенин – мог, он душой оставался в дореволюционной деревенской России, но не трибун революции Маяковский. Мы побежали к Лубянскому проезду,

там, у дома Маяковского, толпился народ. Все передавали друг другу предсмертную записку Маяковского. И была тайна в его словах «это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет». Мы горевали и не понимали ничего в его судьбе поэтической и личной.

При всей интенсивности дружбы с Илюшей я не была влюблена в него, а он, может быть, слегка, просто он легко влюблялся. Однако дружба наша была крепкой, мы делились всеми своими радостями и горестями, мечтами. Илюша легко увлекался не только девочками, но и вообще людьми, биографиями, книгами, кино, артистами и любил рассказывать обо всем, что его увлекало.

Однажды – это было на Покровском бульваре – мы признались друг другу в желании стать писателями. Мы понимали, что надо иметь и любить профессию, но в будущем мечтали писать. Илья эту мечту осуществил: он стал драматургом и сценаристом. Вместе с его другом Семеном Лунгиным они написали несколько прекрасных сценариев – «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Агония», «Телеграмма» и другие. Я же стала биологом и, хотя время от времени пишу стихи и что-то прозой под влиянием событий или ярких впечатлений, редко доводила работу до конца и впервые напечатала воспоминания только в восемьдесят лет! Обычно мы с Илюшей рассказывали друг другу о своих влюбленностях. Он и после окончания школы еще долго посвящал меня в свои дела и увлечения. Как-то, когда я уже ушла из школы, я даже помогла ему разобраться в его любовных отношениях. Когда ему было пятнадцать, он летом в Коктебеле подружился с Лилей Маркович, девочкой, жившей в детстве во Франции. В нее он тоже был влюблен и познакомил нас. Тогда мы не подружились – жизнь шла в разных кругах. Лиля была почти иностранка, говорила по-французски, что восхищало окружающих, а у меня вызывало зависть и нежелание сближаться. Я же шокировала ее репликами вроде «Больше всего на свете я люблю целоваться!».

После того как я ушла из школы, мы встречались с Ильей реже – учились, влюблялись, женились. Началась

война, разметавшая всех. Встретились мы с ним в Свердловске во время войны. Он учился вместе с моим мужем Мишей в Военно-воздушной академии. Мы с Мишей и маленьким Павликом жили в гостинице. У нас собирались наши друзья-студенты: в Свердловск из Ашхабада был перебазирован Московский университет. В гостинице нам давали дополнительную буханку черного хлеба, и, если я не меняла ее на молоко, по ломтю доставалось гостям. В 1944 году Илью отправили в воинскую часть в Югославию, инженером-вооруженцем.

В послевоенные годы мы опять с ним встретились. Он вернулся с фронта, но жизнь его не баловала. Отец был арестован и расстрелян в 1949 году, и в душе Ильи боролись любовь и вера в отца и убежденность активного комсомольца в правильности решений партии. Работал он в военном НИИ, но вскоре его оттуда уволили и больше никуда на работу не брали. Его жена, правда, работала, но материальное положение их было очень тяжелым.

К тому времени у них росли две дочери. И Илья решился на смелый шаг: в эпоху государственного антисемитизма он пошел в райком и сказал, что без работы и без партии не может и не понимает, почему его никуда не принимают. В райкоме его поддержали и направили на завод «Манометр», где он проработал много лет, собственно, до тех пор, пока не стал профессиональным литератором.

Как-то раз Илья привел меня в дом Лунгиных. Там я впервые встретилась с другом Ильи (и мужем той самой Лили Маркович) Симой Лунгиным. Было воскресенье, первый день Пасхи. Домработница Лунгиных, суровая, педантично соблюдавшая церковные обряды Мотя, после строгого поста приготовила богатый стол для разговения, хоть и жила у нехристей.

В то время Сима работал режиссером в театре. Они с Ильей задумали написать пьесу, и Лиля отправила их в отпуск на юг, где они создали пьесу «Гвозди», которую потом поставил Театр имени Станиславского.

Мы с мужем часто с ними со всеми встречались, вместе путешествовали по горам, приобщили к байдарке и плавали по рекам и озерам. Дружба длилась до смерти моих любимых друзей. Первым, очень рано, в пятьдесят лет, ушел Илья. Он умер от инфаркта в плаванье на военном корабле. Это была страшная трагедия – сорок лет дружбы, столько вместе пережито...

Манихино. Мне пятнадцать лет

Лето я провела в деревне Манихино, недалеко от Нового Иерусалима. Мама пристроила меня к веселой паре молодоженов. Люди эти легко и весело жили, без особого надрыва работали в колхозе, любили друг друга и не обращали на меня особого внимания. Я питалась яичницей, молоком и простоквашей. Привозила продукты и мама. Мне такая свободная жизнь нравилась. Правда, «опекала» меня мамина знакомая – партийная недружелюбная ханжа, но это меня мало беспокоило.

Я дружила с деревенскими девочками, много плавала в Истре, ходила по грибы и ягоды. По вечерам парни и девушки ходили по деревне с гармонью, распевая вперемешку старые песни и новые из фильмов.

Интересной оказалась дальнейшая судьба молодайки. Во время войны мужа призвали в армию, а их деревню на короткое время заняли немцы. Немецкий солдат, квартировавший у нее, оказался добрым пареньком – починил крышу, напилил и наколол дров, а когда немцы отступили, она оказалась беременной и родила мальчика. Деревенские ее осуждали, хотя не одна она жила с немецким солдатом. Когда я после войны ее навестила, она сказала мне, что такой любви не знала никогда и всегда будет его помнить.

Мои сомнения

Несмотря на некоторую ершистость, я полностью ощущала себя советской девочкой. В моем детстве понятие

«настоящий коммунист» было неким идеалом человека, к которому надо стремиться. Когда после происшествия в лагере со стенгазетой меня не приняли в комсомол, я была глубоко уязвлена. Ленин всегда оставался для меня непогрешимым, и крепка была вера в его идеи о равенстве и братстве, духе интернационализма, справедливом устройстве общества. Я неукоснительно ходила в Мавзолей в день рождения Ленина.

Но многое в жизни не соответствовало моим идеалам. Аресты родителей подруг, родственницы из соседнего дома порождали какой-то мистический страх перед именем Сталина. И особый страх перед НКВД. Я не сомневалась, что они все знают и что человек должен быть абсолютно откровенным перед НКВД. И я не знаю, как бы себя повела, если бы меня вызвали в НКВД. А сколько наших друзей и знакомых оказывались в таком положении, когда их вызывали, допрашивали, склоняли к сотрудничеству, взывая к их верности идеям... Первая крамольная мысль мелькнула у меня, когда я однажды выходила с Красной площади. На фронтоне Манежа висел лозунг «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». И вдруг как ударило: «Почему Сталину? Ведь революцию делали все большевики». Мне было тогда лет пятнадцать.

Загорянка. Шестнадцать лет

В это лето я жила у маминой знакомой в Загорянке. Мама платила за постой и питание, и я чувствовала себя вполне самостоятельной. Здесь собралась московская компания, ко мне приезжали подруги из Москвы. Посиделки, прогулки, чтение стихов, купание. На день рождения у меня возник «опус», который и прочла подружкам. Темой была юность знаменитых дев: Жанна д'Арк, Софья из «Горя от ума» («В семнадцать лет вы расцвели прелестно, Неподражаемо, и это вам известно»), Софья Перовская, Джульетта... Это был период больших надежд, жажды свершений. Героем моим был Мартин Иден. Но у меня никаких особых свершений не было.

Помню еще, что на соседней даче жил Давид Ойстрах с семьей. Он заставлял сына Игоря играть на скрипке часами. Тот плакал, сопротивлялся и кричал, что ненавидит скрипку. Ойстрах даже бил его. Удивительно, но Игорь стал хорошим скрипачом.

Еще о книгах

В старших классах я прочла романы Тургенева, Гончарова, перечитывала Льва Толстого. Читала Флобера, Бальзака, меньше – Золя. Увлекалась семейными романами – «Сагой о Форсайтах», «Семьей Тибо», «Будденброками». Не оставила меня равнодушной героическая тема. Конечно, «Овод», но самое большое впечатление произвел Джек Лондон, особенно «Мартин Иден». В этот период я больше всего ценила волевых людей, пыталась даже справиться со слабостями своего характера, и Иден был моим Учителем. Даже его самоубийство представлялось мне героическим. Я читала и перечитывала и пыталась заразить этой любовью и обеих моих Мил. Конечно, был и Дюма.

Однако кое-что теперь меня удивляет. Наряду с занимательным чтением я чрезвычайно любила былины. Я не ленилась ходить в читальный зал Исторической библиотеки и, прочтя массу разных сборников, сравнивала их, многое знала наизусть. В этому ряду надо вспомнить и «Песнь о Гайавате». Эту книгу подарил мне папа, и я до сих пор помню «Если спросите – откуда Эти сказки и легенды С их лесным благоуханьем, Влажной прелестью долины, Голубым дымком вигвамов, Шумом рек и водопадов...». Красота страны Оджибвеев и страны Дакотов диких пленяла меня не менее, чем подвиги русских богатырей. Еще восхищалась я любовью в «Песне о Роланде». Однако русская литература была у меня на первом месте. Рассказы Чехова нравились потому, что были смешными, но со временем я полюбила его поздние произведения. И по сию пору Чехов мой любимый писатель. Знакомство с Гоголем, естественно, началось с «Вечеров на

хуторе близ Диканьки». «Ревизор» и «Женитьба» меня смешили. Потом я прочла повести, и наступило время «Мертвых душ». Сначала я восприняла эту поэму как бытоописание, а характеры как юмористические, а затем стало страшно. Гоголь заставлял думать.

Еще я помню, что мне очень нравились юмор и всякие пародии. Была в те времена популярна книжка пародий Александра Архангельского. Там на известный сюжет о попе и его собаке и еще о Ваверлее были пародийные стихотворения в стиле разных известных поэтов. Все это мы знали наизусть. Кроме того, очень нравились песенки Беранже в прекрасных переводах В.С.Курочкина. Любила я в то время декламировать басни.

Забыла написать о Мопассане, которого начала читать рано. Здесь, конечно, в первую очередь был интерес к интимной стороне жизни. Но вот появился Хемингуэй, и все мы заболели им – такие страсти и такая скупость изображения, такая краткость. Восхищали его роман «Прощай, оружие» и некоторые рассказы из детства Ника. Само собой читала я и «Манон Леско», и «Опасные связи», но в них я скорее искала раскрытия тайны отношений мужчины и женщины.

В кино ходили довольно редко. Помню «Праздник святого Иоргена» с несравненными Ильинским и Кторовым, «Марионетки». Звуковое кино пришло к нам с картиной Николая Экка «Путевка в жизнь», а цвет – со «Златыми горами» Сергея Юткевича. Однако книги и театр для меня были важнее.

Театральная жизнь

После детских театров, в которые нас водили, мы попали в Малый театр. Сначала – Островский: «Бедность не порок», «Правда хорошо, а счастье лучше». Восхищала игра актеров, в особенности замечательных «старух» – Варвары Рыжовой, Марии Блюменталь-Тамариной, да и «стариков» семейства Садовских. Потом был «Стакан воды» с блистательным Южиным. Искрометность, легкость

и остроумие этой пьесы переносили нас в сферы изысканной жизни с элегантными женщинами, интригами, адюльтером. Конечно, обо всем этом мы читали и в книгах, но здесь, показанное мастерски, со вкусом и удовольствием, впечатляло особенно. Вспоминаю и Остужева в «Отелло», Пашенную в «Оптимистической трагедии». Пашенной мы хлопали и восхищались ею, но иногда мне казалось, что она переигрывает.

В седьмом классе Мила Б. безумно увлеклась игрой Аксенова в роли герцога Позы в драме «Дон Карлос». Красавец Аксенов в черном плаще был и в самом деле великолепен. Да и вся постановка в романтическим стиле – черные бархатные костюмы на фоне черного же бархата декораций, героизм и предательство – впечатляла. Мила и другие поклонницы создали Общество Друзей и Поклонников Всеволода Николаевича Аксенова – ОД и ПВНА. Эти буквы писались чернильным карандашом на ладони. После спектакля девочки ждали его у театрального подъезда. Спектакль и на меня произвел впечатление, но институт «поклонничества» был мне чужд. Я посмеивалась над Милиной экзальтацией, и мы как-то отдалились друг от друга.

Затем пришло время Художественного театра. Москва стояла ночами в очереди за билетами на «Анну Каренину». Тогда блистала Алла Тарасова, но мне она совсем не понравилась. Величественная, немолодая и полноватая, временами она впадала в истерику и совсем не была похожа на Анну в моем воображении. Вот Хмелев в роли Каренина мне понравился, и даже было его жаль. «Три сестры» и вовсе показались мне затянутыми и скучными. Восхищенным своим подружкам я повторяла: «Не верю». Зато «Женитьба Фигаро» с Баталовым и Андровской привела меня в восторг. Кто-то из девочек фыркал: «Тебе только комедии нравятся». Правда в этом была. Может, под влиянием С. В., но я в театре ценила условность, гротеск. Поэтому любила и «Турандот» в Театре Вахтангова.

«Оптимистическая трагедия» с Алисой Коонен в Камерном потрясла меня своей революционной романти-

кой, но в пьесе «Адриена Лекуврер» она мне показалась неестественно крикливой и «сверхтеатральной», хотя некоторые девочки ее обожали.

Особым театром, который я очень любила по-настоящему, был маленький театр Завадского в переулке на Сретенке. Он стал моим театром, я ходила туда очень часто. Особенно нравился спектакль «Ученик дьявола» по Шоу. Главную роль совершенно блистательно играл Николай Мордвинов. Пожалуй, в этом случае я была близка к состоянию «поклонницы». Влюбилась я не в актера, а в героя – Ричарда Даджена, в его бунт, неудержимость, страсть. Еще там играл замечательный М.Астангов. Не помню как, но один раз меня провели на репетицию. Здесь я увидела барственного красавца режиссера Завадского. Репетировали «Дело» Сухово-Кобылина. Меня захватили перипетии этого в свое время потрясшего Россию дела. В спектакле играла Марецкая. Ах, каким она была чудом обаяния и таланта. На всю жизнь прикипела я к ней, даже и в «Сельской учительнице». Надо сказать, что театр этот был маленький, скромный, со стенами, обитыми суровым полотном. Но фойе украшали портреты всех моих любимцев!

Не могу не вспомнить еще одну удивительную актрису того времени – Марию Бабанову. В советской пьесе «Человек с портфелем» она блестяще играла подростка, оказавшегося в центре драмы. Попала я на спектакль случайно, но впечатление было столь велико, что я потом соблазнила пойти подруг. Позже Бабанова сыграла арбузовскую Таню, не только в театре, но и в кино. Видела я и «Доходное место», где она играла Полину. До сих пор помню ее голосок, когда она произносит внушенную сестрой фразу «Человек создан для общества». Тут и легкомыслие, и желание удовольствий, и трепет перед мужем, и любовь к нему, и тоска по уходящей молодости.

А теперь для меня, может быть, самое трудное – о театре Мейерхольда. Конечно, и здесь не обошлось без влияния С. В. Попала на уже почти не игравшегося «Великодушного рогоносца» Кромелинга. Эта старая классичес-

кая комедия была поставлена в конструктивистских декорациях, и как замечательно играли там Ильинский и Бабанова! Затем был «Лес», «Ревизор» с блистательным Эрастом Гариным. Здесь я увидела и Зинаиду Райх, игравшую жену городничего.

Однако наступали худые времена. Сначала ходили только слухи, а потом уже и из газет я поняла, что вокруг театра Мейерхольда сгущаются тучи, над режиссером нависла угроза. Участились нападки и на его театр, и вообще на формализм и тлетворное влияние Запада.

Мейерхольд тогда строил по своему проекту будущий театр на Триумфальной площади. Он пытался защищаться, готовил новые спектакли. Один из последних, «Дама с камелиями», поставленный специально для Райх, был создан в духе высокой эстетики, с прекрасными, совсем не условными декорациями – голубая мебель в салоне героини и совершенно сногсшибательные ее туалеты. Не то чтобы мне этот спектакль очень нравился, но было красиво. Стремясь хоть как-то защитить свой театр, Мейерхольд решил поставить «Одну жизнь» по роману Николая Островского. Уже назначили премьеру. Я достала билет, но спектакль заменили. Играли пьесу «Последний решительный» – плохо, в явной растерянности. В эти же дни Мейерхольд прочел лекцию «Мейерхольд против мейерхольдовщины». Волнуясь, я пошла на нее. Он пытался отринуть своих эпигонов, острая карикатура на которых создана Ильфом и Петровым, но отстаивал необходимость новаторства в театре. Ничего не помогло, и театр закрыли. Вскоре Мейерхольда арестовали и расстреляли, а нам остались только воспоминания. А потом при загадочных обстоятельствах (вроде бы произошло ограбление) была убита и Райх.

И последнее воспоминание. Я иду по улице Горького. Около бывшего театра Мейерходьда стоит грузовик, и в него бросают легкие голубые креслица – декорации из салона «Дамы с камелиями».

Еще в наши отроческие годы было много выступлений чтецов. Читали и прозу, и стихи. Мы очень любили Дми-

трия Журавлева, особенно когда он читал прозу Пушкина, рассказы Чехова и Зощенко. Но главной нашей любовью был Владимир Яхонтов. И манерой, и внешностью он походил на Маяковского. Я забыла многое, но отчетливо помню его композиции. Одна из них называлась, кажется, «Поэты». Там он читал отрывки из стихов Пушкина и Маяковского о любви. Композиция выявляла параллели в мыслях, образах и строфах двух поэтов.

Не могу не вспомнить потрясения от Улановой – ее «душой исполненный полет» в «Жизели», стремительный бег почти по воздуху в «Ромео и Джульетте». На этот балет я всеми правдами и неправдами попадала много раз.

И последнее судьбоносное воспоминание. Об опере Шостаковича «Катерина Измайлова, или Леди Макбет Мценского уезда». Я уже писала о нашей учительнице музыки в школе – Вере Андреевне. Она сумела нам привить любовь к классической музыке и опере. Мы слушали «Садко», «Псковитянку», «Хованщину», но больше всего любили «Евгения Онегина». В то время в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко с большим вкусом была поставлена эта опера. Я купила билет заранее и шла в хорошем настроении слушать любимую музыку и певцов. И вдруг – ужасное огорчение! – замена на недавно поставленную «Катерину Измайлову». Я что-то слышала об этой опере, но ни автор, ни его музыка меня не интересовали. Мне хватало русской классической музыки и произведений Моцарта, Гайдна, Бетховена. Однако домой идти не хотелось, и я, не ожидая ничего хорошего, пошла на эту оперу. Поначалу все мне казалось диким, обнаженным, дисгармоничным. Мое ухо не привыкло к этой странной музыке, которая не ласкала слух. Но постепенно меня захватили ее мощь, драматизм, сарказм и странности звучания. Увлекали и постановка, и декорации, и игра артистов. При процветавшем в те времена ханжестве и лицемерии сцена в спальне, страсть, выраженная в музыке и в игре актеров, и шокировали, и потрясали.

Попав на спектакль в следующий раз, я подошла к группе молодежи, влюбленных в музыку Шостаковича.

Выяснилось, что некоторые из них даже ездили в Ленинград, чтобы послушать и посмотреть другую, кажется, более интересную постановку в МАЛЕГОТЕ (Малый оперный театр).

Тогда мы даже не могли себе представить, что через два года появится в газете «Правда» редакционная статья «Сумбур вместо музыки». Ее напечатали после того, как Сталин слушал «Катерину Измайлову» в Большом театре. Вождь ушел после второго действия, и опера была запрещена. Запрет этот длился больше двадцати лет!

Мальчики и девочки нашего класса

Из двенадцати мальчиков нашего класса восемь погибли во время войны или вскоре после нее. Я писала о Яше, моей первой любви, – он погиб под Севастополем. Погиб и Леша, безнадежно влюбленный в Милу. Погиб или пропал без вести Леня Преображенский. Этот мальчик мне даже нравился в четвертом классе. Круглоголовый, вихрастый, он был заводилой во многих наших проделках. Он научил меня цепляться за «колбасу» – растягивающийся шланг позади трамвая. Я боялась, но азарт и желание понравиться Лене были сильнее. Особое уважение всех он заслужил, когда мы устроили на перемене страшное побоище с киданием книг и тетрадок. И вот в класс вошла учительница, воцарилась тишина, мы замерли. Елизавета Михайловна потребовала, чтобы зачинщики встали, но все продолжали сидеть. Напряжение нарастало. В воцарившейся тишине Леня встал со словами «Что, сэры, сдрейфили?» За ним поднялись и все мы. Кажется, нас заставили все убрать, но потом простили. Каково же было мое отчаянье и потрясение, когда я, вернувшись с физкультуры в пустой класс, застала там Леню, который лез за пазуху великовозрастной и грудастой Мане.

Погиб и Сережа Обрезков. Это был способный мальчик, высокий, в очках. Он увлекался радиотехникой. Жил он на Покровке и по дороге в школу, проходя мимо моего дома, своими длинными ногами стучал по водосточной

трубе, я сбегала опрометью и догоняла его в конце переулка. Мне нравились его целеустремленность и серьезность. В восьмом классе у нас появилась очень эффектная и веселая девочка Нина. Они с Сережей явно были влюблены друг в друга. Однако Сережина мама увидела опасность в этом увлечении и перевела его в другую школу. Окончив школу, он поступил на радиотехнический факультет, откуда и ушел на фронт.

Погиб и самый умный мальчик – Сережа Страховенко, сын нашей учительницы. Он учился на историческом факультете и пошел в ополчение, хотя был очень близорук.

Почти все университетские ополченцы погибли. Двое вернулись ранеными. Один из них – Сережа Фомин – был замечательным фотографом. После войны он работал в фотоателье. Благодаря ему сохранились некоторые фотографии наших послевоенных встреч. Однако ранения были тяжелыми, и он умер молодым. Другой, Шура Л., работал военным медиком и был легко контужен.

В живых остался Костя М. Он был тихим отличником, по-видимому, способным, но мы считали его зубрилой и подхалимом из-за того, что он помогал нашей учительнице физики ставить опыты. И его не обошла любовь – он был влюблен в Милу Б., но она поклонялась Аксенову и не ответила на его любовь.

Естественно, что судьбы девочек тоже, как правило, искорежила война. У Милы М., рано вышедшей замуж и родившей дочку, муж пропал без вести. Были сведения, что он погиб. Здесь появился ее бывший поклонник Илья Ш. и убедил ее выйти за него и уехать на Дальний Восток, где он служил в интендантском управлении. Через несколько лет первый муж Милы вернулся: он был в плену у немцев, а затем в нашем концлагере. Он встретился с Милой, но семья у них не получилась.

Большинство наших девочек поступили в медицинские институты. Ася и Наташа Ш. были из семей потомственных врачей, другие – из-за перспективности будущей профессии и из-за того, что на вступительных экзаменах не надо было сдавать математику. Наташа Ш. забо-

лела туберкулезом. В санатории она влюбилась в молодого человека, тоже больного. Родилась дочка, но ее отец вскоре умер. Наташа выздоровела, окончила институт и стала хорошим хирургом в Институте туберкулеза. Умерла она в семидесятых годах от рака. На какой-то встрече после школы мы признались друг другу во взаимной симпатии. Жаль, что дружбы между нами не случилось. Нина Н. вышла замуж за генерала. Их бездетный брак был счастливым, но недолгим – он скоропостижно скончался. Эльза-немка, чистенькая беленькая девочка с косичками из Республики немцев Поволжья, была с родителями выслана в Казахстан. Две-три наши девочки скоропалительно вышли замуж и потеряли мужей на войне или разошлись. Одна из самых интересных девочек – Наташа. Она забеременела от студента ее группы. Он хотел жениться, но ее мама сочла, что тихий провинциальный еврей не годится в мужья ее дочке: мама строила планы на выгодный брак. Кончилось тем, что мать преподавала в консерватории и нянчила ребенка, а Наташа бросила учиться, была очень несчастна. А отец ребенка успешно окончил институт, защитил две диссертации, стал преуспевающим и известным профессором. Вот так деспотизм матери разрушил дочери жизнь. Наши красавицы – Нина П.-К., Тамара П. и две другие девочки неудачно вышли замуж. Вот Туся жила, пожалуй, довольно счастливо, стала хорошим невропатологом, родила сына. Мила Б. стала математиком. Уже в немолодые годы она вышла замуж за вдовца с дочерью и эмигрировала в Америку.

Конец школьной жизни

И вот девятый класс, мне скоро семнадцать лет. В этот период я пребывала в смятении чувств, в мечтаниях о чем-то прекрасном, соответствующем моей высокой самооценке, и сопровождалось все это какими-то неопределенными поисками неизвестно чего. Конечно, прежде всего – любви. И, конечно, прекрасного принца. После окончательного расставания с Яшей и короткого увлечения Ми-

шей я ни с кем не встречалась. Я не влюблялась в артистов и в то же время не знакомилась на улице и не ходила на танцы в клубы или парки. Читала много и по-прежнему беспорядочно. Ходила в театры и на концерты, но весьма слабо училась в школе, да и дружба сохранялась только с Милой Б. и Ильей. Отношения с мамой становились все хуже. Я мало бывала дома, не участвовала в домашних делах, была груба, высокомерна, но при этом принимая еду и заботы мамы и Зины. К концу девятого класса я почти совсем перестала заниматься, получала плохие отметки. Постепенно созревало желание уйти из школы, чтобы меня по крайней мере не упрекали в безделье. Должна сказать, что, если бы я старалась учиться, мама и Зина меня бы охотно поддержали. Но так как этого не наблюдалось, мама тоже сочла, что мне надо работать. Устроиться на работу мне помог Н. Б. Г., и я пошла на картографическую фабрику, где зарисовывала голубым реки, а красным дороги.

Эпилог о долгой жизни, о семье и друзьях. Благодарности

Наш друг Люша Чуковская, прочитавшая эти воспоминания, посоветовала написать о моей дальнейшей судьбе. Постараюсь выполнить эту трудную задачу. Итак, после девятого класса я устроилась работать. Шел 1936 год. Учиться я не умела. Мой первый роман закончился. Дружба с подругой иссякла. Из театральной студии Серпинского, поняв, что у меня нет артистических данных, я ушла. С мамой продолжалось взаимное непонимание. Вечера я проводила в театре, у друзей и знакомых, на концертах, в кино и в шатаниях по улицам. Через год, осознав, что школу надо окончить и поступить в университет, я записалась в десятый класс вечерней школы. Удивительно, но школу я закончила даже отличницей, по-видимому, не в малой степени из-за того, что другие учащиеся были уж совсем неподготовленными.

Так, в метаниях и поисках я поступила на мехмат МГУ. Проучилась там год. А в 1937 году произошло знаменательное событие в моей жизни – на первом исполнении Пятой симфонии Шостаковича я познакомилась с Михаилом Литвиновым, моим будущим мужем. Вся их семья любила музыку и часто бывала на концертах. Миша учился на мехмате. До поступления в МГУ он закончил авиационный техникум и работал в конструкторском бюро на авиационном заводе. Кроме того, он окончил летную школу и был пилотом-инструктором и планеристом. Мать Миши, Айви, англичанка, вышла замуж за революционера Максима Литвинова, когда он жил в эмиграции в Лондоне. Там у них родились двое детей – Миша и Таня. Хочу сказать об Айви Вальтеровне. Ее оригинальное мышление, ее постоянные усилия пробить мою неспособность к английскому, а более всего ее внутренняя свобода оказали на меня огромное влияние. Такие же свойства свободной личности передала она Мише и Тане. Таня – переводчица и художница. Дружба с ней, продолжающаяся и в переписке с тех пор, как она поселилась в Англии, – драгоценный дар. Ее дочери Маша и Вера, обе журналистки, – близкие нашей семье люди.

Максим Максимович, после революции вернувшийся в Россию, работал в Наркомате иностранных дел, стал наркомом, но в 1939 году был отправлен Сталиным в отставку. Он ждал ареста и собирался, если это случится, покончить с собой. Он также опасался, что будут арестованы жена и дети.

Тогда-то мы с Мишей и ринулись в загс, чтобы узаконить наши отношения, иначе в случае ареста я не смогла бы узнать о его судьбе в НКВД... Однако ожидаемого трагического разворота событий не произошло.

Наш союз с Мишей длился шестьдесят семь лет.

В 1940 году я родила сына Павла, а осенью поступила на биофак МГУ. С началом войны студенты мехмата, где учился Миша, были отправлены под Смоленск копать окопы. Павлику был год, но я, узнав, что туда едет группа студенток, присоединилась к ним. Однако вскоре я забо-

лела малярией и попала в полевой госпиталь, а оттуда меня отправили в Москву. Через два-три месяца всех студентов мехмата мобилизовали для прохождения ускоренного курса обучения в Военно-воздушной академии им. Жуковского, которая тогда была переведена в Свердловск. Когда грянула война, политика Сталина резко изменилась, советско-германский пакт был аннулирован, жизненно необходима стала помощь союзников, и Максим Максимович Литвинов был призван в Кремль. Оставшаяся часть семьи – Айви Вальтеровна, Таня и я с Павликом – уехала в эвакуацию в Куйбышев. Таня вышла замуж за скульптора Илью Слонима.

В Куйбышеве судьба свела меня с семьей Шостаковичей. Об этой дружбе я рассказала в очерке «Вспоминая Шестаковича», помещенном в этой книге.

Осенью 1941 года Максима Максимовича назначили послом в США в ранге заместителя наркома иностранных дел. С ним уехала и Айви Вальтеровна. Они прибыли в США на следующий день после нападения на Пёрл-Харбор.

В 1943 году мы с Павликом вернулись в Москву. В том же году Максим Максимович был отозван в СССР, передислоцировалась в Москву и Академия Жуковского. Так воссоединилась наша семья. Жили все вместе – Максим Максимович и Айви Вальтеровна, мы с Павликом (а после войны с Мишей), Таня с мужем Ильей Слонимом и родившимися позже девочками Машей и Верой – в громадной шестикомнатной квартире в «Доме на набережной».

После двухлетнего перерыва я вернулась в университет. В 1944 году с группой студентов биофака я поехала в Киргизию. Там на границе с Китаем находилась высокогорная противочумная станция. Эта экспедиция оказала на меня огромное влияние. Я была потрясена величием гор, условиями жизни, когда наше пропитание зависело от охоты на архаров, но через полгода я поняла, что экспедиционная жизнь в разлуке с мужем и сыном для меня очень тяжела. Миша в это время был на фронте, а Павлик

с моей мамой на даче. В экспедиции я получила известие об аресте нашего друга Миши Левина и его товарищей Юлия Дунского и Валерия Фрида. Обвинения против них были тяжкие – попытка покушения на Сталина.

Годы войны – годы потерь. По-видимому, в середине 1942 года погибла моя старшая сестра Зина. Погибли восемь из десяти мальчиков нашего класса, в том числе и моя первая любовь Яша Яблонский. Не вернулись с войны многие наши с Мишей друзья из университета...

В 1945 году у нас родилась дочь Нина, пожалуй, к этому времени мы дозрели до того, чтобы насладиться родительскими заботами. Я пропустила еще год и в результате окончила биофак только в 1948 году.

Последние годы в университете я с увлечением занималась физиологией сердца и нервной регуляцией кровообращения. Кроме того, мы были вовлечены в разгоревшуюся жестокую борьбу генетиков биофака с Т.Д.Лысенко и его последователями. Моим руководителем был профессор М.Е.Удельнов, вокруг которого создался довольно сильный коллектив молодых ученых, многие из которых впоследствии стали известными исследователями.

О том, как меня не приняли в аспирантуру, как я и несколько учеников М.Е.Удельнова оказались в маленькой лаборатории Боткинской больницы и о трагических событиях того времени я расскажу в мемуарном очерке «Вокруг “дела врачей”».

В 1962 году я перешла на работу в лабораторию физиологии Института кардиологии, где консультировал М.Е.Удельнов, собравший вокруг себя дружный коллектив исследователей (А.В.Трубецкой, Б.С.Кулаев, Д.Л.Длигач, Е.Б.Новикова и другие).

Кандидатскую диссертацию я защитила по теме «Электрическая активность афферентных волокон сердца в норме и при экспериментальном инфаркте миокарда». В развитие этого направления защитили кандидатские диссертации еще два сотрудника нашей лаборатории. В еженедельно проходивших у нас семинарах участвовали ученики М.Е.Удельнова из МГУ – будущие ученые

Л.М.Чайлахян, И.А.Кедер-Степанова, Ю.Аршавский, С.А.Ковалев. С Сергеем Ковалевым впоследствии подружились наши дети Павел и Нина.

В 1976 году мне предложили уйти с работы – обстановка в институте была такова, что я с моей биографией была там нежелательна. Арест и заключение сына и последующая его эмиграция, наше общение с диссидентами, встречи с иностранцами и связь с иностранными учеными не нравились дирекции института. Уход с работы был для меня ударом.

В это же время тяжело болела моя мама. Она дожила до девяноста двух лет, и все наши друзья вспоминают речь, которую она произнесла в день своего 90-летия.

Миша после демобилизации работал в закрытых научно-исследовательских институтах авиационной промышленности (ЦАГИ, ЦИАМ). Он был автором крупных изобретений, защитил кандидатскую диссертацию, но потом увлекся дизайном, а позже бумажным моделированием, уходящим корнями в старинное японское искусство оригами. Он преподавал моделирование из бумаги в художественном институте. В 1987 году Миша при поддержке Фонда Сороса и посольства Японии организовал клуб оригами, объединивший людей, заинтересованных в развитии этого искусства в России. В этом клубе проходили выставки, там обучали детей и взрослых, издавали книги. За двадцать лет работы клуба оригами широко распространилось в нашей стране. К глубокой нашей печали, Михаил Максимович скончался в ноябре 2006 года.

Сын Павел окончил физфак МГУ и преподавал в Ломоносовском институте. В 1960-е годы он стал одним из активных диссидентов, открыто высказывающих свои взгляды. За ним установили слежку, а после опубликованного в иностранной печати и переданного по «Голосу Америки» обращения Ларисы Богораз и Павла к мировой общественности о нарушениях законности в политических процессах следователями КГБ его уволили с работы. Он также участвовал в создании первых номеров «Хроники текущих событий» – машинописного издания, расска-

зывающего о политических репрессиях в СССР, и составил два самиздатских сборника документов, касающихся политических процессов в СССР.

Переломным для всей нашей семьи было участие Павла совместно с Ларисой Богораз, Натальей Горбаневской, Константином Бабицким, Вадимом Делоне, Владимиром Дремлюгой, Виктором Файнбергом в демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. Все участники были арестованы и осуждены. Павла сослали в Читинскую область, в шахтерский поселок, где он работал электриком. За ним в ссылку поехала его жена Майя Копелева с сыном Димой. Там родилась их дочь Лара. По счастью, условия ссылки позволяли не только нам, родным, но и друзьям навещать их и поддерживать как морально, так и материально. Вернувшись из ссылки, Павел продолжал участвовать в правозащитном движении, и под давлением КГБ ему пришлось эмигрировать. С 1974 года он живет в США, работает в школе преподавателем физики и математики, активно занимается правозащитной деятельностью.

Наша дочь Нина и ее муж Евгений Сыроечковский – биологи. Нина морской биолог, Евгений орнитолог. Они много работали в экспедициях. К нашей радости, мы живем рядом и общаемся с ними ежедневно. Они оба – самые близкие мне люди.

У меня несколько внуков: Сережа – старший сын Павла, очень близкий мне по духу человек; дочь Павла Ларочка, психолог, живет в США; Дима, приемный сын Павла, живет с семьей в Швеции и работает в организации Greenpeace; Артем, сын Нины и Гени, занимается бизнесом, его постоянную теплоту и помощь я ощущаю ежедневно. И еще у меня девять правнуков. Из всех правнуков я больше всего общаюсь с Марусей Сыроечковской, дочерью Артема и Оли, и мне приятно было узнать, что ей интересны эти воспоминания.

Теперь о друзьях. Мы всегда были счастливы с ними. К сожалению, многих из них уже нет в живых, и их отсутствие я чувствую постоянно. С Ларисой Богораз наша

дружба началась в 1966 году, с первой же встречи. Это было во время суда над Синявским и Даниэлем. Лара поразила меня своей беззаветной преданностью делу свободы и удивительной храбростью в его защите. Блестящий ум, искренность поступков этой героической женщины восхищали.

Посмею сказать, что и к нам она относилась очень дружественно, как и ко всей нашей семье. В 1967 году Лара активно включилась в правозащитную деятельность, которая продолжалась до конца ее жизни. Здесь же должна я упомянуть Толю Марченко, умершего в заключении. О его голодовке и смерти я написала отдельно. Очерк помещен в этой книге.

Так случилось, что несколько наших друзей стали друзьями и наших детей. Один из них Сергей Ковалев. По дороге из экспедиции на Дальнем Востоке он заехал к Павлу, находившемуся в тот момент в ссылке в Читинской области. Это совпало у Сергея с возросшим интересом к правозащитной деятельности. Вместе с Татьяной Великановой, Александром Лавутом и несколькими друзьями они стали выпускать «Хронику текущих событий». С Сашей и Симой Лавутами нас также до сих пор связывает большая дружба.

Евгений Александрович Гнедин – друг 1960-х годов. Дипломат, близкий сотрудник М.М.Литвинова, он был арестован и шестнадцать лет провел в лагерях и ссылках. Вернувшись, он стал публицистом, общественным деятелем и литератором, печатался в «Новом мире», участвовал в защите И.Бродского, А.Некрича, писал о тайных переговорах советского правительства с Гитлером. Мы все очень любили этого умного теплого человека.

Погиб в горах наш друг физик Кот Туманов.

В1992 году умер Миша Левин, крупный ученый-физик. Он обладал исключительными знаниями в области истории и литературы. Дружба с ним продолжалась всю жизнь.

Нет больше с нами моего школьного друга Ильи Нусинова, драматурга и сценариста, о котором я уже писала.

Тесная дружба связывала меня с соавтором Ильи Семеном Лунгиным и его женой Лилей, известной переводчицей, теперь уже покойными. Не могу не вспомнить недавно ушедшего от нас поэта Владимира Корнилова. Дружба с ним и его женой Ларой Беспаловой постоянно поддерживала меня в моей работе.

На первом курсе университета в 1940 году мы подружились с Маришей Варга. Она до сих пор работает, и мы, теряя все больше друзей, все больше ценим возможность встречаться и общаться друг с другом. Сыновья Ларисы Богораз Александр Даниэль и Павел Марченко – также близкие нам люди. Я всегда благодарна Сане помощь и советы в моей литературной работе. Я горжусь дружбой с Сергеем Ковалевым, который за издание «Хроники текущих событий» был репрессирован на долгие годы вместе с Татьяной Великановой и Александром Лавутом.

Наша семья была близка с семьей Чуковских. Сначала Корней Иванович познакомился с Айви Вальтеровной, он приветствовал ее переводы на английский его детских стихов. И Мишина сестра Таня начала свою переводческую деятельность под руководством Корнея Ивановича. Неизменное восхищение и безмерное уважение вызывала Лидия Корнеевна Чуковская. Дружба с внучкой Корнея Ивановича Люшей началась много лет назад. Тогда она была еще ученым-химиком, однако постепенно литературные труды стали основным ее делом, в котором она проявляет талант и исключительную результативность. Наша дружба связана со многими перипетиями, случавшимися в наших семьях.

Очень не хватает мне сейчас моей близкой подруги Лизы Новиковой. Это блестящий ученый и экспериментатор, исключительно добрый и умный человек. Лиза, ее муж Феликс Мещанский, ученый-геодезист, и вся их семья сейчас живут в Бостоне, но связь с ними не прерывается.

Замечательна семья Кутиковых. Дом Нели и Лени в Быкове стал центром дружеских, художественных, поэтических и музыкальных встреч.

Давний и большой наш друг Эмма Брук, постоянно помогающая нам во всех жизненных обстоятельствах.

Кинорежиссер Виталий Фетисов, создавший несколько короткометражных фильмов о жизни и творчестве М.М.Литвинова, стал на долгие годы близким человеком всей нашей семье.

Большую роль в нашей жизни сыграла дружба с Левой и Симой Гогишами.

Хочу вспомнить старых друзей Наташу Абрамову, преподавателя французского, и Лилю Туманян, композитора, друзей с полувековой историей.

Старинные мои друзья – Рубины, покойный Виталий и живущие в Израиле Мария и Инна. Переписка с ними поддерживает нашу дружбу.

И наконец, я хочу сказать о приобретении последних лет – Люде Абрамовой. Ее неизменная теплота помогает пережить мне тяготы быстротекущей жизни.

Есть у нас и американские друзья – Джилл и Эд Клайны, чью помощь и дружескую поддержку наша семья чувствует постоянно.

Боюсь, что не упомянула всех друзей, сопровождавших нас в жизни.

Эти воспоминания я писала с большими перерывами в течение многих лет. Все написанное читали мои родные и друзья. Многие их советы и замечания я использовала.

Кроме тех, кого уже упомянула, хочу назвать Миру Мстиславну Яковенко и ее дочь Ольгу Яковенко, чьи ценные советы я приняла с благодарностью. Благодарю Ольгу Блинкину, разобравшую и ксерокопировавшую Зинины письма. За помощь в работе над корректурой этой книги большое спасибо Галине Клювезаль.

Симе и Саше Лавут и всей их семье я искренне признательна за постоянную поддержку и интерес к моей работе.

Хочу поблагодарить Ольгу Максакову и Юрия Ларина за помощь в трудные минуты.

Я очень благодарна моему мужу Мише и дочери Нине, без помощи которых эти воспоминания не были бы написаны. Особенно благодарю моего внука Артема за поддержку в публикации этой книги.

Вспоминая Шостаковича

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

Мелодия была веселая, задорная, легко запоминалась. Тридцатые годы. Дымящие трубы новых заводов, плавится металл, герои труда выполняют пятилетку в четыре года... И звучит задорная песенка – в Советском Союзе появилось звуковое кино. С каждым фильмом в жизнь страны входила песня. Их запоминали, пели, они были частью нашей культуры, нашей жизни. Любимой была песенка Паганеля из фильма «Дети капитана Гранта»: «Капитан, капитан, улыбнитесь...»; пели песню из «Златых гор» в народном стиле. Но по популярности всех превзошла песенка из «Встречного». Она отражала энтузиазм той трудной, но в нашем сознании героической и прекрасной эпохи. С нею мы пололи грядки и ворошили сено в пионерских лагерях, собирали металлолом, разводили костры.

Новой встречей с музыкой Шостаковича была «Леди Макбет Мценского уезда». Встреча эта произошла случайно. Наша учительница пения, человек старой культуры, делала очень много для музыкального воспитания ребят. В те времена мало у кого было дома фортепьяно, а еще реже – граммофон с пластинками. Радиоприемники были большой редкостью. А Вера Ивановна учила нас петь хорошие песни: Шуберта, Глинки и народные, даже многоголосные хоры из опер. Она же на примере Пятой симфонии Бетховена объясняла нам принципы построе-

ния симфонии, сопровождая объяснение игрой на фортепьяно. Затем она купила нам билеты на концерт в консерваторию, где исполнялась Пятая симфония. Тогда билеты на галерею стоили 20 копеек. До этого о существовании консерватории я и не подозревала. Моя мама работала швеей на фабрике, а отец с нами не жил. В театр я все-таки ходила. Театр вообще занимал большое место в нашей жизни. И драматический – с разбросом вкусов от Художественного и Малого до Вахтангова и Мейерхольда, и оперные постановки, и балет в Большом и в театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Это было в 1933 или в 1934 году. Я пошла на «Евгения Онегина» в театре Станиславского. Вместо «Евгения Онегина» была объявлена «Леди Макбет Мценского уезда» Дм. Шостаковича. Я не знала современной музыки, да и не стремилась ее узнать: меня вполне устраивал Чайковский – его оперы, симфонии. Слушала я и Бетховена, Моцарта, Гайдна.

Уходить домой не хотелось. Решила пойти на неизвестный мне спектакль. Поначалу многое в нем казалось мне диким, обнаженным, негармоничным. Музыка не ласкала слух. Но постепенно меня захватили ее необычная сила, драматизм, сарказм, игра артистов, декорации и постановка. При ханжестве тех времен сцена в спальне вначале шокировала, но в ней ощущалась подлинная страсть, выражавшаяся совершенно необычной музыкой. Несмотря на классический сюжет, это была новая музыка...

Я пошла и на следующий спектакль. И оказалась не единственной поклонницей «Леди Макбет». Образовалось что-то вроде сообщества околотеатральной молодежи. Многие ходили на спектакль по нескольку раз. Были такие, которые знали оперу почти наизусть, ездили слушать ее в Ленинград, в Кировский театр, сравнивали обе постановки. Оперу ставили и в других городах. Поставили и в Большом театре! Как писал Соллертинский, можно утверждать с полной ответственностью, что в истории русского музыкального театра после «Пиковой дамы»

не появлялось произведения такого масштаба и глубины, как «Леди Макбет Мценского уезда».

И вдруг – удар. В январе 1936 года в «Правде» появляется редакционная (без подписи) статья «Сумбур вместо музыки». В ней говорилось, что опера Шостаковича чужда советскому народу и представляет собой отвратительную какофонию. Вскоре появляется другая статья – про балет Шостаковича – «Балетная фальшь». Годы шли суровые: обрушились репрессии на «формалистов» в искусстве. В газетах и на собраниях громили художников, писателей, режиссеров.

Помню, пошла я на лекцию Мейерхольда «Мейерхольд против мейерхольдовщины». Я очень любила его театр и посещала его постоянно. Уже тогда я понимала, что лекцией этой замечательный режиссер тщетно пытается спасти свой театр. Но театр закрыли...

Щемящее воспоминание: начало улицы Горького, у входа в бывший театр Мейерхольда стоит грузовик, а на нем навалом голубые с белым креслица из «Дамы с камелиями»... Мейерхольд арестован, Зинаида Райх, его жена, актриса театра, – убита в квартире при таинственных обстоятельствах.

Мы уже знаем, что это значит – разносная редакционная статья в «Правде». Ходят слухи, что ее санкционировал сам Сталин. Он посетил спектакль, сидел в ложе над оркестром и ушел после первого акта разъяренный. Мы опасаемся и ждем ареста Шостаковича... Но время идет, и ничего такого не слышно. Напротив, на экраны выходит фильм «Подруги» с его музыкой.

Позднее Дмитрий Дмитриевич острил: «В то время меня кормили сперва “Подруги”, а потом “Друзья”» (это были фильмы тех времен). Значит, жив! И вдруг до нас доходит новость: Шостакович написал Пятую симфонию. Ее с триумфом исполняет оркестр Мравинского в Ленинграде. И хвалебная, восторженная рецензия в той же «Правде». Симфонию оценивают как отражение нашей великой эпохи, ее борьбы и побед. Значит – милостиво прощен!

И вот январь 1938 года. Первое исполнение симфонии в Москве. Дирижирует Гаук. Я была на первом исполнении. Музыка потрясла. Это была музыка нашего поколения, наша музыка. Шостаковича – я видела его впервые – многократно вызывали. Он выходил, смущенно раскланивался, как-то неуклюже взмахивал руками, обращаясь к оркестру, обнимал вальяжного Гаука.

Этот концерт много значил и в моей личной судьбе: в фойе Большого зала консерватории я встретила Мишу Литвинова, которого до этого видела на лекциях в университете. Миша шел с красивой седой дамой и стройной девушкой. Все трое были похожи друг на друга и оживленно говорили по-английски. Встретившись со мной, Миша поздоровался. На следующий день, столкнувшись возле аудитории, он спросил: «А сегодня вы будете на Пятой?» «Конечно», – ответила я. После концерта Миша проводил меня...

Мы поженились в мае 1939 года. В 1940-м у нас родился сын Павел.

Еще одно воспоминание, связанное с Шостаковичем. Мишин отец Максим Максимович Литвинов был народным комиссаром по иностранным делам до мая 1939 года. Однажды он рассказал Мише, что Шостакович был у него как у депутата Верховного Совета СССР от Ленинграда – просил помочь мужу сестры, известному физику Фредериксу, который был арестован и находился в крайне тяжелых условиях в одном из лагерей на Крайнем Севере. Максим Максимович сокрушенно посетовал: «Конечно, я попытаюсь что-нибудь выяснить, но помочь не в моих силах».

1940 год. Осень. В Политехническом музее исполняется недавно законченный Шостаковичем квинтет. Мы с Мишей рвемся в зал. Толпа. Народ с билетами и без. Как всегда в день первого исполнения, царит обстановка приподнятости и торжественности. И вдруг видим: через толпу пробивается сам Шостакович. Он совсем близко от нас. Рядом с ним женщина с блестящими светлыми волосами. Люди расступаются. Все смотрят на них...

Успех квинтета был огромным. Играли прекрасные музыканты, Бетховенский квартет – Борисовский, братья Ширинские, Цыганов, партию фортепьяно исполнял сам Шостакович.

1941 год. Война. В нашей семье большие перемены. После двухлетней опалы Максима Максимовича, смещенного со своего поста, как я уже говорила, в мае 1939 года, перед заключением Пакта с Германией о ненападении, вызвали в Кремль и предложили работать...

Летом Миша и я вместе с другими студентами университета рыли окопы под Смоленском. Но немецкие войска стремительно наступали, и мы, катясь к востоку, вернулись в Москву. Часть студентов и среди них наши друзья Рома Х., Абрам Ж., Володя Ш. ушли в ополчение. Еще летом Мишина мама Айви Вальтеровна эвакуировалась с нашим годовалым сыном Павликом в Куйбышев. Туда переехали некоторые правительственные учреждения. Фронт неудержимо движется к Москве. Мишу вместе с другими студентами-математиками и физиками отправляют в Свердловск для ускоренного прохождения курса в Военно-воздушной академии. К середине октября немецкие армии у окраин Москвы. 14 октября 1941 года в разгар паники, охватившей столицу, Максим Максимович отправляет меня с Павликом и Мишину сестру Таню в Куйбышев. Едем в тревожно-мрачном настроении: мы хотели остаться в Москве, участвовать в ее обороне. Трагизм происходившего мы полностью не осознавали. Было ощущение дурного сна, а не реальной опасности. Мы не взяли с собой даже зимних пальто... Меня провожала мама. Она привезла на вокзал чемодан с вещами для Павлика. Там лежали пижамки, рубашки, штанишки, сшитые ею на вырост, три пары ботиночек разных размеров. «Ты не знаешь, что такое война, – говорила мама. – Скоро все исчезнет, не будет ничего. В Гражданскую войну не было ни соли, ни спичек, не говоря уже о хлебе».

Вскоре в Куйбышев приехал и Максим Максимович. Мы все разместились в трехкомнатной квартире. Для семьи непривычно, но по условиям войны – роскошно. Все

дома в центре города были освобождены. В них разместились правительственные учреждения и эвакуированные. Наш дом располагался напротив театра. Неподалеку, на высоком берегу Волги, городской сад (бывший Купеческий). Жизнь непонятная – без Миши, без университета, в постоянном тревожном ожидании сводок Информбюро, новостей с фронта, которые не радовали. Я чувствовала себя растерянной. Единственным близким и организующим существом был Павлик, который начал ходить и говорить. Мы много с ним гуляли. Вести и письма с фронта приходили нерегулярно. Появлялись и исчезали люди. Большинство ожидали скорого конца войны и нашей победы. Воспитанные на высказываниях Сталина вроде: «Войны мы не хотим, но ни одной пяди своей земли не отдадим никому», мы были уверены в несокрушимости нашей военной мощи. Однако Максим Максимович был не столь оптимистичен. Он считал, что война будет долгой и изнурительной, что возможен откат наших войск за Урал.

Вскоре в Куйбышев приехал скульптор Илья Львович Слоним, друг Тани. Он был короткое время в ополчении, затем его из-за плохого зрения актировали, и он направлялся к родным в Ташкент. Он задержался у нас, и вскоре они с Таней поженились.

В начале ноября Сталин решил направить Максима Максимовича послом в США, считая Литвинова наиболее подходящим посредником между СССР и Соединенными Штатами. Литвинов был хорошо знаком с президентом Рузвельтом еще с 1933 года, когда были установлены дипломатические отношения между обеими странами.

В квартире после отъезда родителей остались Таня со Слонимом и я с Павликом. Слоним сразу же стал работать. Заказал подиум, достал глину, лепил портреты героев фронта и тыла, делал что-то для театра. Быт наш был необычен, для того времени особенно. Максиму Максимовичу обещали, что оставшаяся семья будет получать правительственный паек. К этому времени все товары из свободной продажи исчезли – продукты получали по кар-

точкам. Становилось голоднее и холоднее. Однако наш быт был безбеден.

Ветры войны приносили и уносили друзей и знакомых. Куйбышев был особым городом, чем-то вроде второй столицы. Здесь находились министерства, дипломатический корпус, Информбюро и – как необходимая часть столицы – Большой театр. Вместе с Большим театром приехал художник Петр Вильямс. Его жена Ануся, маленькая актриса-инженю, однажды сообщила нам, что в Куйбышев из блокадного Ленинграда приехал Шостакович с женой и детьми. До этого мы видели его фотографию в пожарной каске на крыше консерватории, охраняющим ее от зажигательных бомб. Читали, что он пишет Седьмую симфонию – о борьбе с фашизмом. Ануся рассказала нам, что вылетели Шостаковичи почти без багажа. Дмитрию Дмитриевичу обещали следующим самолетом привезти мать и сестру, а их все еще нет... Пока Шостаковичи живут в Гранд-отеле – бывшей купеческой гостинице (там поселилась эвакуированная элита), и у детей нет необходимой одежды. Я вытащила приготовленный моей мамой чемоданчик с одеждой и ботиночками «на вырост» и, робея, предложила Анусе передать все это Шостаковичам.

Через день к нам пришла жена Шостаковича – Нина Васильевна. Я узнала ее сразу: помнила ее на лестнице Политехнического в день исполнения квинтета Шостаковича. Она мне очень понравилась: высокий чистый лоб, правильное ясное лицо, светло-карие глаза. Среднего роста, ладно и крепко сложена. Без лишних слов она просто поблагодарила меня за помощь. Я была счастлива. «Вы знаете, мы будем соседями, – сказала Нина Васильевна. – Нам дали квартиру прямо под вами, на первом этаже». И действительно, через несколько дней туда привезли рояль, затем четыре железные, просто спартанские кровати, несколько венских стульев, письменный и обеденный столы, немудреный шкаф. И вот вскоре, приникнув к окну ванной, выходившему на двор, я с замиранием сердца увидела, что по двору идет Дмитрий Дмитриевич, держа

за руки девочку с косичками лет пяти и мальчика, светлоглазого, в черной шубке.

Нина Васильевна зашла ко мне, попросила молоток. Я вызвалась их покормить. «Спасибо, мы последний раз пообедали в Гранд-отеле. Дети, правда, плохо ели, может, им что-нибудь...»

На следующий день нам с Ниной Васильевной удалось купить в универмаге миски, кастрюли, граненые стаканы и кружки. Вскоре и эти предметы исчезли из магазинов, а универмаг стал распределителем, где вещи не продавали, а «выдавали» по ордерам. Мы с Ниной звали друг друга по именам, но на «вы». На «ты» не перешли, даже сблизившись. Во время переезда Шостаковичей Нина Васильевна познакомила меня с Дмитрием Дмитриевичем. Он тоже по-петербургски изысканно поблагодарил меня за помощь. Их квартира была двухкомнатная. В одной стояли рояль и письменный стол, в другой – спали. Я ощущала, что Нина Васильевна относится ко мне с симпатией, я же сразу привязалась к ней. Я испытывала к этой женщине чувство любви и уважения, похожее на то, что испытываешь к обожаемой старшей школьной подруге. Обожание отчасти было и от неосознанного понимания, что она избранница Шостаковича!

Мы часто выходили гулять с детьми Шостаковичей Галей, Максимом и нашим Павликом. Когда Нина была занята, я забирала детей и ходила с ними в сад или на берег Волги. Там проплывали пароходы, сплавляли плоты. После Москвы-реки она казалась непомерно широкой. Совсем далеко, на другой стороне, чернел лес. Простор и тишина. И было очень трудно понять, что где-то идут кровопролитные бои, горят города, гибнут люди, бредут по дорогам потерявшие кров и дом...

Слоним предложил Шостаковичу вылепить его портрет. Дмитрий Дмитриевич пришел на сеанс в точно назначенный час. Сразу же по окончании сеанса мы увидели, что Илья Львович сумел уловить и передать главное в Шостаковиче – его нервность и силу. Илья Львович работал над портретом довольно долго, все был неудовлетво-

рен, а нам казалось, что постепенно портрет делается суше, и то сразу уловленное сходство уходит. Теперь, много десятилетий спустя, я смотрю на этот портрет – одна из отливок, сделанных при жизни Слонима, стоит у нас – и нахожу, что портрет очень удачен. Особенно разительно сходство, когда скульптура отбрасывает тень в профиль на стену. Один из авторских бронзовых портретов Шостаковича находится в Третьяковской галерее, другой – в Ленинградской консерватории.

Приезд Шостаковичей значительно изменил мою жизнь. Я знала, что Дмитрий Дмитриевич заканчивает Седьмую симфонию. Из записей того времени:

«*2 дек.* Сегодня слышала рояль, какие-то явно «шостаковические» звуки. Была ужасно взволнована. Встала у батареи, чтобы услышать получше, – действительно слышно было лучше, но музыка прекратилась, и вскоре я услышала, как Галя с Максимом распевают «Три танкиста, три веселых друга». Мне показалось это кощунством: дети Шостаковича!»

Вскоре Нина пригласила меня к ним на вечер. Я волновалась. Павлик это чувствовал и упорно не хотел засыпать, хотя обычно, набегавшись за день, засыпал сразу. И пела я ему, и рассказывала сказки, но утихомирился он поздно. Я чуть не плакала, слушая веселые голоса и звуки рояля из нижней квартиры. Наконец Павлик заснул, и я, затаив дыхание, сбежала вниз. Застала веселье в самом разгаре. Кто-то из знакомых принес копченую колбасу. Была и водка. Все шумели, болтали. За роялем сидели Дмитрий Дмитриевич и круглолицый Лев Оборин. До этого я видела Оборина только в концерте. Он был превосходным музыкантом и пианистом. Я слышала, что они с Шостаковичем дружат еще с юности, оба они совсем молодыми участвовали в шопеновском конкурсе в Варшаве. Это был первый международный конкурс, в котором принимали участие советские исполнители. Оборин занял первое место, Шостакович получил почетный диплом. Оборин рассказывал, что Шостакович играл на конкурсе превосходно. Успех у публики был громадный, однако по-

ляки никак не хотели, чтобы, кроме первой премии Оборину, лауреатом конкурса стал не поляк...

Когда я вошла, Оборин и Дмитрий Дмитриевич лихо играли и пели песенку из старой оперетки «Пупсик»: «Неважно, что прозвали все Пупсиком меня, мне это имя дали, когда я был дитя»... Все веселились, подпевали, пили и смеялись. Я была смущена, потрясена: как эти пальцы, в этом доме играют такую чушь! И стояла ошеломленная, растерянная. Подошел Оборин. Мы познакомились. Присели к столу. Он налил мне водки. Я пила ее впервые. Было неприятно, но внутри обожгло теплом, и я сразу же захмелела. Мне стало легко, весело, приятно. Исчезли трепет, робость, преклонение. Я почувствовала себя молодой женщиной, которая может нравиться. Дмитрий Дмитриевич продолжал играть какие-то смешные пьески, смеяться и дурачиться. Здесь же, в коридорчике, танцевали. Почему-то особенно помню романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном», который нарочито низким голосом, вероятно подражая кому-то, пел Шостакович, сопровождая пение «разрывающими душу» аккордами.

Еще пел он – не помню точно, в этот или в другой раз – романс «Пара гнедых»; играл и Оборин. Гости еще что-то ели, пили кофе.

В Куйбышеве была кофейная аномалия. К тому времени исчезли все продукты, все было по карточкам или по пропускам, но почему-то еще месяца два, до самого Нового года, свободно и вдосталь продавался кофе в зернах. Время от времени я бегала наверх посмотреть на Павлика, но он мирно спал. Спустившись в очередной раз вниз, я услышала, что Дмитрий Дмитриевич играет какую-то задорную, но «шостаковическую» пьеску. «Это галоп из «Кльопа». Он у меня здорово получился», – сказал он с подчеркнуто мягким «эль» и с ударением на «о». Особенностью его речи, которую отмечают все, было частое повторение слов или фраз. «Здорово получился галоп из “Кльопа”», – услышала я еще несколько раз. Я с восторгом наблюдала не зажатого, сдержанного, нервного,

петербургского Шостаковича, а веселого, молодого, остроумного, шутливого человека. Тогда ему было всего тридцать шесть лет. Он прокрутил в каком-то непонятном па Нину, затем знакомую балерину. Помнится, это была Муза Петрова, славная девушка, которой Шостаковичи симпатизировали.

И тут мне открылось, что Дмитрий Дмитриевич не только великий композитор, трагик и сатирик, автор Пятой симфонии, квинтета и «Леди Макбет», но в нем таится еще и легкий, милый, свойский, веселый и совсем не страшный человек...

«А вы знаете, я сегодня Седьмую совсем закончил», – вдруг тихо сказал Дмитрий Дмитриевич. Весь этот вечер был необычным, невероятным, я чувствовала себя счастливой, везучей, сопричастной чему-то удивительному. В своем дневничке я написала: «28 декабря. Какая я счастливая! Вчера я весь вечер была у Шостаковичей. Дм. Дм. кончил Седьмую. Скоро мы ее услышим. И как было прекрасно и весело».

Писала я эти строчки в очень тяжелые дни войны. Стыдно, но так было.

У Шостаковичей бывало много всякого народу – и друзья, и знакомые, и совсем случайные люди. Жизнь в то время в основном проходила в ожидании сводок Информбюро. В каком-то смысле без быта, хотя быт был тяжел, в значительной степени на виду. Все забредали друг к другу, собирались по поводу и без. Знакомые и знакомые знакомых.

Из людей более близких Дмитрию Дмитриевичу помню кроме Льва Оборина и четы Вильямсов артистку Веру Дулову и ее мужа баритона Батурина. Когда позже Шостакович написал романсы на слова Пушкина, Батурин их исполнил. В разное время появлялись и исчезали Илья Эренбург с женой, кинорежиссер Трауберг, молодой дирижер Кирилл Кондрашин, какие-то милые девушки из балета. Как-то прилип к их семье некий Сосо; по профессии он был музыкантом, но занимался снабжением и что-то подбрасывал Шостаковичам. Возможно, у него

были и другие функции. Заподозрив в нем осведомителя, Нина, не знаю как, но отшила его.

Прошло еще какое-то время. Дмитрий Дмитриевич писал клавир Седьмой. Он собирался сыграть ее Самосуду, главному дирижеру Большого театра. Предполагалось, что именно они исполнят симфонию в первый раз.

Вместе с великими событиями войны в эвакуации шла жизнь, весьма далекая от жизни семьи Шостаковичей в Ленинграде, где у них была большая квартира, няня и домработница. Здесь они жили весьма скученно. В маленькой кухне стояла плита, но ее топили к обеду. По утрам Дмитрий Дмитриевич бежал через двор с двумя чайниками в подъезд, где был установлен титан с кипятком. Я ходила за кипятком редко, но однажды, зайдя в титанную, увидела там Дмитрия Дмитриевича, а рядом балерину Г. в заграничном халатике. Она лепетала: «Вы знаете, Дмитрий Дмитриевич, в газетах написано, что выдвигают кандидатов на Сталинскую премию. Но ведь у нас в балете нет никого, кто бы был достоин...» (кажется, Шостакович входил в комиссию по присуждению Сталинских премий). Он что-то пробормотал в ответ. Когда мы вышли во двор, Дмитрий Дмитриевич, криво усмехнувшись, произнес: «Я, конечно, должен был сказать: «Как нет достойных? А вы? Ваше несравненное исполнение Дульсинеи в “Дон-Кихоте”?»

Пожалуй, самым ненавистным Шостаковичу в людях была пошлость. В музыке для Дмитрия Дмитриевича ее воплощал Минкус. «Но балерины и балеруны, – говорил он, – обожают Минкуса». Шостакович любил балет. И свои балеты тоже. Но об артистах балета говорил: «Наверное, я предвзят, но вот однажды зашел я к М. (это замечательный артист, хореограф и, говорили, умный, образованный человек), смотрю, он лежит и читает книгу. Я поймал себя на том, что удивился: читает книгу! Ведь такие артисты должны думать ногами, в крайнем случае руками...»

С Ниной Шостакович мы все больше сближались. Говорили о многом. Она рассказала и о своих родителях –

об отце, Василии Васильевиче Варзаре, старом петербургском инженере, о маме, Софье Михайловне. Софья Михайловна была астрономом. Она окончила Бестужевские курсы – первое в России женское высшее учебное заведение. Рассказывала Нина о своем детстве. Были три сестры Варзар. Все способные, интересные и известные всему Петербургу. Нина училась в музыкальной школе, хорошо играла на фортепьяно. «Теперь я не играю, Митя не любит дилетантства», – с грустью добавила она. Нина занималась и в балетной школе, однако к шестнадцати годам у нее сформировалась крепкая, но не изящная фигура, и она, увлекшись науками, бросила школу, поступила на физический факультет Ленинградского университета.

Это были годы расцвета ленинградской физической школы, возглавляемой Иоффе. Вместе с Ниной учились Ландау, Гамов, Алиханов и Алиханян – будущие физики мирового класса. «И в такой компании, – с гордостью сообщила Нина, – я была одной из лучших студенток». По окончании университета Нина стала успешно работать в одной из физических лабораторий. В эту пору она встретила Шостаковича, и вскоре они поженились. «Едва я приходила на работу и начинала эксперимент, как Митя звонил и спрашивал, когда я вернусь. Он не любил, да и сейчас не любит, когда меня нет дома. Даже когда сам уходит, хочет знать, что мы дома: чтобы вернуться, а дома – жена, дети». Она рассказала, что однажды они всерьез разошлись, даже развелись официально. О причине развода не говорила. Но вскоре, добавила Нина, они поняли, что не могут друг без друга, и снова соединились. На этот раз Нина взяла фамилию Шостакович. Вскоре, в 1936 году, родилась Галя, а через два года – Максим.

Нина рассказывала много и охотно, но никогда (и, мне кажется, не только со мной) отношения не переходили в ту женскую дружбу, когда вываливается подноготная событий, ссор, влюбленностей, обид и доказательств своей правоты. Нина была сильной, уверенной в себе женщиной и, я думаю, не нуждалась в отношениях такого типа. Мы жили рядом и в тот период виделись почти ежедневно.

Жизнь семьи Шостаковича протекала на моих глазах. Нина была ее оплотом и опорой.

Дмитрий Дмитриевич по своему характеру и воспитанию совершенно не умел отказывать людям. Он многим помогал и часто попадал в руки настырных, беззастенчивых субъектов. Он сам говорил как-то: «Когда ко мне пристают, я хочу только одного – чтобы этот человек поскорей ушел от меня, я тогда готов что угодно подписать, что угодно отдать». В осень нашего знакомства к Шостаковичу приходил один известный драматург и либреттист. Он домогался, чтобы Дмитрий Дмитриевич написал музыку к либретто его оперетты. «С моим текстом, актуальностью темы и вашей музыкой, Дмитрий Дмитриевич, – говорил он, – ее будут ставить по всему Союзу...» Дмитрий Дмитриевич оставил либретто у себя: «Я прочту, ознакомлюсь...» Оперетта Шостаковичу не нравилась, а либреттист ходил и ходил, добиваясь своего. Наконец Нина, провожая Дмитрия Дмитриевича в Москву, сказала: «Не беспокойся, Митя, я с ним поговорю». В оставленной Шостаковичем записке о делах – Нина, смеясь, показала ее мне – было написано: «Либреттиста слать к е... матери». Не в такой четкой форме, но Нина либреттиста отшила. Он больше не приходил, оставив на память шелестящую и довольно слепую рукопись. Рукопись пригодилась: туалетной бумаги тогда не было. Обиженный автор и другие «обиженные» Ниной люди ее не любили. Говорили, что именно она вершит дела Шостаковича. И когда он кому-то отказывал, объясняли это ее влиянием. Иногда Нине приходилось довольно решительно отваживать кого-либо. Тогда лицо ее становилось непроницаемым, и я удивлялась ее неколебимости и жесткости слов и речи. Мне думается, Нина осуществляла желания Дмитрия Дмитриевича, сам он был на это неспособен. К людям близким Нина без лишней сентиментальности и лишних слов относилась заботливо и приветливо, это я на себе ощущала неоднократно. Сама же я в то время была влюблена во всю семью Дмитрия Дмитриевича – в Нину и детей.

Ниной я восхищалась, находилась под громадным ее влиянием. Меня поражали незаурядный и независимый ум, воля, характер, решительность и спокойствие этой женщины. Я в то время, в разлуке с Мишей, без университета и друзей, чувствовала себя неуверенной, неприкаянной. Часто гуляла с Павликом, Галей и Максимом. Читала им, играла с ними. Я была уверена, что дети Шостаковича должны тоже быть необыкновенными, такими они мне и казались.

Дмитрий Дмитриевич тоже привык ко мне, был приветлив, но разговаривали мы мало и случайно. Он непрерывно работал, много было у него всяких дел и встреч. Вероятно, впервые Шостакович взглянул на меня внимательно, когда он упомянул Малера, а я сказала, что Максим Максимович по просьбе Миши привез ему пластинки «Песнь о земле». До чего же она замечательная! Малера тогда у нас в стране не исполняли: считали формалистом. В Москве музыканты приходили к нам ее слушать... Неожиданно Дмитрий Дмитриевич спросил: «А сколько в ней частей?» – «Пять, вы же знаете, – обиделась я, понимая, что он меня проверяет, не понаслышке ли я о ней говорю. – Пластинка здесь, вы можете послушать, если хотите». Я действительно взяла с собой наши с Мишей любимые пластинки – симфонии Моцарта, Гайдна, Бранденбургские концерты. Привезла я и хороший (по тем временам) патефон. «Вы привезли пластинки? – спросил Дмитрий Дмитриевич. – Я взгляну, что у вас есть». Мы поднялись к нам. В нашей с Павликом комнате кроме патефона и двух коробок с пластинками стояли моя кровать с продавленной сеткой, Павликина кроватка, привезенная из Москвы, стол, стул, кухонный столик с Павликиными вещицами и маленькая полка с немногими книгами. Еще на полу лежал и матрасик, на котором играл Павлик, и машина, сделанная столяром (игрушки уже давно не продавались). Дмитрий Дмитриевич, сидя на матрасике, поставил 41-ю симфонию Моцарта («Юпитер»). Послушав, сложил пластинки обратно в ящик, поблагодарил и ушел. С этого времени он стал от-

носиться ко мне с большим вниманием и теплотой, даже в некотором смысле опекал меня.

В их доме я оказалась самой молодой из всех, кто там бывал. Ему не нравилось, если я слишком флиртовала с кем-нибудь. Как-то, увидев, что я сижу слишком близко с кем-то на кровати (она служила диваном), Дмитрий Дмитриевич подозвал меня. Я почувствовала, что что-то не так. «Флора, зачем вы так? Ведь он будет резонно считать, что вы его провоцируете. Ведь вы этого не хотите?» Я была молода, слегка пьяна и, конечно, не знала, чего я хочу или не хочу.

Дмитрий Дмитриевич старался побудить меня к образованию, к учению. Вскоре после того, как он слушал у меня 41-ю симфонию Моцарта, я сказала, что она одна из любимых наших с Мишей. «Да-да, – живо откликнулся Дмитрий Дмитриевич, – это поразительная симфония, она кажется такой кристально ясной; вы слышите, какая сложнейшая полифония, переплетение тем в последней части?» И он начал вспоминать, употребляя специальные термины. Я слушала, многого не понимая. «Знаете, Дмитрий Дмитриевич, я не изучала теорию музыки, я слушаю, потому что мне нравится. Иногда внимательно слежу за движением звуков, но часто теряю нить и просто о чем-то мечтаю», – призналась я. «Боже мой, Флора! Вы ленивы и нелюбопытны. Ведь все это можно и нужно изучить, понять. Только тогда вы сможете по-настоящему слушать и понимать музыку. Возьмите учебник и учитесь. Это требует усилий, но это постижимо. Вы не представляете, сколько дал мне в консерватории профессор Штеренберг. Он был суров, строг и требователен. Мы разбирали на фортепьяно по нотам всю мировую музыкальную литературу. Многие студенты не любили его классов и говорили: «Он все засушивает, разбирает по косточкам гармонию». Но я и раньше любил разбирать досконально, что и как написано. Это совсем не мешает слушать, наоборот, помогает. Вот теперь в консерваторских классах прослушивают записи изучаемой музыки. Это тоже очень важно – слушать прекрасных дирижеров и исполнителей. Но что-

то теряется по сравнению с проигрыванием клавира симфонии на фортепьяно и изучением партитуры глазами. Та музыка, которая звучит от твоих рук, в твоей голове и душе, несравнима ни с чем».

Хочу добавить: Дмитрий Дмитриевич как-то сказал, что ни одно исполнение его произведений ни у кого из исполнителей не звучало так совершенно, как в его голове.

Дмитрий Дмитриевич любил Гоголя и Чехова. И прекрасно их знал. Читал он невероятно быстро. Однажды, увидев, как быстро перекидываются страница за страницей книги в его руках, я спросила: «Вы проглядываете?» «Я, Флора, понимаете, привык читать партитуры, поэтому я так быстро читаю». По-видимому, он обладал редким даром читать сразу всю страницу.

Чехова он любил не только как писателя, но и как человека, как личность. За то, что он сам стал интеллигентом: «Отец его был лабазник, а он воспитал себя книгами, трудом, постоянной борьбой с собой за себя». Еще он как-то сказал: «А ведь он не любил женщин, он видел их насквозь. Ненавидел в них именно пошлое». Он вспоминал чеховские «Жену», «Ариадну», «Попрыгунью». Недобрым словом помянул и Книппер-Чехову – это было позднее, после опубликования ее переписки с Антоном Павловичем: «Представляю, как бы реагировал Чехов на то, что жена его разоблачается при всем честном народе. Ей должно быть совестно публиковать интимные подробности их жизни. Чехов называл ее «актрисуля». Ведь им как угодно, лишь бы понравиться публике. А народ, толпу хлебом не корми – дай посмотреть, что делается в спальне у знаменитых людей: то же, что у всех, или что-нибудь новенькое изобрели...»

И все-таки больше, чем других русских писателей, Дмитрий Дмитриевич любил Гоголя. Думается, Гоголь был наиболее близок его личности, его таланту. Гротеск, сарказм, прозрение, глубокая печаль, умение видеть людей насквозь и даже злость сочетались в нем с безмерной болью за того же человека. На моей самодельной книжной полочке стояли взятые с собой шеститомник Пушки-

на, «Война и мир» Толстого, томик Тютчева, переводы Пастернака, сонеты Шекспира, Бернс в переводе Маршака, два тома рассказов Чехова и повести Гоголя. Дмитрий Дмитриевич брал у меня все книги. И Пушкин, и Шекспир, и Бернс, и Тютчев претворились в романсы и песни. Однажды он прочел вслух «Портрет» Гоголя. «Когда я писал «Нос», я все думал: надо написать «Портрет» – о трагедии продавшегося художника», – сказал он. Я заметила, что никогда не слышала «Нос». «Пойдемте», – предложил Дмитрий Дмитриевич. Мы спустились к ним, Дмитрий Дмитриевич играл и пел большие куски из своей оперы. Хорошо помню арию Квартального и разговор Ковалева с Носом на фоне литургии. «Ведь вот какая смешная музыка получилась, – улыбался Дмитрий Дмитриевич. – Ведь здорово?» Нина и дети тоже слушали с восторгом, смеялись. Обычно занятый, углубленно работающий или озабоченный, Дмитрий Дмитриевич сейчас был весел и спокоен. Такое случалось редко. Веселел он и от рюмки водки, но обычно вскоре уходил спать. А сейчас был долгий, хороший, какой-то спокойный вечер.

«Сегодня Д. Д. играл нам «Нос». Какая я счастливая. Как мне повезло», – записала я в своем дневничке. Это было в январе 1942 года.

Об удивительной музыкальной памяти Дмитрия Дмитриевича широко известно. Он помнил всю классическую музыку и много современной. Посмотрев партитуру или послушав произведение, он уже его знал наизусть. Как-то зашла речь о его ученике X. Не помню, при каких обстоятельствах, но я до войны слышала арию из его оперы. Я сказала, что мне она показалась ложно патетической. Дмитрий Дмитриевич подбежал к роялю и мгновенно сыграл и спел эту арию: «О, мать!»

Музыкальная память его восхищала, но не поражала. Она казалась естественной, сродни его гению. Но то, что он помнил наизусть прозу, ошеломило меня. Как-то я посокрушалась, что не взяла с собой «Мертвые души», и Дмитрий Дмитриевич начал читать наизусть целые куски. И про бричку, и докатится ли колесо до Москвы...

Смеясь, он прочел отрывок о том, как Чичиков готовился к первой вечеринке: «Он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер он со всех сторон свое полное лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в лицо трактирного слуги...» «Представляете эту сцену? – прервал цитирование Дмитрий Дмитриевич. – Здесь должны быть фагот, труба и барабан. – И продолжал: – «Потом перед зеркалом одел манишку, выщипнув из носу два волоска (опять ремарка: флейта пикколо) и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой»... Затем, когда Шостакович перешел к воспроизведению сцены губернской вечеринки, он давал музыкальные характеристики каждому из действующих лиц в поэме «Мертвые души». Я помню все это довольно подробно, но, конечно, даже по свежим следам не могла воспроизвести: нет ни слуха, ни знаний, ни музыкальной памяти. А в памяти его о событиях звуки играли колоссальную, иногда решающую роль. Из дневника: «Недавний рассказ. Он ехал с кем-то в поезде, в купе. В компании. Пили водку. По проходу на платформе с колесиками двигался безногий инвалид. Морда красная, пел какие-то полупохабные частушки. Подъехал к ним, приостановился. Дм. Дм. налил ему водки в стакан. Они трое чокнулись. “Понимаете, в стаканах разное количество водки было. Получилось трезвучие”».

Памятен вечер первого серьезного контрудара наших войск под Москвой. Впервые с начала войны наша армия и весь народ почувствовали силу и способность отразить врага и победить. После сводки Информбюро – ее проникновенно читал Левитан – все бросились друг к другу. К нам в квартиру прибежали Эренбурги; во всех окнах горел свет. Я кинулась к Шостаковичам, мы выскочили на улицу.

Шли последние дни 1941 года. Нина спросила, не приду ли я к ним на Новый год. Я решила провести Новый год вдвоем с Павликом, хотя где-то маленьким теплым клубочком таилась надежда на новогоднее чудо... В один-

надцать позвонили в дверь. Я затаилась. Но послышался Нинин веселый голос: «Я же знаю, что вы дома. Одевайтесь, спускайтесь к нам». Я мгновенно натянула красивое платье, подаренное Айви Вальтеровной, причесалась и помчалась вниз... Павлик спал в своей постельке.

Не помню ничего, кроме того, что печаль мгновенно исчезла, не осталось следа от томного чувства одиночества. Мною овладело необыкновенное веселье. Дмитрий Дмитриевич что-то играл, и мы пили за победу, за успех Седьмой. Все были в эйфории от наших побед, преувеличенных из-за неосведомленности и непонимания военной ситуации. Меня с Павликом обещали «свозить» на военном самолете в Свердловск, где учился в военной академии Миша. Я была уверена в близкой победе над фашистами. Казалось, что после победы должны будут произойти серьезные изменения и внутри страны. Дальше все должно быть прекрасно! Короче, в это страшное время жизнь казалась мне полной надежд.

Сейчас, когда я все это вспоминаю, я думаю о своем эгоизме, ужасающем непонимании подлинного трагизма всего происходящего не только в стране, но и с моими близкими. Именно в ту страшную осень 41-го погибли почти все мальчики моего класса и многие мои друзья-студенты, вступившие в ополчение... Мне стыдно, но так было.

Вскоре Дмитрий Дмитриевич закончил клавир Седьмой и прослушать ее пригласил к себе Самосуда и друзей. Нина позвала и меня. Я была так взволнована, что не могу вспомнить, кто еще кроме Льва Оборина, Дуловой и Вильямсов был у Шостаковичей в тот вечер. О симфонии говорить не стану. О ней сказано очень много. Но о чем не могу умолчать, это о впечатлении от знаменитой темы первой части. Сначала вроде игрушечная, четкая, несерьезная, она, постепенно разрастаясь, превращается в страшную, все громящую и разрушающую на своем пути силу. Машинообразную, неумолимую. И кажется, нет ей конца, и как будто никто не может ей противостоять...

Когда Дмитрий Дмитриевич кончил играть, все бросились к нему. Он устал и был взволнован. Говорили наперебой. И об этой теме, и о фашизме. Кто-то сразу же назвал эту тему «крысиной». Говорили о войне, о борьбе, о победе... Самосуд сказал, что успех симфонии несомненен: она будет исполняться повсеместно.

Совсем поздно, уложив спать Павлика, я опять заглянула к Шостаковичам – попить чаю. Естественно, опять заговорили о симфонии. И тогда Дмитрий Дмитриевич раздумчиво сказал: «Конечно, фашизм. Но музыка, настоящая музыка, никогда не бывает буквально привязана к теме. Фашизм – это не просто национал-социализм. Эта музыка о терроре, рабстве, несвободе духа». Позднее, когда Дмитрий Дмитриевич привык ко мне и стал доверять, он говорил прямо, что Седьмая да и Пятая тоже – не только о фашизме, но и о нашем строе, вообще о любом тоталитаризме.

В феврале 1942 года репетиции Седьмой шли полным ходом. Самосуд с оркестром работали напряженно, чувствовали колоссальный подъем и ответственность. Все сознавали, что исполнение симфонии во время войны станет и политическим событием. Ее создатель опровергал известное изречение: «Когда говорят пушки, музы молчат». На одну из последних репетиций Нина взяла меня. Мы тихо сидели на хорах. Репетировали 3-ю часть – Ларго. Прозрачность, лиричность и чистота звучали в поразительном дуэте флейты и фагота. Не было в этой музыке бурных эмоций, которые так не любил Дмитрий Дмитриевич и в жизни, и в искусстве. Дважды Самосуд останавливал оркестр, и они повторяли куски. Что-то сказал флейтисту и Шостакович. Затем Ларго исполнили целиком без перерыва. После репетиции уставшие музыканты утирали лица, укладывали инструменты, шумно собирались идти в столовую обедать. Пробежали стайкой из репетиционного зала балерины в трико...

В день первого исполнения Седьмой (это было 5 марта 1942 года) я утром зашла к Нине за билетом. Дмитрий Дмитриевич находился в сильнейшем волнении. Он про-

бежал из одной комнаты в другую, мельком поздоровавшись. Был бледен, сжимал кисти рук. Я взглянула на Нину. Она казалась спокойной и, провожая меня к двери, обронила: «Он всегда такой в день первого исполнения. Ужасно волнуется. Боится провала...» Позже и я это наблюдала, а Дмитрий Дмитриевич говорил, что перед первым исполнением его физически тошнит, едва ли не рвет.

...В театре, где исполнялась симфония, громадное скопление людей. Присутствуют высшие власти, дипломатический корпус, знаменитые и именитые люди. Помню Лозовского, тогда руководителя Совинформбюро, Сурица, Батурина, художницу Ходасевич – высокую, элегантную женщину. Были, конечно, и Таня со Слонимом. Подошли и Нина с Дмитрием Дмитриевичем:

– Я, знаете, сейчас всем оркестрантам подписал программы. Я так подумал, что, если подпишу, каждый немного больше постарается, в результате исполнение будет получше.

Успех был громадным.

Уже в марте Самосуд и Шостакович поехали в Москву – репетировать Седьмую с оркестром Радиокомитета. Летом в Новосибирске Мравинский исполнил ее с оркестром Ленинградской филармонии. Дмитрий Дмитриевич полетел в Новосибирск. Вернувшись, рассказывал, как счастлив был встрече с ленинградскими друзьями-музыкантами. Особенно его радовали интеллигентная атмосфера ленинградской филармонии, встреча с Мравинским и Соллертинским.

О Соллертинском он рассказывал:

– Мы подружились с Иваном Ивановичем молодыми людьми. После какой-то вечеринки прошатались целую ночь и затем встречались несколько лет почти каждый день. Вместе ходили на концерты, слушали музыку, посещали оперу, балет, обсуждали музыку, книги, фильмы, искусство. У него было изумительное качество – пристрастие. Он не мог ни к чему быть равнодушным. Он страстно и пристрастно любил и ненавидел, презирал и восхищался. Конечно, он любил пустить пыль в глаза. Послед-

ние годы мы встречались не так часто. Никто так, как он, не радовался таланту. И еще он любит, глубоко любит и понимает мою музыку. И хорошо пишет о ней.

Безвременная смерть Соллертинского была для Шостаковича громадным горем. Его боль и любовь так чувствуются в Трио памяти Соллертинского...

К тому времени Седьмую исполняли лучшие оркестры и дирижеры всего мира – Тосканини, Кусевицкий, Стоковский, Радзинский...

Уже после постановления о «Великой дружбе» Мурадели и разгрома почти всех советских композиторов кроме Шостаковича и Прокофьева «под руку» попались не только Шебалин, но и совсем уж классический Мясковский. Всех поименованных в том постановлении уволили с работы. Положение их оказалось критическим. Их произведения не исполнялись. Не могли они и преподавать. В тот период начальник Института военных дирижеров генерал Петров взял на работу всех изгнанных – Шостаковича, Мурадели, Шебалина и даже профессора теории музыки в консерватории Л.А.Мазеля, тоже помянутого в постановлении. Дмитрий Дмитриевич был особенно признателен Петрову за то, что он дал работу Шебалину. Шебалин тяжело переживал навалившуюся беду, вскоре заболел и рано умер. Шостакович должен был участвовать в приеме госэкзаменов. Со свойственной ему пунктуальностью и серьезностью по отношению к любому делу учил все науки, по которым экзаменовались курсанты, даже устав музыкальной службы: по какому поводу и что полагается играть военным духовым оркестрам. Он неоднократно повторял: «Генерал Петров – чрезвычайно порядочный человек, чрезвычайно порядочный, я ему бесконечно признателен».

Среди зимы или ближе к весне 1942 года наконец приехали из Ленинграда в Куйбышев мать Дмитрия Дмитриевича Софья Васильевна и сестра Марья Дмитриевна с сыном Митей. Шостакович страшно нервничал и беспокоился об их судьбе. Собираясь их встречать, он все время повторял: «Как они там, в каком состоянии?» Они

приехали исхудавшие, пережив несколько блокадных месяцев. «Знаете, один раз мы ели кошку, – рассказывала Марья Дмитриевна. – Я, конечно, не сказала об этом маме и Мите». Рассказы матери и сестры о холоде и голоде, смерти друзей и близких сильно волновали Дмитрия Дмитриевича. Слушая их, он нервно барабанил пальцами по столу.

Вскоре приехали и Нинины родители – Василий Васильевич и Софья Михайловна Варзар, а также няня, которая нянчила еще девочек Варзар, а после рождения Гали и Максима жила у Шостаковичей до самой смерти.

У общительной Софьи Васильевны было много друзей и знакомых. Дмитрий Дмитриевич внешне походил на мать. Их связывали большая любовь и дружба, однако отношения были не простыми. Также и в отношениях Софьи Васильевны и Нины чувствовались подводные камни. Софья Васильевна всегда говорила о Нине только хорошее, но каким-то образом ее похвала оборачивалась упреком. Какие-то сложности в отношениях с матерью были и у Дмитрия Дмитриевича, хотя он был неизменно почтительным и любящим сыном. После смерти отца Мите, тогда еще подростку, пришлось поддерживать и чуть ли не содержать большую семью – мать и сестер. Софья Васильевна работала кассиршей, заработки были минимальные. Шостакович начал работать тапером в кино. Вспоминал он то время без умиления. Каждый вечер приходилось часами играть бог знает какую музыку, сопровождавшую тогда еще немые фильмы. «Работа эта чертовски изнурительная. Она парализует творчество. И еще что было ужасно – я работал вечерами и не мог ходить на концерты». В результате юный Шостакович тяжело заболел туберкулезом желез, едва не умер и выздоровел только благодаря хлопотам его учителя Глазунова, который добился у высокого начальства для лечения Шостаковича путевки в санаторий в Крым. Там воздух, уход и лечение подняли Д. Д.

Весной 1942 года Шостаковичи переехали в большую квартиру. Там было место и для детей, и для работы. Те-

перь мы виделись реже. Дмитрий Дмитриевич ездил в Москву, в другие города, часто с ним ездила Нина. Всегда, когда они ехали в Москву, я посылала с ними письма и посылки маме. Они никогда не отказывали мне в этом. Но делать это было мне не просто. Хотя мы с Павликом ни в чем не нуждались, парадокс заключался в том, что взять что-либо из продуктов, которые хранила в сундуке под замком Дуся – приставленная КГБ домработница, я практически не могла.

Как только появлялась возможность, я таскала продукты и хранила их у Нины. И когда кто-либо ехал в Москву, отсылала. Посылала посылки с Обориным, с соседкой (ее муж был крупным чиновником) и всегда – с Шостаковичами... Однажды – было такое везение – «заказ» с продуктами пришел в Дусино отсутствие, и я весь его отправила. Это поддержало маму на протяжении весны и лета. Помогли ей и друзья: у них был огород, и лето она жила с ними. Зина, моя сестра, окончив курсы медицинских сестер, ушла на фронт.

В Москве Шостаковичи жили в гостинице «Москва» в двухкомнатном номере, где стояло фортепьяно. Они часто давали моей маме талоны на обед в гостиничном ресторане. Для нее в то время этот обед был лукулловым пиром.

Осенью 1942 года я впервые услышала от Нины, что Шостаковичи собираются переехать в Москву. Ленинград они любили: это был их родной город, город их детства, юности, творчества, первых лет семейной жизни. Многие их друзья погибли на фронте, других арестовали. Но многие все-таки еще были в Ленинграде. Потому решение это далось Шостаковичам нелегко. Однако они понимали, что жить и работать в Москве будет легче.

Весной 1943 года мне удалось ненадолго приехать в Москву. Я навестила Шостаковичей все в той же гостинице. Дмитрий Дмитриевич работал. Я спросила Нину, что он пишет, она махнула рукой:

– А, для кино. Он, конечно, легко это делает, но жалко его времени.

Мы пошли обедать в ресторан. Кормили вполне сносно. Дмитрий Дмитриевич был угрюм, чем-то озабочен. После обеда он вдруг сказал, обращаясь ко мне:

– Зачем вы губы красите, да еще ярко? Вам это совсем не идет...

Нет нужды говорить, как тяжело воспринял Шостакович «ждановское» постановление о литературе. Оно окончательно убедило, что в культурной политике партии после войны ничего не изменится. Дмитрий Дмитриевич ценил творчество и Зощенко, и Ахматовой. Рассказывал, как после выхода постановления он встретил Зощенко в Ленинграде на улице. Зощенко пожаловался, что не может есть. Я знаю, что Шостакович материально помог писателю, хотя никогда не рассказывал об этом.

О встрече Шостаковича с Ахматовой у меня в дневнике запись 1957 года: «Д. Д. в Ленинграде встретил Ахматову. Ее сына наконец выпустили из заключения». Позднее я спросила Шостаковича о стихотворении Ахматовой «Музыка»: я им восхищалась. «Это, конечно, очень лестно, очень лестно», – сказал Д. Д. Я продолжала: «Как она чувствует и любит музыку!» «Да нет, – воскликнул Шостакович, – она любит и чувствует поэзию».

Как-то Дмитрий Дмитриевич рассказал о молодом, невероятно одаренном музыканте – прекрасном виолончелисте и композиторе Ростроповиче:

– Он милостью Божьей талантлив. Я хочу помочь ему вступить в Союз композиторов. Ему нужна квартира. Я давно собирался вас познакомить. Давайте сходим вместе в «Арагви».

Я приняла это предложение с восторгом. Никогда прежде не приходилось мне бывать в этом ресторане, да еще в таком обществе!

Дмитрий Дмитриевич зашел за мной на биофак на улицу Герцена к концу занятий. Мы встретились в вестибюле. Кто-то узнал Шостаковича, и я была очень горда. До «Арагви» мы дошли пешком. У входа встретились со Славой. Он оказался совсем юным, тонким, с вихром и нежным цветом лица. Нас провели в отдельный кабинет,

где поили и кормили как-то невероятно обильно, вкусно и долго. Блюда менялись, менялось вино, посуда. Мне все это очень нравилось. Говорили о предстоящих (кажется, первых) гастролях Ростроповича в Италии, о программе концертов. Обсуждали все это серьезно и неспешно. Кого-то из музыкального начальства ругали, зло, саркастически описывали его бескультурье:

– Ведь это можно подумать, будто нарочно ставят руководить музыкой чиновников, ничего в музыке не понимающих.

– А на изобразительное искусство ставят музыканта? – спросила я.

– Если бы музыканта! А то химика или сапожника. Сегодня получил письмо от Гликмана – так там (в Ленинграде) еще хуже.

Зимой 46-го Шостакович с Мравинским и Ленинградским оркестром гастролировали в Праге. Исполняли Восьмую симфонию. Был большой успех, и вообще Дмитрий Дмитриевич и Нина остались очень довольны этой поездкой. Культура пражской публики, любовь ее к музыке Шостаковича их очень порадовала.

«Вы что-то плохо выглядите, – сказал мне по возвращении из Чехословакии Дмитрий Дмитриевич. – Я думаю, можно достать вам путевку в Дом творчества в Иванове». Я и в самом деле очень устала. Ребенок, занятия. Я поехала туда на зимние каникулы.

Там было замечательно. Снег, лыжи. Патриархально садились за один большой стол, во главе которого восседала директриса. В это время там отдыхали и работали Хренников, ставший известным благодаря музыке к постановке пьесы Шекспира «Много шума из ничего», молодой Карен Хачатурян с женой, профессор Мазель, юный музыковед Светлана Виноградова. Вечерами собирались в большой столовой, иногда музицировали или просто общались. Мазель удачно подражал разным музыкантам, особенно Шостаковичу.

Осень 1947 года. Миша после демобилизации из армии окончил университет. Я делала дипломную работу.

Ниночка (дочь родилась в августе 1945 года), кроме суббот и воскресений, жила у моей мамы.

А на биофаке кипели страсти. Лысенко и его последователи боролись с так называемыми формальными генетиками. Вавилова уже арестовали, но многие ученые-профессора – Серебровский, Завадовский, Сабинин и другие – продолжали работать. Они выступали в печати и в дискуссиях, пытались научные аргументы противопоставить мракобесию. На одной из таких дискуссий на биофаке против Лысенко блестяще выступил профессор Сабинин. Мы восторженно аплодировали и видели, как лицо Лысенко исказила злоба. На последнем ученом совете, в июне, блестяще защитили две диссертации по генетике молодые ученые – Роман Хесин, наш друг, вернувшийся с войны, и Шапиро. Мы весело отпраздновали эти защиты. В пробирках размножались мухи дрозофилы, не ведая, что в советской стране пришел их срок...

Возникшая еще в дни войны традиция встречать Новый год у Шостаковичей сохранялась. В декабре 1947 года Шостаковичи жили в Рузе, в Доме творчества. Настроение было мрачное. Идеологическое наступление шло со всех сторон. В «Правде» появилась статья «Об одной антипартийной группировке театральных критиков». Там писалось: «Критики утеряли свою ответственность перед народом, являются носителями глубоко отвратительного для советского человека безродного космополитизма... Им чуждо чувство национальной советской гордости». Эвфемизм «безродный космополит» попросту означал «еврей». Разоблачали «враждебную сущность космополитов», увольняли евреев с работы, «раскавычивали» псевдонимы.

Под Новый год ударил мороз. Мише нездоровилось, но Нина настаивала, чтобы мы приехали. За нами заехал Алиханян. Садясь в машину, Павлик прищемил палец дверцей. Мы ехали до Рузы долго, в тесноте и очень замерзли.

В доме, где жили Шостаковичи, тоже было холодно, темно и неуютно.

Большая часть живущих в Рузе в Доме творчества музыкантов встречали Новый год вместе, в столовой. Но Нина и Дмитрий Дмитриевич не хотели на люди, хотели быть дома. Из столовой нам принесли праздничный ужин: вино и что-то вкусное, но мрачное настроение не покидало всех. Было невесело и неуютно. У Павлика опухла рука, поднялась температура. Женщина, принесшая очередной поднос с едой, оглядев всех нас, произнесла с укором:

– Да была бы у нас такая выпивка и закуска, мы бы так веселились.

Время было голодноватое. Ей казалось диким, что мы невеселы, когда у нас есть еда. Не знаю, каким образом, но чувствовалось, что опять нависает беда. Что-то носилось в воздухе. И вскоре грянуло...

Запись в дневнике:

«*11 февраля 48 г.* ... Какой ужас! Бедный Д. Д. Ну какой раз его бьют! Сколько может вынести человек, когда ему не дают работать, творить, писать ту музыку, которую рождает его гений?!

Что с ними будет?.. И стилистика все та же – “противники русской музыки Шостакович, Прокофьев, Шебалин... сторонники упадочнической, формалистической музыки... ведут к ликвидации музыки”».

Вскоре начался пленум Союза композиторов. Нина, чтобы как-то оградить Дмитрия Дмитриевича, увезла его в санаторий «Узкое», недалеко от Москвы. Она позвонила мне, пригласила приехать. Застала я их в тревоге, хотя они надеялись, что Дмитрию Дмитриевичу удастся скрыться, не выступить с раскаяньем и осуждением своего творчества. Мы погуляли по тихому лесу. Д. Д. отпускал едкие замечания о соседях-академиках. И я на чьей-то академической машине уехала домой, немного успокоенная.

Через несколько дней я узнала, что убежище Шостаковича обнаружили. Друзья-советчики сказали, что без его выступления не закроют пленум... Он выступил и произнес то, что ему написали...

Я отвозила Ниночку в детский сад.

Соседний с детсадом дом строили пленные немцы. Они часто останавливались, смотрели на детей, говорили: «Киндер, киндер». Я думала: они-то уедут из этого лагеря, а Д. Д. – никогда...

Вот здесь я, пожалуй, и попытаюсь сказать, что думаю обо всех злосчастных выступлениях Шостаковича, о его вступлении в партию, наконец, о его подписи под письмом против Сахарова... Наверное, я не смогу это объяснить внятно, но не сказать ничего я не вправе. Я много об этом думала.

Я прочла книгу Соломона Волкова. К сожалению, давно и по-английски. Должна признать, что значительную часть рассказанных Волковым историй мы тоже слышали от Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич любил, особенно слегка под хмельком, рассказывать всякие истории, при этом мог гиперболизировать, заострять и, конечно, досочинять.

И еще одно – в последние годы жизни Шостаковича мы встречались редко, да и то ненадолго или случайно. И вот однажды при такой встрече Дмитрий Дмитриевич сказал:

– Знаете, Флора, я познакомился с замечательным молодым человеком – ленинградским музыковедом (фамилию этого человека он не назвал). Так этот молодой человек знает мою музыку лучше меня. Он откопал где-то все, даже мои детские сочинения.

Я видела, что такое доскональное изучение его творчества глубоко радует Шостаковича.

– Мы теперь с ним постоянно встречаемся, и я ему рассказываю все, что помню о моих сочинениях и о себе. Он записывает это, и я при следующей встрече просматриваю записанное.

Вспоминаю и другое. В газетах появилась публикация о том, что создано нечто вроде саркофага. И в него положили уравнение Эйнштейна, таблицу Менделеева, анатомический рисунок тела человека и что-то еще. Дмитрий Дмитриевич был этим взволнован и сказал:

– Мне кажется, чтобы дать нашим потомкам представление о нашей цивилизации, нашем времени, туда надо поместить мою симфонию.

Наверное, мои слова ничего не объясняют, но Шостакович боялся. Боялся за детей, за семью, за себя, как за сосуд Божий, у которого единственное предназначение – писать музыку. Шел ли этот страх из детства – не знаю. Как-то он говорил об отчаянии после смерти отца. Вдруг он оказался один в чужом мире, где необходимо было взвалить на некрепкие еще плечи подростка ответственность за мать и сестер. Вероятно, сказался страх из-за исчезновения массы людей, их гибели в лагерях. Кроме того, Дмитрий Дмитриевич был неспособен противостоять нажиму, натиску, наглости. Когда на него наседали, он был готов пойти на компромисс, подписывал, выступал, только бы от него отстали... Он читал с трибуны заготовленные бумажки, презирая себя и слушателей. Как-то я видела в кинохронике, как он «зачитывает» текст своего выступления на каком-то съезде с видом: «хотите этого – нате вам». Мне думается, он считал: все минет – музыка останется.

И вместе с тем он был отважен и благороден. Я знаю, скольким людям он помогал деньгами, за скольких заступался, несмотря на страх...

В самый разгар государственного антисемитизма в 1948 году Шостакович написал цикл песен «Из еврейской поэзии». Этот замечательный цикл первый раз исполнили у него дома Дорлиак, Ведерников и Долуханова. Партию рояля исполнял сам Шостакович. Картины бедной, обездоленной жизни в еврейской черте оседлости – голода, унижений, безысходности – потрясли всех присутствовавших.

На этом домашнем прослушивании мы видели, как плакал Маршак. Мы все были ошеломлены высоким трагизмом этих песен:

Кого родила она?
Мальчика, мальчика.

А как назвали?
Мойшеле, Мойшеле.
А чем кормили?
Хлебом да луком.
А где схоронили?
В могиле...

И об унижении отца еврейской девушки, вышедшей замуж за пристава:

Господин пристав!
Гоните в шею
Старого еврея.

Почему Шостакович вступил в партию, уже после XX и XXII съездов? В то же самое время в числе других уважаемых людей науки и культуры Дмитрий Дмитриевич подписал письмо против введения в Уголовный кодекс статьи 190, наказывающей за «клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй».

Его публичные выступления в газетах и журналах были особенно тяжки и даже нелепы, так как все окружавшие Шостаковича знали, что он на самом деле думает. Он не скрывал своих взглядов, и конечно же в КГБ лежали обширные досье с записями его разговоров.

Из дневника: «18 июня 56 г. ...Для чего, для чего бедный Д. Д. написал этот чудовищный «Ответ господину Таубмену» во вчерашней «Правде»! (Таубмен опубликовал в США статью под названием «Нужно ли Шостаковичу немного свободы?» или что-то вроде этого.) «Партийная критика, – говорилось в этом «Ответе», – якобы мешает моей творческой свободе... Мы в Сов. Союзе привыкли к свободе от денежного мешка, от подкупа, от буржуазного издателя. Духовная свобода – ответственность перед народом. Я, Дмитрий Шостакович, не могу согласиться, что не нуждаюсь в советах. Таубмен ставит под сомнение мою искренность... Советская и партийная общественность постоянно давали мне необходимые советы...»

Бедный, бедный Д. Д.! Х. при встрече передал мне, что Д. Д. сказал ему: «Не хватает мне своих стукачей, еще американец доносит». Конечно, на него насели, чтоб он дал ответ «клеветнику»».

Но вернусь к лету 1948 года. Я закончила университет и готовилась в аспирантуру. Надо было сдавать экзамен по марксизму-ленинизму. Сдавала я этот предмет множество раз. Надо было назубок знать «Краткий курс истории ВКП(б)». Но у меня он совсем не держался в голове. Однажды мы получили газеты. Шла печально знаменитая сессия ВАСХНИЛ. На первой странице – доклад Лысенко, в котором он громит лженауку генетику и всех ученых, ее развивающих. Сплав антинаучности, фанатизма, безграмотности, жульничества и одержимости. Вот что такое его «мичуринская биология». Заодно с генетикой Лысенко отвергал и дарвинизм. Мы поняли, что генетике конец, когда прочли первую фразу доклада: «Мой доклад одобрен ЦК ВКП(б) и лично тов. Сталиным». Этот неопровержимый «научный довод» смел весь ученый совет, всю неугодную Лысенко профессуру. Те, кто не раскаялся, не признал правильности научных концепций Лысенко, были уволены. Деканом биофака стал «идеолог» Лысенко – демагог, ничтожная, грязная личность, некий Пресман. Кафедры вместо изгнанных заняли халтурщики и мошенники. Наступило лихое для биологии время. Печально было видеть, как некоторые хорошие ученые, чтобы не потерять работу, публично признавали лысенковскую «науку». Несдавшийся профессор Сабинин, промаявшись несколько месяцев без работы, принял предложение организовать в Геленджике биостанцию. Там в одиночестве, принужденный заниматься стройкой и добыванием материалов, он промозглой ранней крымской весной покончил с собой...

Коснулись эти события и нас. Все рекомендованные бывшим ученым советом не были приняты в аспирантуру. Пришлось искать работу. В процессе поисков я впервые лично столкнулась с антисемитизмом. Меня не приняли в Институт терапии, где было свободное место. Устроилась

я на работу только весной 1949 года в лабораторию Боткинской больницы.

Для Шостаковичей 1948–1949 годы были трудными. Дмитрий Дмитриевич писал музыку к «Молодой гвардии». Написал мелодичную, но незначительную «Песнь о лесах». Ездил на конгресс деятелей культуры в Америку. Был напряжен и издерган.

Летом 1950 года Нина решила «обновить» только что построенное шоссе Москва–Симферополь и позвала меня. Поехали в Ялту, в писательский Дом творчества. Ехали на двух машинах – Шостаковичей и Алиханяна – просторно, весело и не торопясь. До войны Шостаковичи ездили в Крым два раза в год – весной и осенью, а лето проводили под Ленинградом – на даче в Комарове. Я в Крыму была впервые. Восхищалась морем, теплом, горами, пейзажами. Разъезжали по всему Крыму. Поднимались на Ай-Петри. Я с детьми плавала. Дмитрий Дмитриевич, мне казалось, тяготился бездельем и бездомьем. Жизнь на людях, общий табльдот были ему не по нутру. Красоты природы его также не вдохновляли. Морскую прогулку в Алупку – была мелкая зыбь – он проклинал. Когда я поделилась своими наблюдениями с Ниной, она сказала:

– Ему надо, просто необходимо отдохнуть. Он хоть и скучает, но отдыхает.

Вернулись в Москву поездом. Шостакович – с явным облегчением.

Тем временем в науке после «лысенковской» прошла «павловская» сессия Академии наук. Ведущая роль в физиологии и патологии организма отводилась теперь только коре головного мозга. Начались аресты среди врачей. Был арестован Вовси, главный терапевт Союза и шеф нашей лаборатории.

Атмосферу и обстоятельства того времени я уже описала в очерке «Вокруг «дела врачей», включенного в эту книгу.

Настоящая паника охватила темную часть населения, разбудив задремавшие было после революции темные инстинкты, погромную психологию. Особенного расцвета

эта кампания достигла после опубликования указа о награждении орденом Ленина рядового врача Кремлевской больницы Лидии Тимашук, благодаря бдительности которой «гнусная банда убийц была обезврежена». Приходя на работу, мы узнавали, кого арестовали вчера...

Все упорнее становились слухи о готовящейся депортации евреев в Сибирь. Один летчик, знакомый моей подруги, рассказал ей, что в глубине тайги днем и ночью горят огни: строят бараки... «Гнев народа» разрастался, подогреваемый прессой и радио. Говорили, что процесс над «врачами-убийцами» будет открытым и тогда акция депортации предстанет как разумная мера «охраны» евреев от народного гнева. Только природным моим легкомыслием могу объяснить, почему я не воспринимала происходившее как имеющее прямое отношение и к нашей семье. Я с увлечением работала, по воскресеньям мы с Мишей, детьми и друзьями ездили за город кататься на лыжах. Зато Айни Вальтеровна осознавала реальную угрозу. Она купила всем четверым детям (нашим и Таниным) по чемоданчику. В них лежала одежда и обувь для каждого из внуков.

– Если нас куда-нибудь вышлют или арестуют, детей отправят в детский дом. Нужно, чтобы у них хоть для начала было все необходимое, – сказала она. – И еще вот что: возьми деньги, поезжай к Шостаковичам, попроси Нину, если будет возможность, помочь нашим детям.

Я поехала к Нине и, чуть смущаясь, сказала:

– Такая вот блажь у мамы. Она боится, что детей могут отправить в детский дом, если мы... если с нами что-нибудь случится.

Я ждала, что Нина разуверит меня, но Нина взяла деньги, положила их в стол и очень серьезно и как-то печально сказала:

– Я сделаю все, что будет в моих силах. Понимаете, Флора, если б речь шла только о ваших детях, я бы их просто взяла к себе. Наши ребята и Митя их знают. Но четверо... Боюсь, что это нереально. Я не сомневаюсь в Митиной доброте, но вы знаете его повышенное чувство

ответственности, его нервность. Боюсь, это будет ему не под силу.

И тогда меня по-настоящему пронзила тревога за детей. Вошел Дмитрий Дмитриевич. Нина ему все рассказала.

– Космополиты, евреи, все виноваты в том, что мы рабы. Антисемитизм – борьба с культурой и разумом. Это признание, что мы хуже, глупей, невоспитанней евреев, – сказал он.

На обратном пути в троллейбусе все сидевшие в нем казались мне или несчастными или враждебными.

Где-то в конце сороковых годов Сталин в свете развития самодержавной политики объявил, что наше новое, прекрасное время требует нового гимна. «Интернационал» уже не годился. Новые слова написали Михалков и Эль-Регистан: «...И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». На музыку объявили конкурс. К последнему туру была отобрана музыка Шостаковича и Хачатуряна. Дмитрий Дмитриевич сказал:

– Хорошо бы, мой гимн приняли. Была бы гарантия того, что не посадят.

Правительство во главе со Сталиным прослушивали музыку, вышедшую в финал. По окончании Сталин произнес:

– Шостаковича гимн хорош, и Хачатуряна гимн хорош. Теперь объединитесь и сочините вместе – тогда будет совсем хороший гимн.

Сочинять вместе они не могли. Просидев без толку пару часов, они решили, что один напишет музыку на куплет, а другой – на припев. Так и сделали. Опять прослушивание. Дирижирует Александров. Все претенденты сидят в ложе, рядом с правительственной. Михалков чуть не вылезает из ложи, прикладывая руку к козырьку военной фуражки. Он жаждет, чтобы его увидел Сталин. Есть такие люди, к ним принадлежит Михалков, которые искренне, до одури обожают начальство. После прослушивания совместного варианта гимна – перерыв.

И наконец Сталин произносит решение:

– Гимн партии (он давно написан Александровым) будет нашим государственным гимном. Народ знает эту песню, народ любит эту песню, она будет нашим гимном.

Наших разговоров с Шостаковичем после известия о смерти Сталина я не помню. Но помню чувство облегчения Дмитрия Дмитриевича: снялось напряжение, которое давило на него всю жизнь. Никакой эйфории тоже не было. Ощущение стабильности, несокрушимости системы оставалось. Страной правил триумвират – Молотов, Маленков, Берия. Тень последнего продолжала витать над страной, хотя весть о реабилитации «врачей-убийц» принесла громадное чувство освобождения. Усиленно распространялись слухи, что именно Берия наводит порядок в КГБ, вершит добро и справедливость, выпускает заключенных. Это сообщила нам жена Майского, бывшего посла в Англии, который был репрессирован.

Я приехала к Шостаковичам пересказать эти вести. Вдруг Дмитрий Дмитриевич набросился на меня:

– Как вы можете верить в эту преднамеренную ложь, распускаемую этим ведомством! Берия, который лично спускал расчлененные трупы людей в унитаз, хочет, чтоб люди поверили, будто у него выросли крылышки. И вы склонны этому верить!..

В тот день, когда совершился переворот и устранили Берию, мы с Алиханяном были у Шостаковичей на Можайском. Что-то происходило, но что – непонятно. Поздно ночью, когда мы возвращались на машине, почему-то был перекрыт путь с Дорогомиловки на Садовую. Поехали налево, ближе к Колхозной: уже всюду стояли или шли танки. Со стороны казарм, ниже Склифосовского, выезжали бронетранспортеры с солдатами...

– Власть меняется. Но кто у руля? – произнес Артем Исаакович. Утром мы прочли о преступной деятельности Берии и его расстреле.

«*12 ноября 53*. Зашла за билетами на 5-й квартет. Неожиданно разговорилась с Д. Д. Вспомнили Мейерхольда.

Д. Д. рассказал, что после громадного успеха Первой симфонии он не мог сочинять музыку:

– Мне решительно не нравилось все, что я пишу. В каком-то приступе уничижения я уничтожил оперу «Цыгане» и другие произведения. Теперь очень сожалею об этом. В этот период для меня оказалось спасительным приглашение Мейерхольда работать у него в театре. Я восхищаюсь этим гениальным режиссером. Как там ваш Пастернак написал: «Вы всего себя стерли для грима, имя этому гриму – душа». Его постановка «Пиковой дамы» превосходна. Многие ругают ее, считают, что много отсебятины, отвлекает от музыки постановкой. Но нет, он раскрывает глубины оперы...

Так вот, Мейерхольд пригласил меня как зав. музыкальной частью и пианиста, то есть если по ходу пьесы надо было играть на рояле, я выходил на сцену и играл... Я посещал репетиции. Это было что-то поразительное. Его способность – при его внешности – к перевоплощению в юную девушку, Хлестакова, барыню ошеломляла. Я жил у него в доме. И его влияние на меня было значительным. Так прошел сезон 27–28 года. К весне я почувствовал, что он как личность подавляет меня, и ушел из театра. Но к этому времени уже зреет «Нос». Конечно, в музыкальном отношении «Нос» не без влияния «Воццека» Берга, но в театральном, в гротеске, конечно, – Мейерхольд!».

В последние годы своей жизни Нина – после большого перерыва – вернулась к научной деятельности. Она работала в лаборатории старого друга – члена-корреспондента АН СССР Алиханяна, который возглавлял в Армении физический институт. Каждое лето Нина работала в Армении на высокогорной станции, – почти на вершине Алагеза... Там исследовали космические лучи. Незадолго до ее отъезда в очередную экспедицию я вдруг заметила, что Нина надевает очки.

– Грустно? – усмехнулась она. – Скоро будем играть по-стариковски в «дурачка».

Мы шли по улице. Дул ветер, и я вдруг увидела, что Нина выглядит как-то не так хорошо и молодо, как всегда. Лицо было бледновато-серым. «Ну что ж, – подумала я, – ведь она уже не молодая...» Нине было в то лето 1954-го – сорок три года.

Сентябрь. Я была дома. Вдруг телефон – звонит Дмитрий Дмитриевич:

– Флора, у Нины был заворот кишок – непроходимость. Ее отвезли в Ереван, сейчас будут оперировать. Я лечу в Ереван. Не можете ли вы полететь со мной? Я думаю, что Нине будет психологически легче, если около нее будет подруга, женщина.

Я растерялась.

– Знаете, Дмитрий Дмитриевич, у меня больна Ниночка. И мама нездорова. Мне не с кем оставить девочку. Я уверена, что операция пройдет благополучно. Нина такой здоровый и оптимистичный человек...

На следующий день Нины не стало. Кишечник был поражен раковой опухолью...

Совершенно не помню похорон. Помню только, как вошли в квартиру. На столе в гробу лежала Нина – спокойная, красивая, будто спящая... Рядом стоял Дмитрий Дмитриевич. Мы поцеловались с ним и заплакали. Я не могла простить себе, что не полетела к Нине несмотря ни на что. Но я не верила в возможность худого конца! Нина была олицетворением жизни... Помню стоявших рядом Галю, уже девушку, и подростка Максима. Как она опекала их, как трепетно следила за их воспитанием...

После смерти Нины мы бывали у Шостаковичей все реже. Однажды, когда я пришла в день Nининых именин – 27 января, Дмитрий Дмитриевич, выпив, вдруг сказал, как ему трудно жить одному. И с детьми, и с жизнью вообще.

– Знаете, по моему характеру, я совершенно неспособен к связям. Мне нужно, чтобы женщина, жена, жила со мной, была рядом...

Через какое-то время я получила по почте письмо от Шостаковича. Он писал, что мне как Нининой подруге он хочет сообщить, что собирается жениться на М. Г. «Она добрая женщина и, надеюсь, будет хорошей женой и матерью детям. Надеюсь, что Вы по-прежнему будете добрым другом нашего дома».

Ануся Вильямс передавала ужасные слухи об избраннице Дмитрия Дмитриевича, что она работник ЦК ВЛКСМ, партийная и некрасивая, необаятельная. Ничего не понимает в искусстве. Как возникло знакомство и этот брак, я знаю только по слухам, и мне не хочется их пересказывать. Мы были приглашены с Мишей в гости, познакомиться. Все было натянуто, и ничего об этом визите я не помню. Зато следующую нашу встречу я записала сразу по возвращении.

Собственно, со смертью Нины постоянный мой контакт с Дмитрием Дмитриевичем прекратился. Но теперь, встречаясь с Шостаковичем, я более серьезно относилась к нашим разговорам. Чаще и подробнее их записывала. Запись я привожу полностью, ничего не изменяя.

Из дневника. «*24 окт. 1956.* Какой хороший концерт: Шестой квартет Шостаковича. Надо обязательно еще раз послушать. Было еще «Трио» Чайковского и «Квартет» Р.Бунина. Оба хорошие, но всегда рядом с Шостаковичем остальное бледнеет... Но все же очень хорошее чувство: жива музыка, окружение Ш. живет и работает. И музыка живая, светлая, чистая. Квартет Ш. ошеломляет, но, как всегда, надо слушать много раз, пока еще ничего не запомнила. Сам Д. Д., очень постаревший, серый, как всегда, нервно раскланивался, нелепо взмахнул руками, чтобы поднять исполнителей. Договорились встретиться в субботу.

27 окт. 56. Вечер у Шостаковича. После Нининой смерти мы здесь были всего несколько раз. И всегда – оторопь и неприятие. И чувство неловкости. Кроме того, что Нины нет, то есть нет той силы, вокруг которой концентрировалась семья, для меня, кроме искренней дружбы с Ниной, была еще и простота общения с Д. Д. Он входил

к нам тогда и столько, сколько хотел. И разговаривал, если хотел. И уходил опять в кабинет работать. И появлялся: «А не попить ли нам чаю? Я так люблю перерывы. Не было ни одного праздника или выходного, чтобы я работал. Только в будни». Если мы обедали вместе или ужинали, он охотно выпивал рюмку-другую коньяка и очень оживлялся. Часто рассказывал. Очень часто что-нибудь злое, саркастическое или смешное про общих знакомых...

А сейчас – визит. И без Нины. И чужая, некрасивая женщина... Слава Богу, поздоровалась и ушла. Мы у Д. Д. в кабинете. Быстрые вопросы Д. Д. к Мише: «Слышали что-нибудь по Би-би-си? Что Будапешт? Что Польша? Империя рассыпается, по швам трещит и рвется. Это всегда так. Кулак надо держать сжатым, а если чуть дали слабину, – империя трещит. Только он умел это делать».

Заговорили о песнях Д. Д. на слова Долматовского. Я сказала, что как-то не очень понравились (на самом деле не понравились), а слова ужасные. Поэзия там не ночевала. И прямо спросила: «Зачем вы писали на его слова?»

– Да, песни плохие, очень плохие. Просто совсем плохие, – согласился Шостакович.

– Когда вы их написали?

– Когда-нибудь я напишу автобиографию, там все напишу и объясню. Я там напишу, как было и почему я написал все это.

Было сказано смущенно, с чувством неловкости. И, чтобы перевести разговор:

– А квартет? Понравился?

Но я – что за дурость:

– А зачем исполняли, если вам не нравится?

– Но это мой опус. Он опубликован. Каждый вправе его исполнять. Они включили в программу. Не могу же я отказаться.

Во всем этом была явная неловкость. Я знаю, почему черт дергал меня за язык: я не могла, зная его взгляды, пережить то, что он вступил в партию, знала, что, если б Нина была жива, этого бы не произошло. Нам сказали, но мы

не знали точно, а спросить не решились. Чувствовала чью-то волю, знала, что он чему-то сдался.

Миша, видя, что я веду себя бестактно, перевел разговор, сказав, что ему очень понравилось трио Бориса Чайковского.

Лицо Д. Д. оживилось:

– Конечно, прекрасное, превосходное трио. Он очень талантлив. И работает много. А это очень важно. В музыке профессионализм, умение – великое дело. Очень многому можно научиться. Всякий может сочинить музыку. Этому можно научиться, и в слиянии с талантом – как у Бориса – прекрасная музыка. Да и у Бунина тоже. Надо пользоваться коротким периодом оттепели. Роман плохой, но слово найдено – «оттепель». Надо пользоваться. Опыт показывает, что будут морозы, и еще какие.

Я заметила, что Корней Иванович тоже сказал: дышите в этот короткий период свободы. И что такое же ощущение было у всех после Февральской революции. Это ненадолго. Я спросила о других учениках и близких:

– Пишут что-нибудь Вайнберг, Левитин?

Ш. – с осуждением:

– Все музыку для театра и кино.

– А Свиридов? Пьет?

– Не пьет и работает. Песни на стихи Есенина написал хорошие. И я не пью. Совсем не пью. Сегодня хотел выпить, но Максим с приятелем выпили целую бутылку коньяка. У нас был серьезный разговор на эту тему. Я думаю, он прекратит.

Мы удивились. Я все считала Максима маленьким. Он появился к ужину: типичный стиляга. Очень красив. Дерганый. Собирался ехать на охоту. Ругался хамски по телефону с шофером, который не обеспечил «резину». Включил телевизор. Шел фильм «Сорок первый».

– Фильм хороший, настоящий фильм, – заметил Дмитрий Дмитриевич. – Это кино, а не разговоры за кадром, чтобы зритель понимал, что чувствуют герои.

Мы с Мишей рассказали о фильме, в котором на наших глазах Пикассо пишет картину.

– Я ничего не понимаю в живописи.

Мы стали передавать свои впечатления от выставки Пикассо: взволнованные люди, молодые и старые, спорят, размахивают руками. Большинство такое искусство видят впервые.

«Не говорите мне ничего о нем, он сволочь!.. – воскликнул Шостакович. Мы поражены. – Он сволочь: приветствует советскую власть и наш коммунизм, в то время как его последователей, художников, в Советском Союзе преследуют, не дают им работать, травят...»

Я все-таки встряла:

– Но и ваших последователей преследуют.

– Да, и я сволочь, трус и прочее, но я в тюрьме. Вы-то понимаете, что я в тюрьме, и я боюсь за детей и за себя, а он – на свободе, он может не лгать! Меня вот сейчас все страны приглашают приехать, а я не еду и не поеду до тех пор, пока не смогу говорить правду, ответить на вопрос, как мне нравится постановление ЦК о музыке, о моих произведениях. А он? Кто его за язык тянет? Все они – Хьюлет Донсон, Жолио-Кюри, Пикассо – все гады. Живут в мире, где пусть и не очень просто жить, но можно говорить правду и работать, делать то, что считаешь нужным. А он – голубь мира! Ненавижу его, голубя! Ненавижу рабство мысли не меньше, чем физическое рабство.

Мы с Мишей пытались объяснить это тем, что они (Пикассо и др.) не понимают, что у нас делается. Они считают, что нашим художникам нравится быть «соц. реалистами», писать так, как Герасимов. Что он за коммунизм вообще. Что и мы за коммунизм. И сам Д. Д. ведь тоже за коммунизм.

– Ну, коммунизм невозможен, – стоял на своем Шостакович. – Ну Бог с ним, с Пикассо, не хочу о нем больше. – Он постепенно остывал.

К столу вышла мадам. Ужасно неинтересная. Что-то лошадиное. Очень старается потрафить ему, детям, гостям, усвоить стиль. Но, бог мой, как пресна, а пожалуй, и неприятна, после Нины! Да и вообще!..»

Брак этот был недолговечным.

Вот еще несколько разрозненных записей и воспоминаний.

«*28 мая 58*. Хоть и поздно, но все-таки радостно. Звонил Дмитрий Дмитриевич:

– Флора, вы уже читали?

Это было постановление «Об исправлении ошибок в оценке», короче, о постановлении ЦК 1948 года. Рассказал об Италии, Франции, прошедших концертах. Ему дали орден какого-то командора. Говорили, что хорошо бы встретиться, но он вскоре собирается в Англию, получать почетного доктора музыки Оксфордского университета.

Декабрь 62 г. «Екатерина Измайлова», бывшая «Леди Макбет», восстановлена! Ура! Собираемся пойти. Д. Д. сказал, что кое-что изменил, а главное, написал еще антракты. Считает, что получилось более непрерывное (сквозное) действие. Очень радуется восстановлению постановки. Рассказал о фестивале его музыки в Эдинбурге, он был очень интересный, но чрезвычайно насыщенный и утомительный: «Я буквально валился с ног. Утром репетиция, вечером исполнение. Большая радость – знакомство с Бриттеном. Замечательный композитор и исключительный человек. Культура, знание и любовь к музыке. Прекрасно знает и любит все, что я написал. Сам играет на всех инструментах... Если б не расстояние, язык (все-таки), мы бы дружили, я чувствую».

«*31 декабря 61 г.* Завтра Новый год. Вчера были на Четвертой симфонии. Пригласил Д. Д. Мы слышали ее в первый раз. Впечатление потрясающее. По-моему, такой стремительности, движения, контрастов, смены ритмов и красок, нежности и остроты теперь уже в сочинениях Д. Д. нет. Невольно думаешь, каков был бы его путь, каким он был бы композитором, если бы не «постановления», которые корежили его живую душу. И, конечно, творчество. Думается, и он другим был бы».

Вспоминаю, как Д. Д. рассказывал, что репетиции Четвертой начались уже после «сумбура». Настроение не только у Д. Д., но и у музыкантов было подавленное. Не-

мецкий дирижер (не могу вспомнить фамилию) начал репетировать, не изучив партитуру. Музыка была новая, сложная. Оркестр играл вяло, плохо... «Что-что?» – спрашивал дирижер, стуча палочкой по пюпитру. Так продолжалось некоторое время, исполнение становилось все хуже. Д. Д. сидел в зале, безумно нервничал, весь сжался от негодования, что дирижер не подготовился к такой серьезной работе, и от бессилия, и от невозможности повлиять на происходившее. Дирижер ничего не спрашивал, только брезгливо переворачивал страницы партитуры...

Шостакович понял, что исполнение симфонии может привести к дальнейшему развороту кампании против него. Он подошел к дирижеру: «Я чувствую, мне надо еще поработать над симфонией». – «Яа, Яа», – обрадовался дирижер, и Д. Д. забрал свое любимое детище...

Сейчас успех симфонии был громадным. Д. Д. ее не трогал, не исправлял, ее исключительная зрелость и законченность были видны в каждой ноте.

Этот период – Четвертой симфонии и «Леди Макбет» – был апогеем творчества Шостаковича.

Мы немного поговорили. Д. Д. рассказал, что очень хорошо прошел в Ленинграде фестиваль его произведений.

– Все спрашивали лишний билетик. Я же не звезда эстрады; это было так радостно – любовь к музыке. Много было молодой публики.

Забыла: весной слушали «Сатиры» на слова Саши Черного. Отлично помню, как Д. Д. давно, в Куйбышеве, читал: «Наши дети лезли в клети, повторяя в грозный час... Наши дети будут жить получше нас».

В 1963 (или 1964) году во время гастролей во Франции у Дмитрия Дмитриевича отнимается рука. Болезнь эта не оставляет его до конца жизни, хотя лечение в Кургане, у профессора Илизарова, через полгода частично восстанавливает подвижность руки.

Последний разговор с Дмитрием Дмитриевичем произошел в Доме творчества в Рузе в 1970 или 1971 году. Он уже вернулся от Илизарова, который здорово помог в

восстановлении руки. Шостакович даже пробует играть, но очень устает. Ирина Антоновна (его жена – в своем третьем браке Д. Д. был счастлив) ушла в кино. Дмитрий Дмитриевич казался подавленным. Однако с большой гордостью он говорил об успехах Максима, о том, что тот хорошо дирижирует, исполняет его симфонии, о его удачных заграничных гастролях.

– Но жить там всегда Максим не хочет... Как бы Нина им гордилась!..

Говорили о Четырнадцатой симфонии. О трагедии каждого из авторов стихов:

– Я еще не готов умирать, – сказал Дмитрий Дмитриевич. – Мне еще много надо написать. Я здесь (в Рузе) жить не люблю. Я люблю работать и жить дома, в Жуковке. Но Ирина Антоновна устала за мной ухаживать, ей нужен отдых. Здесь же ни о чем заботиться не надо. Правда, много лишних разговоров при неминуемых встречах с коллегами.

Вспомнили встречу Нового 1948 года:

– Да, лихое было время. Сейчас полегче, но как корежили они всех нас... Вы спрашиваете, был бы я другим, если б не «партийное руководство»? Был бы, наверное. Наверное, сильней шла бы линия от Четвертой симфонии, больше было остроты, яркости, сарказма, больше обнаженности, меньше камуфляжа и просто музыки, – говорил Дмитрий Дмитриевич. – Я не стыжусь того, что написал. Я люблю все свои произведения: «дитя, хоть криво, отцу-матери мило», но, наверное, путь был бы другим. Кроме того, столько киномузыки! Она неплохая. И давала возможность жить мне и моей семье безбедно. Но сколько она забрала сил и времени!.. Я ведь написал музыку к тридцати фильмам. Вполне хорошую музыку. Это с Козинцевым, Арнштамом. Эти режиссеры понимают, что музыка в кино – не для сопровождения, а для раскрытия сути, идеи фильма.

Мне помнится, Дмитрий Дмитриевич помянул «Максима» и «Гамлета». Вспомнил Чаплина. Сказал, что очень его любит и чувствует сродство.

Приведу некоторые высказывания Шостаковича о композиторах. Хочу предупредить, что его мнение о многих из них (особенно современных) с годами менялось. Помню, однажды он с восхищением говорил о «Воццике» Берга, а в другой раз отозвался о нем как о неглубоком, поверхностном сочинении. Все-таки кое-что из записанного мною, может быть, представляет интерес, несмотря на случайность этих записей, хотя не исключено, что они противоречат суждениям, услышанным от него другими людьми.

О Прокофьеве. Всегда ощущалось сложное отношение Дмитрия Дмитриевича к Прокофьеву. С одной стороны, Шостакович чрезвычайно высоко ценил его и некоторые сочинения очень любил. Восторженно относился к «Дуэнье» – считал эту оперу шедевром. Говорил с восторгом об ансамбле монахов и сцене подслушивания: «Это гениально». Очень любил его Седьмую симфонию и писал о ней. С другой стороны, когда я отозвалась с восхищением о «Войне и мире», он произнес: «Нет, не получилось. Скучно. И у него – «ейн колонн марширен»; философия и музыка – две вещи несовместимые». Мнения Дмитрия Дмитриевича менялись в зависимости от самых разных обстоятельств и от собеседников. В какой-то раз он восхищался арией князя Андрея: «И пить-и пить», сценой его встречи с Наташей... Оперу «Семен Котко» считал очень слабой. Масштаб таланта Прокофьева Шостакович ощущал всегда. Когда Прокофьев умер, он сказал Хачатуряну: «Теперь нас осталось двое»...

О Мясковском. Д. Д. чрезвычайно ценил его служение музыке, любовь к ней:

– Он из немногих, кто любит музыку самозабвенно, постоянно ее слушает, ходит на концерты... Он пишет прекрасную, ясную, чистую музыку. Его Двадцать седьмая симфония – шедевр.

Это он сказал, когда я заметила, что Мясковский скучноват. Мясковский искренне недоумевал, почему и его причислили к формалистам в постановлении о «Великой дружбе».

О Флейшмане. Флейшман учился в Ленинградской консерватории и погиб во время обороны Ленинграда. Шостакович говорил, что опера Флейшмана «Скрипка Ротшильда» чрезвычайно талантлива. Он не успел закончить и оркестровать оперу. Это сделал Шостакович. «Эта опера могла бы украсить любой репертуар, если бы не его и Ротшильда фамилии...» – говорил он.

О Чайковском: «Нет музыканта, не переболевшего Чайковским. Я жил им много лет. Я знал (и знаю) его от первой до последней нотки. И великое его, и слабое. Конечно, его бесспорный шедевр – «Пиковая дама», равной ей нет во всей мировой оперной музыке. Но теперь слушать Шестую симфонию или фортепьянный концерт – для меня убийственно...»

О Вагнере: «Он поразительный, но я его не люблю. И не любил никогда. Хотя изучал, чем он достигает всех своих эффектов».

О Малере: «Малера подарил мне Соллертинский. И его музыка – как прозрение, как путь к самому себе».

Но было три композитора, о которых Шостакович всегда говорил, что их музыка божественна, безупречна, прекрасна: *Бах, Моцарт, Брамс*.

Двадцать четыре прелюдии и фуги Д. Д. написал после посещения Томас Кирхе, где слушал Баха. Бетховена ставил очень высоко, но что-то у него не любил, кажется, Девятую симфонию.

Совершенно особую роль в музыке, творчестве и жизни Шостаковича играл *Мусоргский*. Его он считал уникальным гением, достигшим недостижимого. Шостакович много работал над оркестровкой «Бориса Годунова». Считал, что Римский-Корсаков, оркеструя эту оперу, исказил, засушил замысел Мусоргского. «Я старался сохранить то, что было у Мусоргского, – говорил Дмитрий Дмитриевич. – И когда оркестровал, всегда старался взять из трех вариантов наилучшее решение. Мне кажется, что моя оркестровка ближе к замыслу Мусоргского».

И еще об оркестровке:

– Есть разные способы писать музыку. У некоторых рождается мелодия, какие-то ходы, а потом они оркеструют. У меня же вся музыка рождается оркестрованной. Я слышу ее так. И какой состав оркестра, и какие играют инструменты. Все это складывается в голове. А потом я сажусь и пишу. Обычно – очень быстро. Иногда – как Десятую – я пишу за три недели, но редко пишу дольше двух месяцев. Тогда уже болит рука. Несколько тактов пишешь на одной странице. Мне трудно понять, как можно иначе писать музыку.

Мы знали, что Шостакович тяжко болен и лежит в Кремлевской больнице. Но о смерти его не думалось. Последняя его симфония была так прекрасна!

В начале августа мы с друзьями поплыли на байдарке. Возвращаясь, купили газету – там был некролог. Шостакович умер 9 августа 1975 года. На похороны мы опоздали...

Гибель моей сестры Зины

Среди нехоженых дорог,
Где ключ студеный бил,
Ее узнать никто не мог
И мало кто любил...

Не опечалит никого,
Что Люси больше нет,
Но Люси нет – и оттого
Так изменился свет...

У.Вордсворт

Жизнь Зины после неудачного замужества складывалась не очень удачно. Она мало выходила, редко бывала в кино, почти не встречалась с подругами (только в большой семье своей задушевной подруги Наты гостила охотно). Дома у нас тоже было невесело: мама много и тяжело работала и постоянно ссорилась с Зиной, считая, что она пассивна и не старается изменить свою жизнь. Чтобы избежать скандалов, Зина периодически переезжала к тете Эсе.

Зине было трудно учиться, но все же она закончила рабфак, и настала пора думать о поступлении в институт. Некоторые ее знакомые девушки решили идти в медицину, но Зину профессия медика пугала: она боялась крови, боли, человеческих страданий. После больших колебаний она поступила в текстильный институт: это был период, когда страна нуждалась в технической интеллигенции.

Я, проводившая время в театральной студии, в театрах и на концертах, постоянно посещавшая библиотеку Исторического музея, презирала маму и Зину за их "темноту". Я была очень трудным подростком, ничего не делала по дому, пользовалась трудами матери и сестры, а себя при этом считала суверенной личностью, приобщенной к ми-

ру студентов и ученых. Мама же меня считала просто очень плохой девочкой и осуждала.

С Зиной у нас не было взаимопонимания еще и потому, что в моем представлении она принадлежала к миру взрослых. Редкие наши попытки сблизиться до определенного времени не имели успеха.

Когда Зина окончила институт, ее распределили на работу в город Маршанск. Два года она трудилась там сменным мастером. Работа эта ей была немила. К тому же своего жилья она не имела, снимала угол.

Когда Зина вернулась в Москву, папа устроил ее к себе в лабораторию, где она работала охотно и продуктивно. Дружба ее с папой крепла, дважды они вместе ездили отдыхать – в Сочи и в Кисловодск, и даже у мамы с папой установились нормальные отношения.

В 1935 году папа тяжело заболел, у него оказалась опухоль спинного мозга. Он лежал в госпиталях, долго лечился, но безуспешно: в 1937 году папы не стало. Его раннюю смерть в пятьдесят семь лет мы переживали как огромное горе. Правда, может быть, уйдя из жизни, папа избежал худшей участи: все его коллеги по Внешторгу были репрессированы.

Перед самой войной, когда у нас с Мишей родился Павлик, Зина пришла к нам, предложила свою помощь и сказала: «Если бы ты знала, как мне хочется повозиться с Павликом». Ее голубые глаза наполнились слезами, и я вдруг поняла, как она одинока и как ей тяжело живется. Мы обе расплакались и наконец примирились. Зина взяла Павлика на руки.

В конце лета 1941 года Зина была мобилизована на трудфронт. Работали в колхозе, на уборке овощей – выкапывали картошку, рубили капусту. Работа была тяжелой. Начались дожди, холода, а потом и снег пошел. Затем ее отправили на лесозаготовки.

В письме ко мне в Куйбышев из Москвы Зина написала, что хочет идти на фронт. В январе 1942 года она поступила на шестимесячные курсы медсестер. За учебу взялась с рвением, занималась с большим увлечением всю

зиму и весну. Она вспоминала, что не пошла в медицину потому, что боялась крови, боли и грязи. Еще с практики она мне писала: «Теперь у меня остались только жалость и желание помочь». В июне 1942 года она окончила с отличием школу медсестер, а в июле ушла на фронт.

Получив повестку из военкомата, 14 или 15 июля вместе с другими девушками Зина, взяв вещи, села в вагон на Павелецком вокзале где-то на дальних путях. 15, 16, 17 и 18 июля их вагон перемещали с одного пути на другой, перегоняли в Спасский тупик, еще в какие-то места. Девушкам выдали продукты. Назначение в часть они должны были получить позже. В эти дни мама приходила на вокзал и два или три раза видела Зину, передавала ей еду, а Зина писала и передавала маме записки, просила приходить. Из нескольких этих записок от 15, 16 и 17 июля видны большое волнение, растерянность Зины и мамы. Они привыкли жить тесно, вместе. Зина подчинялась маме. А теперь надо было подчиняться другим людям и обстоятельствам: судьба уже отсекла дочь от матери, и жизнь ее теперь зависела от неведомых ветров войны. Войны, полной неизвестности и опасностей.

Наконец 19 июля вагон тронулся. Зина с девушками и сопровождающим их фельдшером направляются в Балашов Саратовской области. Там они должны узнать пункт назначения. Дорога утомительная. Вагон больше стоит, чем едет. Проехали станцию Гравское. Питанием обеспечивают. Пока все едут вместе. В Ртищеве ночевали по квартирам. Отдохнули, поспали, пообедали в столовой. В Балашове стояли двое суток.

Зина писала маме, мне и друзьям, когда могла. Часто. Все, что есть, – сорок два послания, отправленных Зиной в те восемь месяцев, которые ей осталось жить, – сохранила мама. Я не хранила написанные мне письма. В основном Зинины письма адресованы маме, но также мне, тете Эсе и подруге Нате. Часть из них я привожу здесь.

С неуверенностью берусь я показать Зинины письма с фронта. Когда я взялась за их чтение, мне пришлось их ксерокопировать. И вот, получив весь текст, я решила по-

пытаться восстановить по нему по возможности последние месяцы жизни Зины. Ее чувства глубоко гуманны и по сути своей патриотичны. Все ее письма полны беспокойством о маме, о ее здоровье и самочувствии, о том, есть ли у мамы продукты, тепло ли в доме. О себе – только: «Не беспокойся». Зина пишет, что у нее интересная работа, она помогает раненым и больным, у нее теплая одежда, она хорошо питается... По-видимому, это было не совсем так. Например, у нее долго не было валенок, хотя наступила зима.

Надо отметить, что Зина строго соблюдала военную тайну, ни разу, кроме пути на фронт, не написала, где они базируются. Так же ни разу она не упоминает и о каких-либо передислокациях или военных действиях. Однако перерывы в письмах и долгое мотание по разным местам отражают, как мне кажется, положение на Украинском фронте летом 1942 года, когда наши войска не могли противостоять организованности и силе гитлеровских армий, большая их часть попала в окружение.

Собрались с силами только в 1943 году. Ликующее «Мы в Харькове!» Зина написала в двух своих последних открытках.

В июле 1942 года Зина послала маме с пути семь записок и открыток. Как выяснится позже, на место назначения она прибыла лишь 3 сентября. Известно только о первом отрезке пути, Зина писала о некоторых местах, которые они проезжали или где останавливались.

В открытке от 24 июля 1942 года Зина сообщает, что до места еще не добралась, предстоит несколько пересадок. Ждут машину. Деньги из дома все истратила: купила молоко, огурцы и помидоры. «Чувствую себя хорошо, но ехать надоело». Эту открытку, которую Зина написала, находясь в селе Анна Воронежской области, ей обещали бросить в Москве. Мы ее получили через три дня.

С этого момента и до 4 сентября 1942 года мы получили только одну открытку от 12 августа. Почерк неровный, открытка написана все еще с дороги. Переезжают с места на место. Устали.

Почему за весь август только одна открытка? Трудно представить, чтобы Зина не писала! В более поздних письмах она об этом периоде уже не сообщает. До сих пор мы не знаем, где располагался их медпункт или госпиталь. По-видимому, из-за постоянной переброски войск не было определенного места расположения и у медицинской службы.

В это время – июль и август 1942 года – на Украинском фронте шла большая подготовка наших сил к контрудару с намереньем пробиться на юг. Вот что писал об этом маршал К.С.Москаленко в 1950 году: «К лету 1942 года немецкие войска начали готовиться к наступлению. Войска и вооружение готовились к решительным боям в направлении Курск–Белгород–Харьков. Однако, несмотря на громадные потери с обеих сторон, наши войска потерпели поражение и собрались с силами только к большому сражению весной 1943 г.». А в наши дни безымянный автор «Живого журнала» пишет об операции 1942 года следующее: «Обычно принято отмечать даты победные.

В Харьковской операции нашим до победы, казалось, не хватило всего лишь чуть-чуть: и силы Красной Армии были сосредоточены здесь немалые, и командовали ими люди, чьи имена в истории Великой Отечественной стали легендарными, и велико было всеобщее стремление наконец переломить ход войны, начать освобождение захваченных фашистами территорий. Но немцы еще были очень сильны. Они превосходили советские войска по тактике, мобильности, боевому опыту, что в конечном счете и определило исход этого сражения. Еще впереди были Сталинградская и Курская битвы, надломившие военную мощь вермахта. Пока же наше поражение под Харьковом только ускорило продвижение фашистских войск в глубь страны.

Как любая военная неудача, Харьковская операция была сопряжена с огромными жертвами, трагическими последствиями для сотен тысяч человеческих судеб и, конечно же, со своими тайнами».

Одна из личных тайн – гибель моей сестры Зины.

...Наконец дошло письмо от 4 сентября, первое письмо уже с места назначения. Зина пишет маме, мне и подруге. Пишет несколько страниц, сидя за столом. Два письма почти аналогичны по содержанию: маме и Нате. Сообщает номер полевой почты. Сохранилось восемь сентябрьских писем.

В сентябре же Зина отправляет маме несколько переводов – на 200, 150 и 100 рублей. Она недавно получила деньги. Пишет с удовлетворением о работе. Чувствуется уже какая-то уверенность.

Как я уже говорила, к первому месту назначения Зина прибыла 3 сентября. Днем еще очень тепло. Живут на хуторе, довольно близко от передовой. Рядом речка, стирают, моются. Кто похрабрей – купаются. Пока работы не очень много. Есть молоко, картошка. Колхозники доброжелательны.

Зина интересуется, каков урожай на даче у маминого друга Данилы Максимовича. (Мама помогает ему, и они вместе посадили картошку и кое-что из овощей.) Зина велит маме продать что-нибудь из вещей, пока нет аттестата. В письме ко мне расспрашивает о Павлике.

Затем в открытке от 8 сентября пишет, что ночью прохладно, жалеет, что нет одеяла. Просит прислать шерстяную теплую юбку – старая разорвалась.

Следующие три письма подробные и собранные. Два – маме и одно, более доверительное, Нате. Работает в прифронтовом госпитале – есть врачи, фельдшеры, младший персонал. Зина пока санинструктор. Работой довольна.

Раненые и больные солдаты. Работать интересно и не очень трудно, но отойти ни на минуту нельзя. Пишет ночью, так как дежурит в штабе. Утром ходит помыться и постирать на речку. Еще тепло, и вода теплая. Зиной на работе довольны, и в ее письме уже ощущается уверенность в своей квалификации и нужности. Нату спрашивает о ее делах и общих знакомых. Вспоминает о Горбунове, который, по-видимому, Зину интересует. Просит,

чтобы он написал. Просит Нату зайти к маме – очень о ней беспокоится.

Сохранился еще кусок письма, без даты и начала. В нем Зина отвечает на письмо мамы об урожае на даче у Данилы Максимовича. Зина очень огорчена, что мама получила всего полмешка картошки. Еще раз просит маму продать все, что можно, и купить жиры и другие продукты. О ней просит не беспокоиться: она в тепле, и питание достаточное.

Зина пишет маме, что получила шапку, гимнастерку, брюки. Нужны юбка, трико (по дороге украли). Сообщает, что работает в стационаре старшей медсестрой, получила звание старшего сержанта. Теперь есть младшая медсестра в помощь. Сообщает, что легче послать посылку через завод или учреждение Данилы Максимовича.

В октябре она высылает маме справку и три перевода.

Не знаю почему, но совершенно нет писем или записей о моем приезде в октябре на несколько дней в Москву. Поселилась я тогда у мамы. Печурку растапливали не часто, так как газ был и можно было готовить. Я сходила в университет и узнала, что если я приеду, то смогу продолжить учиться. Однако я задумалась о том, как будет с Павликиным и моим пропитанием. В Куйбышеве нас хорошо кормили. Более того, я поступила учиться в местный институт на второй курс. Этот мой приезд в Москву совпал с пребыванием там семьи Шостаковичей. Они часто бывали в Москве и очень помогали моей маме, снабдили ее талонами на обеды в гостинице «Москва».

В письмах, пришедших от Зины в октябре, она сообщает, что получила письма от всех нас (от мамы, меня и Наты). «Писать раньше не было возможности». Надеется, что я смогу взять маму в Куйбышев на холодное время. Просит, чтобы мама обязательно поставила железную печурку – ее легче протопить. Пишет, что она в тепле, сыта и находится в лучших условиях, чем мама. Есть теплое белье, шерстяная кофта и носки. «Надеюсь скоро получить ватные брюки и шерстяные носки, главное – валенки. Если можно, купи теплую шапку-ушанку. А, может, со-

шьешь сама? Если можешь, пришли к празднику красного вина. Если возможно, купи мне старые сапоги. Здесь можно эти голенища соединить с моими ботинками...» Просит узнать о ее подругах, зайти к ним. Сообщает, что теперь часто справляется без врача, так как набралась опыта.

В письме от 13 октября: «Работы много, но работать не трудно. Врачи и фельдшера учат». Отношения очень хорошие – ей доверяют. «Мы, как можем, помогаем бойцам выздороветь и вернуться на фронт бить немцев. А ты, Ната, если есть возможность, радуйся жизни...»

В день рождения Зины, 11 ноября, я написала ей письмо и отправила ей картинку, намалеванную Павликом. Не очень часто мы отмечали этот день, но в письме я напомнила Зине один такой праздник в ее молодые годы. Тогда, в память их жизни в Америке, мы устроили «сюрпрайз-парти». Собрались с мамой и Зиниными подругами, наготовили вкусного и подарочки и неожиданно для нее (она, может быть, забыла?) приехали к тете Эсе, у которой она тогда жила. Было очень приятно и весело, как часто случается при неподготовленном празднике.

Ноябрь.

«11 ноября.

Дорогая мамочка!

Пять дней я отсутствовала в санроте. Была я выбрана в комиссию по приему подарков для медработников. Подарки из Воронежской области. Я попала в праздники на разбор подарков. 6 и 7 работали двое суток – день и ночь. 8-го тоже привезли подарки, и потому только сегодня закончили раздачу. Ночевала у председателя сельпо – очень хорошие гостеприимные люди. Впервые за все время побыла, вернее, ночевала в домашней обстановке. Подарки из Куйбышева распределили только фронтовикам. Мы здесь считаемся как бы тыловиками.

Получила я в подарок столовую ложку, зубной порошок, конверт, конфету одну и курицу. Приехала в свою часть и окунулась в нормальную работу. Подкралась зима. Я одета тепло, т.ч. не беспокойся. Я должна получить

теплое белье, а главное валенки. Тогда совсем будет хорошо. Получила от тебя теплую рубашку, кофточку, 2 пары трико. Мыло – кусок хозяйственного и кусок туалетного, нитки, расческу и зеркальце...»

В моем дневнике вспоминаю о Зинином дне рождения. Пишу о получении от Зины письма: она работой и обстановкой довольна. Пишет о враче, который очень многому ее научил. Мы с мамой надеемся, что вдруг это какие-то более теплые отношения...

Еще одно письмо мне. По-видимому, единственное «левое». Короткое, без подписи, но написано ее почерком. Пишет мне, что хотя положение серьезное, но Красная Армия бьет врага. Пишет о своем друге – враче, которого любит, и он ее тоже. Она надеется в будущем соединить с ним жизнь. Пока она не сообщает об этом маме...

Зима. Декабрь.

«10 дек.

Давно не получаю писем. В стационаре работаю одна. Совершенно нет времени. Ты спрашиваешь, как я провожу время отдыха. Но у меня такового нет. Друзья есть, но времени проводить с ними нет. Когда разобьем врага, а я думаю, что это сбудется в недалеком будущем, и тогда вернусь домой и буду отдыхать и гулять. Ты за меня не беспокойся. Я здорова, чувствую себя хорошо. Теплое обмундирование получила, в том числе и валенки. Пиши чаще...»

В тот же день открытка подруге Нате. Пишет, что времени писать нет совершенно. Сейчас ночь. Однако радуется письмам от мамы и сестры. Много вопросов о муже Наты, о зяте и племяннице. Очень просит писать.

Следующее письмо от 20 декабря на воинском письме-бланке:

«Дорогая мамуся, с Новым годом, желаю тебе всех благ. Уверена, что в следующий Новый год будем встречать вместе. Хоть ты далеко от меня, но ты всегда в моих мыслях. Каждый день читаем с большой радостью об успехах нашей Красной Армии. Недалек тот час, когда разобьем врага и будем жить в мирной обстановке. Мамуся,

давно тебе не писала, но ты не беспокойся. Я чувствую себя хорошо. Послала тебе перевод на 300 рублей. Есть ли письма от тети? Пришли мне ее адрес. Если она в состоянии, то ей надо решиться и ехать. Хотя, конечно, в Москве теперь неважно – холод и пр., но она не будет одинока и заброшена. Ты пишешь, что тебе тяжело с Фаней. Я знаю, какой тяжелый у нее характер. Приходится тебе терпеть. Я надеюсь, что Флорочка сможет ненадолго забрать тебя к себе и ты повидаешь Павлика. Так хочется его увидеть. Едет ли Флора к Мише и надолго ли? Мама, я теперь нахожусь в новом месте, близко от передовой линии. Работаю с очень хорошим врачом. Оказываем срочную необходимую помощь. А затем эвакуируем в тыловые госпитали. Работой я очень довольна. Я все лучше и быстрей могу помочь раненому. Хотя здесь более опасно, но находиться здесь интересно... Привет родным и знакомым. Крепко целую. Твоя дочь Зина».

Есть письмо мне от 23 ноября, которое перескажу, так как трудно разобрать. Основное беспокойство за тетю, тяжело болевшую брюшным тифом. Тетя написала ей, что хочет вернуться в Москву, просит моей помощи. Зина пишет о посылке тете и маме денег. Сообщает о работе в стационаре. Условия работы и жизни лучше.

Довольно большое письмо от 28 декабря 1942 года.

«Дорогая мамуся!

Послала тебе на днях открытку. Извини, что задержалась со справкой. Но обстоятельства были такие, что возможности не было. Сейчас я нахожусь на новом месте, 1,5 км от передовой. Приходится слышать ружейные, пулеметные и минометные выстрелы. Но зато очень интересно работать и жить. У меня увеличивается опыт, и я эффективней могу помочь реально. У меня очень много новых знакомых. Из девушек я здесь только одна. Местных жителей совсем нет. Они эвакуированы. Работы сейчас у меня иногда меньше. Могу уделить немного времени себе. Мама, юбка, которую ты мне прислала, совсем разорвалась. Ее носить нельзя, и я теперь опять осталась без юбки, а в брюках не хочется все время ходить. Мама,

пошли мне небольшую посылку. Главное, что мне нужно, это юбка. Ведь есть же шерстяной материал на юбку – сшей мне и пришли. Теплым обмундированием я обеспечена. Одета я тепло. Пришли мне, если достанешь, гребенку на голову. Расческу не надо. Черные нитки, катушку, пару иголок постарайся достать в военном магазине на Кузнецком, военные обозначения – треугольники [нарисован треугольник], а то у меня на гимнастерке есть, а на шинели нет. Нужно мне 12 треугольников, но если можно, то купи 50. Постарайся достать белые воротнички целлулоидовые. Может, на рынке можно купить. Хорошо, если бы купила один кусок хозяйственного мыла и один туалетного и одеколон. Вот все, что нужно. Если не принимают посылки индивидуальные, то постарайся отослать через инструментальный завод (бывший РАКОМЗА). Мама, как ты питаешься? – наверное, неважно. Флора привезла с собой продуктов. И Нина Васильевна [Шостакович] дала тебе талоны на обеды в гостинице. Тетя написала, что она поправилась и решила остаться на зиму в [нрзб. – Казахстан?]. Она получила мой перевод и просит не посылать ей, но я все равно буду посылать каждый месяц тебе 50 руб. и тете 50. Я не получила от тебя письма о приезде Флоры. Поехала ли она с Павликом к Мише в Свердловск? Не беспокойся. Я чувствую себя хорошо. Целую. Зина».

Перечитывая последнее письмо, я ощущаю ее значительное возмужание. И тон, и более реальное описание событий военной жизни. Серьезная просьба о посылке, серьезно о необходимости юбки. Чувствуется даже некоторая обида на маму: второй раз юбка сшита из гнилого материала и сразу порвалась. Зина знала, что отрез новой шерсти есть. Но тут сыграла роль мамина экономность: по-видимому, у нее была надежда сшить новую юбку к Зининому возвращению с войны.

Остались две последних весточки от Зины. Это открытки, написанные в феврале 1943 года. Из январских писем ничего не сохранилось. В моем дневнике только

радость при получении ее открытки. Открытки сохранились у мамы.

12 февраля 1943 года. Открытка мне в Куйбышев. На открытке картинка – девочка постарше держит меньшую сестренку, которая опускает в почтовый ящик письмо на фронт. Подпись: «Новогодний привет героическим защитникам Родины!»

На другой стороне открытки: «С Новым годом, наш любимый защитник. В Новом году крепче бей проклятого врага. Приближай час победы над немецким захватчиком!».

«Дорогая Флорочка!

Представь себе радость. Нахожусь в Харькове. Наши войска освободили жителей Харькова от немецко-фашистских гадов. С какой радостью нас встречали! Везде, где останавливались в селах, городах, принимали нас очень гостеприимно. Будем двигаться дальше. Надеюсь, что скоро увидимся. Целую крепко тебя и Павлика. Привет Мише.

Зина».

Штемпель Куйбышева от 18 февраля.

Открытка маме от 17 февраля. На открытке – идущие в атаку бойцы на фоне знамени с портретом Ленина. Надпись: «Пусть осенит вас знамя великого Ленина» И.Сталин.

Сверху: «Новогодний привет героическим защитникам Родины!»

«17. 2. 43

Дорогая мамуся!

Давно тебе не писала, так как была в пути. Наши войска наступают. Двигаемся все вперед и вперед. Сейчас нахожусь в Харькове. Здорова. Не беспокойся. Привет соседям. Целую. Зина.»

Получив от Зины такие оптимистичные открытки, мы ждали следующих, однако, насколько я помню, было еще отступление от Харькова, и как видится сейчас, Зина погибла в этот период арьергардных боев. Через месяц по-

сле получения последних открыток мама написала в часть, сообщив, что писем от Зины нет и она просит начальника части сообщить, где ее дочь.

Первый ответ был получен на открытке с адресом мамы, написанным Зининой рукой. Не знаю, как это получилось, но ответ следующий:

«Тов. Ясиновская. Ваша дочь Ясиновская З.А. отстала от части 4 марта 43 года.

Местонахождение ее в настоящее время неизвестно.
НСС Военврач В.Качаков. 4.5.1943,
обр. адрес Полевая почта 01793-в 1683 ч 193».

Ответ на наши запросы от 6 июля 43 года.

Слева: «НКО СССР. Управление кадров»

«Главн. Воен. сан. упр.
6 июля 1943 г. № 21272-001
Ясиновской Перле Мироновне

На Ваш запрос розыска дочери Ясиновской З. П. сообщаю, что по наведенной справке таковая в списках погибших и пропавших без вести не числится.

Начальник 3 отдела УК ГКСУ Макаров (подпись).
Пом. Нач. отдела Куприянов (подпись)»

Есть еще несколько бумаг – не перепечатываю сейчас – от 1964 и 1974 годов.

Сохранилась открытка от медсестры Маши Комоловой.

«... июня 43 г

Тов. Ясиновская

Очень прошу Вас сообщить, где находится Ваша дочь Зина и ее адрес. Я с Зиной училась на курсах медсестер. И вместе поехали на фронт в разные части. И вот скоро будет год, как я о ней ничего не знаю. Очень жаль, все мои попытки узнать о ней были напрасны. Я решила просить Вас, чтобы Вы сообщили о ней...»

Пришло письмо от Харкевича – врача, с которым Зина работала.

«Уважаемая тов. Ясиновская! Получив Вашу открытку от 2.5.43 г., спешу Вам ответить. Ваша дочь Зина, как я Вам уже писал, отстала от части........ и в данный момент, конечно, ее адрес нам неизвестен. И узнать его невозможно. Так же, как и наш ей. Я уверен, что она жива и здорова. Т.ч. Вы не волнуйтесь за нее. Письма ходят очень медленно, т.ч. Вы не отчаивайтесь. Зина мне была большим другом и помощником. Я тоже жду от нее вестей. Если что узнаю, немедленно сообщу Вам. Я так понимаю Вас. При первой возможности буду у Вас.

Харкевич».

Мы с мамой предполагали, что это о нем Зина писала в письме ко мне. Однажды он зашел к маме и сообщил, что он с группой раненых передвигался отдельно от Зины, которая сопровождала других раненых. Было отступление, и они двигались порознь. Больше он ее не видел.

Он еще раз сказал, что Зина была его близким другом, но ничего более не прибавил. Я даже не узнала от мамы его имени и отчества. Он принес маме какие-то продукты. Мама была так взволнована, что больше ничего не могла спросить о Зине. Он только сказал, что она стала прекрасной хирургической медсестрой, и, конечно, если бы выжила, то это стало бы ее профессией...

Неизвестно, как прожила Зина последние дни и часы. Маме в марте приснился мистический сон, что Зина кричит из окна горящего дома: «Мама! Мама!». Я внушала маме, что, возможно, Зина жива и находится в плену. Однако сама я в это не верила и понимала, что ее больше нет на свете. Так окончилась недолгая жизнь доброй, простой, прекрасной девушки. Она была счастливой в детстве и совсем коротко, незадолго до смерти, когда помогала раненым солдатам и полюбила....

Вокруг «дела врачей»

«Дело врачей» застало нас, нескольких биологов, окончивших МГУ, в маленькой лаборатории Боткинской больницы. Лаборатория была создана еще в двадцатых годах замечательным физиологом А.Ф.Самойловым. Он одним из первых заложил основы электрофизиологии сердца в норме и в патологии.

После ранней смерти Самойлова экспериментальные исследования продолжались, однако постепенно все большее значение приобретала работа для нужд клиники – расшифровка электрокардиограмм больных.

В начале 1948 года профессор М.Е.Удельнов, наш научный руководитель на биофаке МГУ, получил предложение от М.С.Вовси возглавить научную работу лаборатории. При этом он пригласил в лабораторию нескольких в то время безработных своих учеников.

Здесь мне придется вернуться к годам нашей учебы. В конце сороковых на биофаке кипели страсти. Биофак являл собой цитадель генетики и дарвинизма. Н.И.Вавилов был уже арестован, его институт разогнан, однако в университете работали такие ученые генетики, как А.С.Серебровский и Б.М.Завадовский, дарвинисты И.И.Шмальгаузен и Д.А.Сабинин. Они и работающие с ними молодые ученые и студенты противостояли напору лженауки, возглавляемой Т.Д.Лысенко и его «теоретиком» И.И.Презентом. Сперва полемика шла только в научных журналах и на конференциях, но в начале ноября в «Литературной газете» была опубликована статья Лысенко «О внутривидовой борьбе». Лысенко утверждал,

что внутривидовой борьбы не существует, и поэтому она не может быть движителем эволюции. «Заяц зайца не ест, и волк волка не ест, а волк зайца ест». Другим ошеломляющим открытием Лысенко было утверждение о наследовании приобретенных признаков. Конечно, его теории опирались на умелую манипуляцию работами селекционеров-практиков. Последний тезис, манящий перспективой без особого труда заполнить закрома родины, особенно нравился руководству страны.

Естественно, что эта антинаучная популистская статья Лысенко вызвала бурю негодования среди ученых-биологов. Они пригласили Лысенко на публичную дискуссию. Волнение и азарт борьбы окрыляли студентов, собравшихся в Зоологической аудитории. Публики было столько, что приглашенные участники дискуссии не смогли войти в эту аудиторию. Пришлось дискуссию перенести в Большую, так называемую Коммунистическую аудиторию. Первым выступил зоолог А.Н.Формозов, рассказавший, как идет борьба за существование среди популяций зайцев и волков. Затем академик Шмальгаузен многословно и несколько занудно изложил основы эволюционной теории. Красноречиво и, как нам казалось, убедительно выступил Завадовский. Однако наиболее убедительно, с неопровержимой логикой представил свою позицию Сабинин, рассказавший о внутривидовой борьбе у растений. Со стороны «противника» очень находчиво и весьма эрудированно выступал Ф.А.Дворянкин. Он носил черную косоворотку, на ногах кирзовые сапоги, «косил», как теперь говорят, под мужика.

Надо сказать, что студенты сопровождали аплодисментами каждый удачный аргумент. Однако для нас всех самой большой сенсацией было выступление нашего комсорга студента пятого курса Романа Хесина. Он в первые дни войны ушел в ополчение, воевал и был тяжело ранен. Его привезла из полевого госпиталя наша однокурсница Мариша Варга. Его оперировал ее отец. Поправившись, Роман увлеченно начал работать на кафедре генетики и проявил недюжинную творческую активность. Его вы-

ступление было не только аргументированным, но резким и боевым по существу. Он обвинил лысенковца в невежестве, манипулировании и подтасовке. Гром аплодисментов сопровождал его речь. Мне же запомнились заключительные слова Ф.А.Дворянкина: «Зря вы веселитесь. Мне это напоминает старинный лубок "Как мыши кота хоронили"!» Его слова оказались пророческими.

Ученые и студенты не успокаивались. Следующая дискуссия проходила в стане врага – в юсуповском особняке, где размещался президиум ВАСХНИЛ. Я прибежала туда в конце заседания и застала на трибуне Лысенко, кричащего в притихшую аудиторию. Он изобличал ученых-генетиков, и здесь, кажется впервые, был озвучен термин «вейсманизм – морганизм», представленный как враждебное идеалистическое учение, мешающее развитию передовой сельскохозяйственной науки и практики. Лицо его исказилось злобой, челка спустилась на лоб, и он чем-то стал похож на Гитлера...

Весной 1948 года защитили диссертации генетики Шапиро и наш друг Роман Хесин. Мы весело отметили это событие на кафедре генетики. «Птичка ходит весело по тропинке бедствий». Дрозофилы, плодящиеся в пробирках, не знали, что срок их жизни в советской стране обозначен. Весной мы сдали государственные экзамены, защитили дипломы. Меня рекомендовали в аспирантуру.

Летом я и подруга на даче готовились к экзамену по марксизму-ленинизму. Взяв утром номер газеты «Правда», видим на развороте доклад Лысенко на сессии ВАСХНИЛ. По содержанию это был поразительный сплав антинаучности, безграмотности, фанатизма, сдобренных жульническими экспериментами. Мы поняли, что генетике пришел конец, как только прочли первую фразу: «Мой доклад одобрен ЦК КПСС и лично тов. Сталиным». Этот неопровержимый довод смёл все: работу и судьбы ученых-генетиков и дарвинистов, а заодно и тех, кто их поддерживал. На страницах «Крокодила» появились джентльмены, высасывающие из мухи дрозофилы

лжетеории о том, что наследственность передается генами.

Ученый совет биофака во главе с деканом С.Д.Юдинцевым, включавший непокорных профессоров, был разогнан. Деканом стал Презент, темная аморальная личность, главный теоретик Лысенко.

Грустно было видеть, как некоторые хорошие ученые, например энтомолог Е.С.Смирнов, публично раскаялись и признали верность теорий Лысенко. Не сдавшийся профессор Сабинин был уволен. Промаявшись несколько месяцев без работы, он согласился на должность заведующего строящейся в Геленджике биостанции. Там, в одиночестве, вынужденный выбивать стройматериалы, промозглой ранней весной он покончил с собой...

Коснулось это событие и нас, рекомендованных в аспирантуру теперь уже разогнанным ученым советом. Мы не были допущены к экзаменам. Найти работу долго не удавалось. Здесь я впервые лично столкнулась с проявлением антисемитизма. Все уже было договорено о приеме меня на вакантное место в Институте терапии АМН СССР, осталось только заполнить анкету. С ней направился в кабинет директора заведующий лабораторией, в которую меня брали. По дороге он прочитал анкету. Выйдя через некоторое время из кабинета директора, он смущенно сказал мне, что произошло недоразумение – вакансии не оказалось.

Поэтому, когда появилась возможность попасть в лабораторию Боткинской больницы, я была счастлива.

Нас было пятеро – из одного гнезда, с биофака. Мы с энтузиазмом принялись за работу. Бесспорным лидером была Инна Кедер-Степанова, уже защитившая кандидатскую диссертацию. Зарплату нам платили мизерную – 60 рублей, столько в то время зарабатывали врачи. Но мы были счастливы тем, что работаем вместе под руководством нашего любимого учителя Удельнова. По согласованию с М.С.Вовси, нашего клинического шефа, мы должны были вести «производственную работу» – расшифровывать ЭКГ больных всей Боткинской больницы. Мы же,

физиологи, рвались к экспериментальной работе. Мы начали изучать модель инфаркта миокарда в экспериментах на животных. Аппаратуры нам досталось не много: допотопный струнный гальванометр начала века, приобретенный Самойловым в Германии, и только что появившийся первый советский прибор ЭКП – для регистрации ЭКГ больных. От шефствующего над нами авиационного завода мы получили шлейфовый осциллограф. Там же соорудили нам металлическую клетку-комнату для предотвращения наводок на слабые токи живых организмов. Все приборы регистрировали процессы на кинопленку, что представляло дополнительные трудности: пленка, как и химикаты, была дефицитом.

Так как лаборатория была общебольничной, профессор Р.А.Лурье, заведующий кафедрой неврологии ЦИУ, предложил нам организовать исследование электроэнцефалограмм (ЭЭГ) у больных с заболеваниями головного мозга. Меня послали на стажировку в Институт нейрохирургии. Сотрудники института были пионерами в Советском Союзе в исследовании электрической активности мозга. Мне посчастливилось поучиться у лучших специалистов в этой области. Много дали и семинары, проводимые заведующим электрофизиологическим отделением академиком А.А.Русиновым. Мне повезло: удалось раздобыть новый «трофейный» электроэнцефалограф. Оборудовали новый кабинет, и я начала работать – обследовала больных с опухолями мозга и эпилепсией для локализации в дальнейшем очага поражения.

Однако вслед за «лысенковской» сессией, коснувшейся нас, физиологов, по касательной, в 1950 году прошла так называемая павловская сессия АН и АМН СССР, на которой определяющей в физиологии и патологии организма человека была признана кора головного мозга. В те времена на итоги сессии, опубликованные во всех центральных газетах, должны были откликнуться все научные и лечебные учреждения страны. Так как в нашей лаборатории ЭЭГ занималась я, то М.С.Вовси предложил мне исследовать изменения активности биотоков мозга при

стенокардии. Я пыталась отнекиваться, ссылаясь на бесперспективность этой работы. С физиологической точки зрения можно было ожидать только общую реакцию на боль, которая выражалась на ЭЭГ в усилении быстрых ритмов и асинхронных колебаний потенциалов. Однако с начальством не поспоришь, и мы с ординатором начали регистрировать ЭЭГ у больных с частыми приступами стенокардии.

Так сложилось, что мы обладали не только экстерриториальностью (у нас было большое помещение), но и некоторой независимостью, которая усугублялась наличием биологического образования. Мы-то им гордились, а большинство врачей считали нас ущербными, так как, с их точки зрения, мы не могли понять сущности болезни.

Дружба с биофака, любовь и уважение к нашему учителю Михаилу Егоровичу Удельнову, желание работать, заниматься наукой скрепляли наш небольшой коллектив. Существенным было и то, что в лаборатории проходили еженедельные коллоквиумы, на которых обсуждалась текущая работа и реферировались свежие статьи из журналов, обычно иностранных. В коллоквиумах участвовали студенты, аспиранты и сотрудники биофака, работавшие в контакте с Удельновым. Это была сильная творческая группа. Впоследствии большинство из них стали крупными учеными – член-корреспондент, академик Л.Чайлахян, доктора наук И.Кедер-Степанова, Б.Кулаев, А.Трубецкой, Ю.Аршавский, С.Ковалев, Е.Новикова и другие.

После коллоквиума мы пили чай с принесенными из дома бутербродами. Здесь разговор обычно переходил на общие темы. Нас соединяла не только общая работа, но и дружба, доверие. У Инны Кедер-Степановой был расстрелян отец, а мать отбывала срок в лагере, у Сони Раевской (она происходила из той самой дворянской династии Раевских) отца убили в НКВД.

Работая для нужд клиники, мы жадно впитывали недостающие знания: читали медицинскую литературу, посещали обсуждения историй болезней больных, которые блестяще вел М.С.Вовси.

Мы не были в курсе подводных течений жизни больницы, однако знали, что незадолго до нашего прихода в лабораторию был арестован главный врач больницы, известный в то время клиницист и организатор Б.А.Шимелиович. Не прошли мимо нас и Постановление ЦК КПСС о «великой дружбе», шельмующее таких известных во всем мире композиторов, как Шостакович, Прокофьев и другие, а также освещавшийся в прессе разгром «антипартийной группы» литературных критиков. Знали мы об аресте членов Антифашистского еврейского комитета, куда входили поэты Лев Квитко и Перец Маркиш, артист В.Л.Зускин, С.М.Михоэлс и другие. Эти люди, уничтоженные в застенках Лубянки, как бы сгинули с лица земли.

И вот наступило утро 13 января 1953 года. Мы все сгрудились вокруг газеты с кратким сообщением ТАСС «Арест группы врачей-вредителей». В сообщении было сказано, что М.С.Вовси, М.Б.Коган, В.Н.Виноградов и другие деятели медицинской науки обвиняются в умышленном убийстве наших вождей и крупных деятелей культуры, а также в шпионаже в пользу иностранных государств. Несмотря на то, что среди обвиняемых в страшных злодеяниях был Виноградов и несколько других русских врачей, основная направленность сообщения носила явный антисемитский характер. Подчеркивалось, что связь с иностранными разведками через сионистскую организацию «Джойнт» осуществляли народный артист Михоэлс и главврач Боткинской больницы Шимелиович. Этот акцент на единении международного еврейства делала пресса всей страны. Особенно усердствовал «Крокодил» – не только в длинноносых карикатурах, но и в фельетонах. В одном из фельетонов – «Дядя Пиня из Жмеринки» – сатирически живоописалось, как хитрый и коварный еврей обманывает доверчивого русского. Эта кампания была естественным продолжением преследования литераторов-космополитов и раскрытия их псевдонимов – вместо русских литературных имен указывались подлинные еврейские фамилии.

Настоящая паника, связанная с «делом врачей», охватила наиболее темную часть населения, разбудив задремавшие было антисемитские настроения, погромную психологию. По всей стране эти настроения выливались в открытое преследование врачей-евреев.

Особую роль сыграло сообщение о том, что первой преступления врачей раскрыла рядовой врач Кремлевской больницы Лидия Тимошук, награжденная за это орденом Ленина. В «Правде» был напечатан целый подвал «Почта Лидии Тимошук» с письмами, в которых люди восхищались ее мужеством и бесстрашием при разоблачении преступлений врачей.

Приходя на работу, мы узнавали о последних, как правило печальных, событиях и слухах. Арестовали прекрасного терапевта профессора Н.Е.Незлина, автора первой русской монографии по электрокардиографии. Вспоминаю плачущую доктора Н., хорошего невропатолога с выраженной еврейской внешностью. Ее вызвали в дирекцию и сказали: «Больные вам не доверяют, подавайте заявление об уходе». Не могу вспомнить фамилию врача, пользовавшегося уважением коллег, но помню, как часто, разбирая сложные случаи, Вовси обращался к нему, спрашивая его мнения. Человек этот был одинок. Его вызвали на Лубянку, требуя дать показания против его арестованного друга профессора Гринштейна. Он повесился, не выдержав давления НКВД.

Но и в эти времена были люди, проявлявшие стойкость и мужество в отстаивании своих убеждений. Вспоминаю заведующего неврологическим отделением Боткинской больницы И.Г.Вайнштейна. В его отделении всегда был порядок. Он был тем, о ком говорят «строг, но справедлив». Появлялся он в отделении рано, обходил с сестрой всех больных, выяснял у дежурного врача о срочных ситуациях. На утренней короткой конференции давал четкие указания. Он любил жизнь, женщин, хорошие книги, особенно французские, театр, был остроумен, весел и галантен. Он говорил: «Врач сквозная специальность – в больнице, на войне, в плену, в лагерях – немец-

ких и наших...». Поэтому, когда его вызвали в дирекцию и предложили уйти по собственному желанию, он категорически отказался. «Я должен и буду работать. Если «органы» посчитают необходимым, то уйду я или нет, они все равно меня арестуют». А нам говорил: «Зачем я должен поперек батьки лезть в пекло?» Так и продолжал работать. Уволить не решались – его отделение бессменно держало переходящее «Красное знамя» (кто теперь помнит, что это такое?!).

Но вот объявляют о митинге. В конференц-зале больницы собирались сотрудники. Кто-то был встревожен и подавлен, другие шли с любопытством. Идти не хотелось, но я пошла.

Зал забит, все притихли. На трибуне ординатор Мирона Семеновича молодая женщина Х., недавно защитившая диссертацию. Она была толковым, способным врачом и близким человеком в окружении Вовси. Ее муж, крупный партийный работник, не так давно переехавший в Москву, занимал высокий пост. Арест Вовси ошеломил и перепугал ее. Еще недавно никто не сомневался, что она станет доцентом, займет место старой сотрудницы Берлин. Теперь она стояла на трибуне и четко произносила: «Мне стыдно перед партией и правительством, перед всеми советскими людьми. Как я, находясь постоянно рядом с Вовси, не могла распознать отъявленного врага, хитрого и коварного, и, что самое ужасное, опозорившего высокое звание врача?! Сейчас я отчетливо вспоминаю несколько случаев, когда должна была насторожиться. Присутствуя на консультации Вовси одного видного партийного товарища, я видела, что он назначил очень большую дозу сильнодействующего глюкозида. Я усомнилась. Но слепое признание авторитета Вовси перевесило, и я ничего не сказала о своих сомнениях.

Так случалось не раз. Таким же образом он «лечил» и других партийных и государственных деятелей. Только теперь, когда я прозрела, я понимаю, что эти так называемые странности в лечении, которые я замечала, но не осознавала, были злонамеренными действиями и вели

к ухудшению здоровья больных или даже к летальному исходу. Теперь, когда мы узнали о подвиге Лидии Тимошук, которая преодолела страх перед преступной шайкой, мне особенно тяжело и стыдно. Она преодолела страх перед всесилием круговой поруки и связями этих выродков. Страшно подумать, что бы случилось с Тимошук, рядовым врачом, если бы бдительные чекисты не обратили внимания на ее сигнал или посчитали его клеветой... Теперь, когда все советские люди пишут ей, восхищаясь ее мужеством, я особенно чувствую свою вину. Врачи-убийцы должны понести достойную кару – они должны быть приговорены к смерти»...

Не могу вспомнить, кто и что еще говорил на митинге, но потрясло трагизмом выступление профессора Фрумкина. Этот превосходный хирург, глава и родоначальник советской нефрологии, был естественно связан узами дружбы и товарищества с М.С.Вовси и другими участниками «дела врачей». Как и многие другие знаменитые медики того времени, наряду с Боткинской больницей он работал в Кремлевке. Там он консультировал и оперировал многих высокопоставленных лиц и тем спас им жизнь...

Его с трудом вытолкали на сцену. Он стоял ни жив ни мертв и вдруг среди всеобщего молчания произнес: «Эти несчастные люди...». Осознав, что из его уст вырвалось нечто немыслимое, непоправимое, он запнулся, растерялся и выдавил из себя: «Я хотел сказать: эти отверженные враги нашего народа...». Все это было так ужасно, что я ушла, уверенная о неотвратимом будущем – аресте Фрумкина. Однако дни шли, а его не арестовали. Может, помог какой-то высокопоставленный благодарный пациент...

А жизнь в больнице продолжалась. Однажды наша заведующая сказала, что к нам придут два врача из Кремлевской больницы познакомиться с работой лаборатории. И вот появляются две респектабельные дамы. Мы демонстрируем им последние методики обследования больных и скудную аппаратуру, частично сконструированную нашим техником. Видят они и наш допотопный струнный

гальванометр. Наверное, этот гальванометр привел бы в восторг коллекционера старинной техники. «И у нас такой стоит бог знает с каких времен. Мы получили новые электрокардиографы от Сименса, а этот хотим списать, только место занимает». «Как списать? Отдайте его нам». «Я думаю, это будет нетрудно, в порядке шефской помощи». Я хватаю ручку, чтобы записать номер телефона, и слышу: «Лидия Федосеевна Тимошук». Пауза. Гордо вскинутая голова. Уже привыкла к эффекту, производимому ее именем. И Тимошук, весьма довольная произведенным эффектом, неспешно попрощалась и удалилась.

И хотя после XX съезда Тимошук лишили ордена Ленина, полученного ею за донос на врачей, она осталась работать в Кремлевке и при очередном юбилее этого учреждения ей наряду с другими вручили орден. Может, «Дружбу народов» – как наиболее соответствующий ее деятельности.

Теперь мне придется написать о семье моего мужа Миши Литвинова. Мы встретились и подружились с Мишей в 1937 году, но решение «расписаться» пришло внезапно и совсем не на романтической основе. Его отец Максим Максимович был наркомом иностранных дел. 3 мая 1939 года около часа ночи в комнату Миши постучался Максим Максимович и позвал его. Миша долго не возвращался. Я понимала, что разговор серьезный. Вернувшись, Миша рассказал, что на заседании Политбюро папу сняли с работы. Выступил сам Сталин, объясняя отставку непониманием Литвиновым новых задач Советского Союза и значительным числом врагов народа в Наркомате иностранных дел. Руководить международной политикой поставили В.М.Молотова, давнего недоброжелателя Литвинова.

Максим Максимович не сомневался, что за этим решением последует арест, однако твердо решил, что тюрьма и пытки не для него: под подушкой у него всегда лежал револьвер... Он был уверен, что и членов его семьи арестуют. Я к тому времени уже хорошо знала по судьбам школьных подруг, что справки об арестованных в НКВД

на Кузнецком, 25 дают только родственникам. Сразу же после отставки Максима Максимовича, 5 мая 1939 года, мы с Мишей побежали в загс регистрировать наш брак. Однако ни Максима Максимовича, ни членов его семьи не арестовали.

С горечью и страхом за будущее страны он наблюдал за сближением с фашистской Германией, завершившимся осенью 1939 года заключением Пакта о ненападении.

М. М. всегда был очень деятельным человеком. Он решил заняться составлением словаря синонимов русского языка.

Поворот в его судьбе произошел в начале войны, когда Запад стал нашим союзником. Сталин был вынужден вновь прибегнуть к помощи М.М.Литвинова. В ноябре 1941 года Максима Максимовича направили послом Советского Союза в США. Одновременно он был назначен и заместителем наркома иностранных дел. В течение двух лет Литвинов активно работал в Вашингтоне, стараясь ускорить открытие Второго фронта. Но через два года его отозвали в Москву, и было ясно, что в США он не вернется. Некоторое время он еще числился заместителем министра В.М.Молотова, который, как я упоминала, относился к нему враждебно, и Литвинов фактически был не у дел.

По возвращении из Америки М. М. получил квартиру в «Доме на набережной». Там мы жили вместе с М. М., его женой, с семьей Мишиной сестры Тани и с четырьмя нашими и Таниными детьми.

Летом 1951 года М. М. перенес инфаркт. 30 декабря его жена Айви Вальтеровна проснулась в четыре часа утра и зашла к мужу. Максим Максимович открыл глаза и сказал по-английски: «Англичанка, уезжай домой». Затем закрыл глаза, вздрогнул, и она поняла, что он умер...

Сухой формальный некролог был напечатан в «Правде». Гроб выставили в Министерстве иностранных дел. Неожиданно много людей пришли на гражданскую панихиду. Некто из министерства слово в слово повторил напечатанный краткий некролог... Хоронили на Новодеви-

чьем кладбище. Легкие снежинки падали на лицо и серый костюм Максима Максимовича и почему-то не таяли...

Однако жизнь продолжалась. Мы с Мишей перебрались в большую комнату М. М. с окнами на Москву-реку и давно заброшенный пустырь с торчащими надолбами на другом берегу. (Это место после разрушения храма Христа Спасителя предназначалось для Дворца Советов.) Наши дети, Ниночка и Павлик, обосновались в двух маленьких комнатах.

По всей стране и, конечно, в нашей больнице шли аресты и увольнения врачей-евреев. Распространялись слухи о предстоящей депортации евреев в Сибирь, где строились лагерные бараки. Доверенным лицам объясняли, что депортация – шаг необходимый: так как суд над врачами-убийцами предполагалось сделать открытым, депортация предотвратит народный стихийный гнев...

Природное мое легкомыслие не позволяло думать о том, что с нашими детьми и с нами может случиться что-то ужасное. Я больше читала детям стихи и сказки. Между тем нас подстерегало непредвиденное. Павлик в то время увлекся химией. Я поддерживала его увлечение, принесла из лаборатории спиртовку, пробирки и некоторые химикаты. И книгу «Юный химик». Однажды Павлик подогревал что-то в пробирке. Кипящий раствор выплеснулся на пропыленные шторы, и они загорелись. К счастью, дома была моя мама. Почувствовав неладное, она вызвала пожарных, и пожар затушили. Мы с Мишей вернулись только вечером.

На следующий день, когда я убирала остатки горелых штор, мыла полы, зазвонил телефон. «Литвинова? С вами говорит управляющий домом Совета Министров. Вы что это пожары устраиваете? Собираетесь Дом правительства поджечь? Этот номер у вас не пройдет. Завтра же выметайтесь с вашей семейкой из квартиры». «Куда?» «А куда хотите. Держать вас в нашем доме мы не намерены. Нечего было поджигать». «Но нам ехать некуда». Я вконец растерялась. «Это ваше дело, я вас предупредил. Исполняйте». Гудки... Маме я ничего не сказала.

Миша же, как всегда в критические моменты совершенно спокойный (во всяком случае внешне), сказал: «Мы никуда не поедем». На следующий день мы оба остались дома, но звонков больше не было. Чья это была инициатива, мы так и не узнали...

Наступил март. В газетах появились сообщения о болезни Сталина. Это было впервые. Вся страна замерла в ожидании сводок о ходе болезни. Непонятное большинству «дыхание Чейна–Стокса» для врачей означало агонию. Что ожидает нас и всю страну, когда он, казавшийся бессмертным, уйдет в небытие? И вот 5 марта – Сталина больше нет!

Скорбь и отчаянье охватили людей. Он – символ мудрости, могущества нашего государства, победы в войне. Он – отец народов СССР и трудящихся всего мира. Кроме скорби царил страх за будущее без него, мудрого и великого вождя. Хорошо помню и свои чувства и мысли. Нет, о нем я не печалилась, с юности я постепенно прозревала его нечеловеческую суть, губительную жестокую волю. Однако страх был. Ведь он держал в руках все нити, все было ему подвластно. Без него может произойти что-нибудь непоправимое, непредсказуемое. Думалось, что уже не эшелоны и бараки ожидают высланных евреев, а просто погромы... И только наш друг Миша Левин, работавший после ссылки в Тюмени, рассказывал потом, как он бродил по морозным улицам счастливый. Дело в том, что он и его друзья-подельники обвинялись в подготовке убийства Сталина. Многие из них получили большие сроки, а двое погибли в заключении. Во время допросов Левина следователь повторял: «Вас расстреляют, а Сталин будет жить вечно». Услышав по радио о смерти Сталина, Миша бродил по улицам в распахнутом пальто, видел плачущих людей и повторял: «Ты-то сдох, а я жив!»

4 апреля... Весенний, капельный, отчаянно счастливый день. В «Правде» опубликовано сообщение Министерства внутренних дел о том, что все «дело врачей» было сфальсифицировано, а признания заключенных в убийствах, вредительстве и шпионаже добыты под пытками. Все

обвиняемые, кроме умершего в тюрьме Этингера, были освобождены и реабилитированы. Что творилось утром в нашем доме, когда Миша услышал это сообщение по радио. Я побежала и разбудила Таню и ее мужа, мы носились по квартире, танцуя и перебегая из комнаты в комнату. Дети смотрели на нас с удивлением и тоже приняли участие в общем веселье. Когда я прибежала на работу, по больнице ходили счастливые люди и улыбались друг другу. Чувство облегчения и какое-то ликование были повсеместными. И те, кто ранее злорадствовал, теперь, искренне или нет, радовались со всеми...

И вот наступил день, когда Мирон Семенович Вовси приехал в больницу. Все возбуждены, приветствуют его, похудевшего и измученного. Первой, с громадным букетом, к нему в слезах бросилась ординатор Х. «Я всегда была уверена в вашей невиновности». А прошло всего два с половиной месяца. Как сказал старик Шекспир, «башмаков еще не износила». Вовси обнял ее. Все плакали. Переживший все муки самооговора, он прощал и понимал всех. Я не сразу пошла к нему. Прошло некоторое время, когда я увидела его снова. Он догнал меня во дворе, когда я уходила с работы. О пережитом я не спрашивала, и мы заговорили о работе. За этот период я обработала ЭЭГ больных во время приступов стенокардии. Оказалось, материал был достаточно интересен. «Правда? Это замечательно! Знаете, Флора Павловна, после того, что я пережил, я понял всю тщету успеха, званий, орденов и власти. Теперь я буду заниматься только больными и наукой». К сожалению, это его желание было тщетным – его завертела жизнь с каждодневными делами, стереотипами, интригами, подхалимажем окружающих. А вскоре его настигла смертельная болезнь – саркома. От него скрывали диагноз, но здесь он проявил мужество – поехал в какой-то маленький рентгеновский кабинет и сделал снимок больной ноги, назвав другую фамилию. Рентгенолог сказал, что это саркома.

Ногу ему ампутировали, и после этого он переселился из дома в свой кабинет в больнице. Пока мог, продолжал

консультировать. Все сотрудники с нежностью за ним ухаживали. Умер он, не дожив до шестидесяти трех лет. И другие участники «дела врачей» умерли преждевременно. Только профессор Я.Л.Рапопорт, не подписавший ни одного протокола во время следствия, дожил до глубокой старости. В книге «На рубеже двух эпох» он оставил нам замечательные воспоминания о самом «деле врачей», которое знал изнутри, о следствии и тюрьме.

Записки об Анатолии Марченко

Август 1989 года. Чистополь. Прошло уже почти три года после Толиной гибели в здешней тюрьме. Мы (Лара Богораз, сын Толи и Лары Павлик, я и еще несколько друзей) приехали сюда, чтобы поставить камень на его могилу. Это высокая, в рост человека, глыба гранита. Привезли камень из Латвии на «КамаЗе» рано утром. С помощью лебедки его и четыре гранитные тумбы доволокли до могилы. Но надо было еще поднять эту глыбу и вкопать в яму.

Мужчин было четверо. Павлик Марченко, Сергей Ковалев, сам просидевший год в Чистопольской тюрьме после шести лет лагерей, Феликс Красавин из Горького – давний сотоварищ Толи по Мордовским лагерям, Сережа Кириченко – молодой человек, недавно освободившийся из заключения и Толю не знавший. В помощь нашли двух работяг. Однако установка памятника оказалась делом чрезвычайно трудным: глыба весила больше тонны. Работали уже несколько часов, а камень все не удавалось поставить. Его громада шевелилась на катках из бревен, но подниматься никак не хотела. Лара сидела рядом с могилой. Ребята нажимали на бревно, служащее рычагом, как вдруг оно выскочило из ямы и пролетело в нескольких сантиметрах от Лариной головы! Мы почти не успели испугаться, но от ужаса рока оцепенели.

Мы с Ларой решили съездить в город за едой, купили в ресторане котлет, на рынке – помидоров и вернулись к нашим оголодавшим мужчинам. Перекусив, взялись опять. Все устали донельзя. Казалось, поставить камень без механизмов невозможно. Но недалеко от Толиной мо-

гилы две молодые пары поминали покойницу. Они уже выпили и закусили. Шел возбужденный, громкий, но мирный разговор. Я подошла к ним: «Ребята! Может, подмогнёте?» Раскрасневшиеся здоровые парни охотно включились в общий рывок, и плита встала. На открывшейся серой поверхности – коричневатый блеск отполированного креста и внизу надпись:

«Анатолий Тихонович Марченко.
23 января 1938 – 8 декабря 1986».

* * *

Впервые я увидела Толю при обстоятельствах необычных. Звонок. И в дверь, открытую моим сыном Павлом, вбежал молодой человек. Он промчался сквозь коридорчик на кухню и только там рывком повернулся. Бежал он, как бы опережая себя, легко, прыгуче. Повернулся внезапно, сразу всем туловищем и так быстро, что руки как будто отставали. Торс – мощный, красивый, лицо скуластое, темные быстрые глаза. Речь возбужденная, плохо артикулированная. Я знала, что уже давно, после тяжелого воспаления среднего уха, Толя плохо слышит. Он был в тапочках, тренировочных брюках.

Только что он убежал из Лариной квартиры. Лара уехала в Потьму на свидание с мужем Юлием Даниэлем, а Толя сидел в ее квартире и перепечатывал на машинке свою первую книгу – «Мои показания». После рассылки рукописи в редакции нескольких журналов у Толи остался только один экземпляр. Из окна увидел приближавшихся гэбистов. Затем – звонок в дверь. Толя не открывал, пытался спустить бумаги в унитаз. Звонки продолжались. И мгновенное решение – удрать в окно, через кусты и на улицу. И – к Павлу...

Это было время после Ларинего и Павликиного послания «К мировой общественности» о неправедном суде над Гинзбургом, Галансковым, Лашковой и Добровольским. Множество людей откликнулись на это послание, присоединились к протесту. Павлик жил вместе с сестрой и ее семьей. По «приемным вторникам» у Павла собиралось

много людей, знакомых и незнакомых. Я часто бывала у детей: помогала дочери с новорожденным. Я сочувствовала, но боялась. И, конечно, опасалась за Павликину судьбу. Множество самиздатских текстов – писем, посланий, литературных произведений – курсировало в среде сочувствующей демократическим идеям интеллигенции, ходило по рукам. Несколько позже начали выпускать «Хронику текущих событий» – Наташа Горбаневская и Павел, наш сын. Наташа сама и печатала первые экземпляры на тонких шелестящих листочках. «Хроника» сообщала обо всех ставших известными преследованиях людей за их убеждения. Это было первое периодическое издание в СССР, конечно, нелегальное, обличающее политику и действия властей в самой уязвимой для них области, в области идеологии. Зимой 1967–1968 годов Павлик дал мне книгу Анатолия Марченко «Мои показания», отпечатанную на машинке, – воспоминания о шести годах, проведенных в Мордовских лагерях и Владимирской тюрьме. Книга потрясла болью, трагизмом и безысходностью человеческих судеб; не в сталинские, прошедшие года, а сейчас...

Много позже, гуляя в Карабанове, Толя рассказал о том, как писалась эта книга. В своей последней книге «Живи как все» Толя описал все сам, но для тех, кто не читал эту замечательную книгу, попытаюсь воспроизвести кратко то, что он мне рассказал:

«Находясь в лагере, я был одержим мыслью поведать всему миру о бесчеловечных условиях жизни в лагерях и тюрьмах.

Встреча в лагере с Юлием Даниэлем была для меня громадным жизненным событием. Ум, громадные знания, писательский талант, остроумие, оригинальность – все поражало и восхищало меня. Таких людей я прежде не встречал. О деле Синявского и Даниэля мы читали в газетах, да и «воспитатели» наши просвещали и предупреждали нас об опасности общения с ними. Особенно поразило меня то, что они не раскаялись, не признали свою вину. Я старался общаться с Даниэлем при любой возможнос-

ти – на работе, в бараке, на прогулке. Я чувствовал, что и его очень волнует то, что рассказываю я. Я же был этой мыслью одержим. Мир должен знать: сталинские лагеря не кончились. Сейчас сажают много меньше, но законы лагерной жизни не менее жестоки и не более правосудны.

Собственно, мысли мои на этот счет были самые наивные. По выходе из лагеря найти какого-нибудь иностранного корреспондента, все как есть ему рассказать, он запишет все это, передаст «туда» – и весь мир содрогнется. Тогда я еще совсем не понимал, что люди не хотят и не готовы услышать такие вещи...

О том, что писать трудно, что этому надо учиться, и то не у всех получается, я тогда совсем не думал. Главное – сказать всему свету об этой скрытой от них чудовищной жизни. Еще меня то бесило, что наши газеты, радио непрестанно возмущаются проявлениями бесправия в странах капитала, пишут о голодных, безработных, а того, что происходит с нашими гражданами, если они попали за решетку, даже и не по политике, никто знать не хочет. Что они – нелюди? Что, они должны жить в дикости, голоде, грязи и унижении? Мало того, что они лишены свободы, разлучены со своими семьями, лишены нормального труда, живут в условиях, в которых хорошие хозяева и скот не держат? А ведь людям не только харч и койка нужны, они люди.

В какой-то день, когда уже близился конец моего срока, Юлий мне сказал: «Выйдешь – пойди к Ларе». Я уже много о ней слышал, об этой удивительной женщине. Как она за Юлия боролась и что она учительница литературы и пишет хорошо. Юлий говорил мне: «Понимаешь, Толя, все, что ты рассказываешь, необыкновенно интересно и важно, но писать очень трудно, и слова, которыми ты выражаешь мысль, фразы, их организовать нужно. Композиция нужна». Я всего этого совсем тогда не понимал, но взял письмишко Ларе от Юлия очень охотно. Кроме того, сам не знал, куда двину. За эти годы много чего прочел, продумал, узнал. Хотел начать другую жизнь, увидеть других людей, друзей Юлия, познакомиться с ними, уз-

нать, что в мире происходит, как и чем люди на воле живут, хотел учиться, жить как-то иначе, чем раньше. Приехал в Москву. Познакомился с Ларой, Людой Алексеевой, Наташей Горбаневской. Со Шрагиным. С Пашкой тоже. Они меня приняли как родного, одели, обули. Я ощущал, что воспитания мне не хватает, культуры. Но они никогда виду не подавали, если я что не так делал. А они все-такие интеллигенты, и жизнь в Москве необыкновенно интересная. Каждый день встречаюсь с новыми людьми. Бываю на всяких собраниях, на разных кухнях. Уезжать не хотелось. Пробовал устроиться поблизости, в Курск, в Калинин – ничего не вышло. Поехал к родителям в Сибирь. Мать очень хотела, чтобы я утихомирился. Нашел бы работу, обзавелся семьей, она бы внуков нянчила. Но я уже не мог с такой жизнью смириться, вернулся в Москву. Время тоже обнадеживало – видел рост сознания у людей самых разных.

Но главное – общение с новыми друзьями, мне уже было трудно жить без этого воздуха свободы. Гвоздила меня мысль о книге. Все думал: напишу – мир содрогнется! Нашел я работу в Александрове, снял угол. Тетя Нюра, хозяйка моя, все удивлялась: такой вахлак, а не пьет, и ездят к нему две интеллигентные москвички. Когда я Ларе рассказал все, что знал, она и говорит: «Садись, опиши случай, который ты сегодня рассказал». А мне что – случай. Я жажду обобщений, набата, грома небесного. Писал, возмущался, громил все на свете, а выходило напыщенно, ненатурально, я сам это видел. В глубине души думал: вот Лара хорошо пишет. Села бы и написала, что я ей рассказываю.

Но просить из гордости не мог. Опять начинаю. Пишу одно, перескакиваю на другое. Начинаю писать о событии, перехожу к возмущениям и обличениям. Лара читала, критиковала, советовала, как изменить, перестроить, что-то выкинуть, изменить. Но сама не писала: «Это твоя книга».

Мне опять приходилось браться за эту чертовски трудную работу. Дело двигалось медленно, урывками. Работа,

быт, жизнь в углу за занавеской, поездки в Москву, хотелось знать, что происходит, общаться с новыми друзьями. Но тревога и нетерпение не давали мне расслабиться. Я знал, твердо знал, что времени у меня мало...

К лету мы с Ларой поняли: таким образом ничего не выйдет. Решили, что оба возьмем отпуск. Поселились на какой-то базе отдыха. Взяли палатку, спальники, машинку, листы рукописи и бумагу. Расположились в прекрасном месте, на берегу речушки. Вот здесь и началась настоящая работа. Черновиков было уже очень много, мы взялись и переработали все за две недели. Я писал, Лара читала, мы обсуждали, переделывали, Лара опять перепечатывала. И так все дни, с утра до поздней ночи. Конечно, и ели, и в речке купались, но в общем день-деньской работали. К осени книга была готова.

Я разослал рукопись во все основные журналы. Результат был один – слежка за мной стала постоянной. Следующий шаг был естественным следствием ситуации. Я написал открытое письмо в Министерство внутренних дел, КГБ и персонально нескольким писателям:

«Пять месяцев назад я закончил книгу «Мои показания»... Сегодняшние советские лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские. Я хотел бы, чтобы это мое свидетельство о советских лагерях и тюрьмах для политзаключенных стало известно гуманистам и прогрессивным людям других стран – тех, кто выступает в защиту политзаключенных Греции и Португалии. Пусть они спросят своих советских коллег: «Что вы сделали для того, чтобы в вашей собственной стране политзаключенных хотя бы не воспитывали голодом?..»

Если у Вас есть хоть сколько-нибудь гражданской совести и истинной любви к Родине, выступите в ее защиту, как это всегда делали настоящие сыны России...

Наш гражданский долг, долг нашей человеческой совести – остановить преступление против человечности. Ведь преступления начинаются не с дымящих труб крематория и не с пароходов на Магадан, переполненных заключенными.

Преступления начинаются с гражданского равнодушия».

Естественно, книга была прочитана в КГБ. Толя понимал, что срок его жизни на свободе отмерен.

Наступила Пражская весна... Я не буду здесь рассказывать о ней, о связанных с нею событиях. Начавшаяся в Чехословакии демократизация казалась счастьем, чудом. Мы болели за чехов, с надеждой и тревогой следили за развитием событий. Неотрывно слушали «голоса». Наташа Горбаневская переводила чешскую «Литерарны листы», где отражался ход событий. Казалось: если чешская попытка создания социализма «с человеческим лицом» удастся – есть надежда на положительные сдвиги и в нашей стране. Вспоминаю милую, наивную частушку тех времен: «Знаю я, что будет лучше, Потому что по земле Ходит наш советский Дубчек, Скоро будет он в Кремле».

Летом 1968 года мы с внуком и друзьями плавали по озерам Латвии. Каждый вечер с волнением слушали Би-би-си. Переговоры Брежнева с Дубчеком в Чернене над Тиссой несколько обнадежили нас. Может, все как-то образуется. В конце июля по радио передали письмо Анатолия Марченко в «Правду» и «Руде право», в защиту права Чехословакии идти своим путем.

Вернувшись в Москву, узнала, что Толя арестован «за нарушение паспортного режима»; суд назначен на 21 августа.

Двадцать первого, в 6 утра – телефонный звонок. Павел: «Эти сволочи ввели в Чехословакию танки...»

В суд пустили всех друзей и желающих – в этот день было удобно держать их под присмотром. Несмотря на ничтожность обвинения, суд длился целый день. Толю приговорили к году лишения свободы (через год, за несколько дней до конца срока, ему добавили еще два года за антисоветскую агитацию).

А 25 августа 1968 года, в воскресенье, семь человек – Лара, Наташа Горбаневская, Бабицкий, Делоне, Дремлюга, Файнберг и наш Павел – вышли на Красную площадь на демонстрацию в защиту Чехословакии... Через не-

сколько минут все участники демонстрации были арестованы. В октябре был суд; некоторых приговорили к ссылке, других – к лагерю. Лара получила четыре года ссылки, ее отправили в Чуну – поселок в Иркутской области. Она работала там на деревообделочном комбинате. По пути из Забайкалья, где жил в ссылке Павел (он получил пять лет ссылки), я заехала к ней. Из Братска в Чуну поезд шел по тонувшей в воде тайге. Падал (это был май 1969 года) мелкий снег. Лару я нашла уже в собственном домишке. Она обустраивала свой немудреный быт. Ее ловкие руки пилили, строгали – она соорудила перегородку в кухне, сделала книжные полки. Однако видеть ее в этом затерянном чужом поселке, без родных и друзей, было ужасно тяжело. Она, правда, была рада известию о предстоящей женитьбе сына Сани с Катей Великановой. Она (сколько я еще буду дивиться ее разнообразным умениям!) шила Сане к свадьбе вельветовый костюм. Кате она послала удивительно красивый браслет с бирюзой, сделанный Марией Синявской в подарок Ларе. Когда я уезжала, она провожала меня на станции. Поезд тронулся; на перроне все уменьшалась ее одинокая фигура.

Когда Толин срок в лагере окончился, он приехал к Ларе... Возникшую сложную семейную коллизию Лара не считала возможным выяснять заочно. Юлий Даниэль был еще в заключении. В Чуну я больше не ездила, мы только изредка переписывались, так что о двух приездах Юлия по отбытии срока наказания в Чуну и трудностях решения Лары я знаю из более поздних рассказов. Знаю одно, что и здесь ярко проявились Толина личность, его характер. Он сказал: «Любишь Юлия – живи с ним, любишь меня – со мной».

Лара стала Толиной женой, и по возвращении из ссылки они поселились в Тарусе. Таруса – небольшой городок на высоком берегу Оки. Он издавна привлекал своей тишиной и живописностью художников и писателей. Там много лет жили Паустовский, поэтически описавший Тарусу и ее окрестности, анималист Ватагин. До революции там жили семья Цветаевых и художник Борисов-Муса-

тов. Вольнолюбивый дух Тарусы отразился в нашумевшем в шестидесятые годы сборнике «Тарусские страницы».

В Тарусе постоянно жила семья литераторов – Н.Д.Оттен и Е.М.Голышева. Их большой красивый дом, особенно после смерти Паустовского, стал неким культурным и диссидентским центром. Николай Давыдович и Елена Михайловна были людьми необыкновенными, но о них нужно писать особо. Все же не могу не вспомнить их отзывчивость, их стремление помочь гонимым. Кого только не привечали у Оттенов! Одноделец Павла и Лары Костя Бабицкий, которому они предлагали после ссылки жить у них, говорил: «Я не знаю, как отразятся их труды в истории литературы, но их домовая книга, конечно, будет храниться в литературном музее». Он имел в виду всех преследуемых, кто находил приют и поддержку в этом доме.

В 1972–1973 годах у Оттенов после отбытия срока жил Алик Гинзбург с женой Ариной. Они поженились в тюрьме и только теперь получили возможность жить вместе. Через год они купили половину крохотного дома. Скоро один за другим у них родились два сына.

Друзья помогли и Ларе с Толей купить в Тарусе кусок дома – собственно, две небольшие комнаты. Сам дом был расположен в центре города; сзади – живописный овраг. Толя решил, используя расположение дома на холме, сделать полуподвальный этаж, разместив в нем кухню, столовую, ванную и туалет. Он хотел нормальной цивилизованной жизни. Эта была тяжелая работа. Сколько тачек земли и мусора вывез оттуда Толя, не счесть. В марте 1973-го у них родился сын Павлик. Это время, несмотря на все трудности, было для них счастливым. Павлик родился крепенький, славный, темноглазый. Крестили его в селе Рождествено в красивой церкви в нескольких километрах от Тарусы.

В моей памяти слились лета 1972, 1973 и 1974 годов. В 1972 году мы с моим мужем Мишей и двумя внуками жили в Тарусе на даче. Лето было неимоверно жарким и

засушливым. Начало тянуть дымком горящих лесов и торфяников, в воздухе висел какой-то синий смрад. Но жили мы, несмотря на жару, весело. С утра на пароме или лодке переправлялись на другой берег Оки. И там, в тени деревьев, на чистом песке, проводили весь день, купаясь, болтая и читая. Наш Павел заканчивал свой срок в ссылке, у них с Майей Копелевой росли дети – Дима и родившаяся уже в Забайкалье Ларочка.

Со временем жизнь обустраивалась. В 1973 году и в 1974-м я приезжала в Тарусу навестить друзей, погулять, покупаться и поработать. У Гинзбургов и Марченко росло младшее поколение; милые мальчики радовали и внушали надежду. Толя брал лодку и перевозил на пляж Лару с Павликом. Другой берег Оки был уже в Тульской области, а Толя находился под надзором в Калужской и не имел права выезжать за ее пределы. Он высаживал Лару с Павликом на недозволенный ему берег, а сам выгребал обратно, плыл немного посередине демаркационной линии. Мы еще веселились, кричали, что он пересек запретную зону... Плыл он мощными гребками против течения, особенно сильного на повороте Оки к Поленову, подплывал к своему берегу, окунался и шел опять к бесконечным своим тачкам...

В бывшем дворянском флигельке с колоннами снимал комнату Ларин отец Иосиф Аронович с женой Аллой. Вечерами мы сидели под колоннами террасы, пили чай из самовара, и Алла пела под гитару свои песни – задорные, лирические и печальные. Маленький Павлик перемещался с Толиных на Ларины колени или убегал играть. В конце лета мы устроили выставку находок – отпечатков на камнях растений и раковин, бумажных зверей, сделанных под Мишиным руководством. Нетитулованный «губернатор» Тарусы – Оттен – гордо прогуливался с женой по горбатым улочкам «своего» городка.

У нас с Мишей и у дочери Нины с мужем была интересная работа. При моем легкомыслии казалось: вот и дети растут, и жизнь как-то обустраивается. Может, все както утрясется.

...Но символически печальным было прощание с Мишиной мамой – она уезжала на родину, в Англию. Когда ее белое пальто мелькнуло за пропускным пунктом в аэропорте, я поняла, что не увижу ее никогда. Усиливающиеся преследования, обыски, аресты, выпихивание в эмиграцию – все это продолжалось и давило...

В Тарусе кроме Марченко и Гинзбургов поселились и другие семьи вернувшихся из заключения. К ним все время приезжали в гости близкие по духу люди. Вместе с ростом числа «неблагонадежных» жителей росла численность, а может быть, и качество местного ГБ. Обыски, «предупреждения», вызовы на «беседы».

В 1974 году Толе, сначала через третьих лиц, а потом и впрямую, начали выставлять ультиматум: «Уезжайте по-хорошему за границу, а то опять посадим».

В этот период даже Толя с Ларой заколебались, хотя оба очень не хотели уезжать из России. Но когда Толе объявили, что уезжать он должен по приглашению от несуществующих израильских родственников, он взбесился: мало того, что выталкивают с родины, еще при этом и врать заставляют! И наотрез отказался.

В феврале 1975 года его вновь арестовали, на этот раз за «нарушение правил надзора».

Опять суд, и на этот раз ссылка в уже знакомую Ларе и Толе Чуну. Лара с Павликом поехали к нему, так что КГБ одним ударом убил двух зайцев – «наказал» Толю и удалил Лару из Москвы.

В Чуне они прожили три года. Часто с ними жил внук Лары – Миша Даниэль. Приезжали его родители – Саня, старший Ларин сын, и его жена Катя, приезжали Ларины и Толины родители, навещали друзья.

Но кончился и этот срок. В Москве Толе жить по-прежнему не разрешалось. Дом в Тарусе снесли по плану реконструкции; им предложили какую-то крохотную квартирку или денежную компенсацию.

Алика Гинзбурга опять арестовали. Арина с детьми переехала в Москву, уезжали многие другие. Таруса пустела, мрачнела. Толя и Лара не хотели больше там жить. Ис-

кали другой дом, в другом месте. Совершенно случайно, после долгих безуспешных поисков (денег было мало) Лара набрела на домик в Карабанове, недалеко от Александрова. Дом был маленький, неблагоустроенный, но продавался недорого. Ларе с Толей он понравился, они поселились там и решили его перестроить.

Так начинался последний на свободе карабановский период Толиной жизни. Вся семья полюбила этот дом и окрестности. Я-то не могла понять их пристрастия. Этот рабочий поселок не шел, по-моему, ни в какое сравнение с Тарусой, с ее Окой и далями. Но Толя нашел хорошую работу в автоматической котельной. На этой работе ему не приходилось заниматься тяжелым физическим трудом. На дежурстве он мог читать – чтение было его страстью. Летом поблизости жили Ларины родители, друзья – Лавуты и Кулаевы.

(Теперь мне кажется, что Толя осознавал неэффективность открытой правозащитной деятельности в это глухое время. Были арестованы и осуждены на максимальные сроки наши друзья – Сережа Ковалев, Таня Великанова, Саша Лавут, Леонард Терновский и многие другие. Возможно, Толя считал, что если не эмигрировать, то надо жить и писать в тиши, без шума... У него были замыслы не только автобиографических, но и публицистических произведений. Он писал постоянно, в любую свободную минуту. Много раз его рукописи забирали на обысках. Большинство из них таким образом пропадало, но кое-что сохранилось: Толя писал через копирку. Три его книги – «Мои показания», «От Тарусы до Чуны», «Живи как все», а также статья «Третье дано» – были напечатаны за границей. С 1989 года отрывки из его книг стали появляться и в наших журналах, затем вышли и отдельные издания. Со временем Ларе и Павлику вернули и те рукописи, которые изымались у него в 1970-е годы, – все это время они, оказывается, хранились в его уголовном деле во Владимирском областном управлении КГБ.)

Толя строил дом со страстью и одержимостью, как и все, что он делал. Он задумал построить настоящий, хоро-

ший, большой дом, с кабинетом для работы, с комнатой для Павлика, столовой, спальней, кухней и водопроводом, со всеми удобствами. Думал он и о Лариных стареющих родителях: дом должен был состоять из двух половин: одна для своей семьи, другая – через сени – для родителей. Второй этаж – для Сани Даниэля с семьей. Толя очень охотно показывал всем проект будущего дома с необходимой документацией и чертежами. Все это лежало у него в аккуратной папке. Он был полностью поглощен строительством.

Дом строился солидно: с бетонированным подполом, котельной для отопления и горячей воды. Когда мог – покупал доски, кирпич, другие материалы. Приезжал Толин отец Тихон Акимович помогать с креплением стропил и другими работами, с которыми Толя не мог справиться в одиночку. Приезжавшие на день-два друзья тоже старались помочь. Даже мальчики – Паша и Миша – участвовали в работе. Все же она шла медленно. Такими темпами дом не мог быть закончен к ближайшему сезону. Пока же они жили втроем или вчетвером, часто с многочисленными друзьями и родными, с вернувшимися из заключения, в маленькой избушке, разделенной перегородкой на три части. Иногда там ночевали больше десяти человек. Всех принимали, кормили, обогревали. А избушка, потревоженная строительством, становилась все менее пригодной для жизни.

К Толиному дню рождения Лара тайно приготовила подарок – модель будущего дома из картона и бумаги, согласно Толиному проекту. Модель была веселая, раскрашенная под красный кирпич. Толя был очень рад.

Однако медленный темп работы раздражал его безмерно. Он нервничал и заводился. Толино раздражение выливалось больше всего на Лару. Ему казалось, что Лара должна оставить все – хозяйство, воспитание детей, помощь старикам – и только строить, строить и строить... Однажды, приехав к ним, я оказалась свидетельницей жестокой семейной сцены. Толя упрекал и ругал Лару. Я, отойдя в сторону, молчала. Но было очень тяжело от

несправедливости Толиных упреков. Мы с Ларой пошли к старикам отнести молоко. По дороге она плакала: «Я не могу вынести его грубости и упреков. Жить так невозможно. Дом застилает все – его разум, его любовь к нам. Может, мне лучше уехать с детьми в Москву? Он кричит и ругает меня все время. И при детях...» Я уехала с тяжелым сердцем.

Собираясь в Карабаново в следующий раз, я беспокоилась – как у них сейчас. Как же я обрадовалась, застав веселье и идиллию: Толя, как всегда, строил, но был ровен и весел, даже шутил. Побежал с нами и детьми купаться. Все разъяснилось, когда я пошла навестить Лариных родителей. Оказалось, Иосиф Аронович, чувствуя, что в семье складывается тяжелая обстановка, видя отчаянье Лары, поговорил с Толей. Он прибег к самому простому доводу: неужели для Толи дом дороже семьи? Толя вмиг одумался и вернулся к нормальному состоянию.

Должна добавить, что в Толе всегда присутствовало совершенно патриархальное чувство уважения к старшим. По отношению к Лариным родителям это чувство дополнялось еще и личным уважением и симпатией. Я тоже всегда чувствовала доброе отношение к себе и Мише. Он беспокоился, когда Миша мешал и таскал бетон. Не было случая, чтобы Толя, усталый или занятой, не подал мне пальто, не пошел проводить к автобусу. Слушал он всегда сосредоточенно, внимательно, вглядываясь в лицо собеседника. Это выделяло его из нашей компании, где зачастую друг друга перебивали и не слушали, а хотели только говорить сами.

Толя был наблюдателен и немногословен, но говорил веско и всегда по делу. Его высказывания были кратки и продуманны, в них был заметен глубокий и неординарный ум. Хочу отметить особо Толину аккуратность и любовь к чистоте. После шумных общих ужинов он настаивал, что посуду будет мыть сам. И делал это с большой тщательностью.

Несмотря на то, что он очень много читал, его постоянно удручало отсутствие систематического образования.

«Этого не доберешь. Обязательно окажешься профаном. В самом необходимом месте – яма незнания».

Местные власти, конечно, подталкиваемые ГБ, не оставляли семью в покое. Действовали по-разному. Начались придирки к любимому детищу Толи – дому. Проект был утвержден в строительном управлении в Москве, однако местные власти его не утвердили. Толя подал на обжалованье, продолжая тем временем строительство. Местное начальство пообещало «нелегально построенное сооружение» разрушить. (Они это и сделали, уже после Толиного ареста. Дом сломать было трудно – Толя строил прочно. Тогда воспользовались взрывчаткой. Страшно было смотреть на эти груды кирпича, зияющий подпол, разрушенный дом – символ искалеченной Толиной жизни.)

Госбезопасность постоянно наблюдала за Толей, за приезжающими к ним людьми. Резко усилилось все это после его открытого письма академику Капице – протеста против высылки Сахарова. Толю пригласили в Александровское отделение КГБ и вновь в категорической форме предложили эмигрировать с семьей в Израиль. Или – опять арест. Толя ответил, что живет в своей стране и уезжать не собирается. «Уезжайте вы, ведь вы только и мечтаете о загранице. Здесь вы никому не нужны, только зло приносите людям». «Мы вас предупреждаем, Марченко: если не уедете, пеняйте на себя». После этого разговора Лара с Толей приехали к нам и спросили, возьмем ли мы к себе Павлика, если что... Миша все же спросил Толю: «А может, вам стоит уехать? Будете там работать, построите дом, ты и Лара сможете спокойно писать и работать, Павлик будет учиться. Ему не придется быть постоянным свидетелем преследований, обысков, арестов родителей. Ведь КГБ свои обещания выполняет». Сказав все это, мы поняли, что говорить бесполезно. Когда мы остались в кухне одни, Лара сказала: «Еще говорят, что их там психологии учат. До сих пор они не могут понять, с кем имеют дело. Если бы они вызвали меня, то, может быть, мне бы удалось уговорить Толю уехать. Сказала бы ему, что

я этого хочу, что я устала, больна, что Павлику там будет лучше. Видит Бог, не хочу я уезжать, но не может же Толя всю жизнь провести в тюрьме. Но они поставили ультиматум ему... На ультиматум он не может ответить иначе. Он не может покориться...»

Вначале ждали ареста каждый день. Затем острота ожидания притупилась. Возникла надежда, что они раздумали приводить в исполнение свою угрозу. Помню, после того как с аналогичным предложением обратились к Толиному другу Юре Гастеву, он долго волынил и уклонялся от решения. Когда друзья замечали ему, что это опасно, он отвечал: «Вот ведь Толю не берут, хотя обещали».

В Москву Толя приезжал редко. Приехал на суд над Сашей Лавутом. Отдал свое письмо-протест и поехал на дежурство. Приехал попрощаться с уезжавшими в ФРГ Копелевыми.

Но все-таки день этот наступил. 17 марта 1981 года. Толя позвонил нам с вокзала. Сказал, что заедет к старикам, а от них – к нам. Вот и хорошо, пообедаем вместе. Ничего я в этот день не чувствовала и не предчувствовала. Наоборот, решила испечь пирог с капустой, Толя любил... Вдруг звонок Иосифа Ароновича: Толю забрали, когда он от них выходил. «Я открыл дверь, а они на лестнице».

Я понимала, что должна немедленно ехать в Карабаново. Лара там одна с Павликом. Наверное, к ней уже пришли с обыском. Но темь, и меня обуял страх. Ноги подкашивались. Поехала к Ларе только на следующее утро.

Ниже – отрывки из дневника, который я в то время вела.

19 марта 81. ...Как сквозь тревогу, вместо тревоги, войти в рутину жизни после ареста Толи? Это заставляет меня усиленно мыть раковину и унитаз. Тревога не оставляет. В последнее время мы не ожидали ареста. Глупо. Он был так поглощен строительством дома, что казалось... Нет, не казалось, а просто не думалось. На самом деле этот огонек духа, который создавали Толя с Ларой (уже напи-

сала в прошедшем времени), был сейчас почти единственным средоточием духовного сопротивления во всей мертвящей, все более унифицированной и придавленной нашей жизни.

Сейчас обстановка такова – после всех арестов и отъездов любое сопротивление может утонуть в мертвящей тишине. И всего этого власти добились планомерно, постепенно, за несколько последних лет. Опять предложили уезжать Гастеву. Почему-то не хотят его сажать. Из-за отца, что ли. (Его отец был видным деятелем первых лет советской власти.) Да и у Толи с Ларой была альтернатива. Что для меня дополнительно тяжко, что я не поехала к Ларе в ту же минуту. Чувствовала себя, конечно, плохо. Но – и страх, так глубоко въевшийся страх; а может, и вообще свойственный моей слабой натуре.

22 марта. Была у Лары. Погуляли, обсудили ее будущую встречу в ГБ, поговорили о ее решении попросить, чтобы разрешили уехать всей семьей. Переезжать из Карабанова в Москву пока не собирается, несмотря на «арест американского шпиона», как сказали в Павликиной школе. «Ты не волнуйся, мама, я знаю, что им ответить».

Так как Лару на следующий день вызывают на допрос, а мне надо было уезжать, то я, вернувшись в Москву, заехала к Герчукам – старым друзьям Лары (Юрий Герчук – искусствовед, его жена Марина Домшлак – архитектор-реставратор), – чтобы кто-нибудь из них завтра поехал в Карабаново. Вечер прошел у них. Вспоминали о друзьях молодости: Синявском и Даниэле, Боре Шрагине, Игоре Голомштоке (искусствовед), Толе Якобсоне (литератор-переводчик). Иных уж нет, а те далече...

27 марта. У Павлика Марченко высокая температура. Поехала в Карабаново поздно, уже в темь. В поезде меня попросили предъявить паспорт. Дядька показал милицейское удостоверение, сказал, что кто-то похожий на меня ограбил кассу. Переписал номер моего паспорта. Кто он? Может быть, пугают? Пашка чувствует себя лучше, но заболела Лара.

Она наняла во Владимире адвоката. Старый запуганный еврей с помятым лицом. «За что посадили?» «Он открыто говорил о своем отрицательном отношении к советской власти». «Что же вы ему не объяснили, что нельзя так. Думай себе что хочешь, но говорить это нельзя». Оживился при фамилии Лары: «Вы из наших». Позвонили в следственный отдел с просьбой о разрешении адвокату присутствовать во время следствия из-за резкого снижения слуха у Марченко. Ответили отказом – «он слышит хорошо».

Два дня назад напротив их дома в Карабанове демонстративно дежурила машина с гэбистами. Лара подходит к дому, а соседка на перекрестке ее торопит: «Беги, Лариса, домой, вон целый день машина стоит». В дом они не заходили, но обошли всех соседей – напугать, чтобы не помогали, не сочувствовали.

Справа от дома Лары жила местная общественница («уличком»), которая всегда была к Ларе с Толей враждебна. Они долго в ее доме сидели, уж, наверно, много чего друг другу порассказали. Слева – соседи хорошие, встретили оперативников враждебно: «Не знаем никаких плохих дел, люди они хорошие, работящие, вежливые. Дети наши дружат и будут дружить. Кто бывает? Мы за другими не следим, не любопытствуем». Все сразу рассказали Ларе, а наутро принесли картошки. «Это кто у тебя, Лариса, подруга? Хорошо. А то тяжко одной. Тоска. А он-то, бедолага, что сейчас передумывает, как об вас душа у него болит».

16 мая. ...Была у Лары. Новостей никаких. Беспокоится о родителях. Говорили о Шаламове, который, кажется, очень плох.

30 мая. Лара о допросе во Владимирском ГБ: «Я собой недовольна. Сделала несколько просчетов. Ради чего я должна стараться быть «умной», «переигрывать» их? Ведь я с самого начала заявила, что не желаю и не буду принимать участия в следствии, так как нет состава преступления. На том и надо было стоять. А я с ними разговаривала. Если придерживаться строго последовательной

линии, не ошибешься. А коли вступишь хоть в какой-либо контакт, всегда возможен просчет...»

1 июня. Предъявили статью 70 («антисоветская агитация и пропаганда»), часть вторая. Вторая часть – это рецидив.

ГБ: «Мы установили на основании графологической экспертизы, что часть рукописей выполнена вашей рукой. На рукописях Марченко есть ваша правка. Я должен предупредить вас, что правка рукописи расценивается как соучастие».

Лара: «Это черновики. Черновики нельзя никому инкриминировать».

Он: «Мы относимся к черновикам по-разному. Если человек в первый раз обвиняется в антисоветской деятельности, то мы можем и не приобщить их к делу. Но Марченко – рецидивист. Случайностью или просто выражением своих мыслей мы эти рукописи считать не можем».

На тридцать из сорока вопросов Лара отказалась отвечать. Но после перерыва, когда Лара пошла поесть и вернулась, другой следователь (Плешков?) спросил: «А как ваша фамилия?» «Богораз-Брухман, двойная фамилия». «А с каких пор вы стали Тарусевич?» (Статья «Третье дано», опубликованная в журнале «Континент», была подписана двумя фамилиями – Марченко и Тарусевич.)

«Вот здесь я и растерялась, – рассказывала Лара. – Они меня подловили. Прямо я им, конечно, ничего не подтвердила, и протокола я им, разумеется, не подпишу, но как-то получилось, что у меня с ними есть нечто вроде общего понимания, что именно я и есть Тарусевич. Я не могу точно сказать как, но так получилось».

Еще она ответила на несколько вопросов: «Было ли у вас намерение эмигрировать?» «Да, в 1974 году. Нам предложили эмигрировать. Получили вызов и подали на выезд. Однако потом передумали». «На какие средства живет ваша семья?» «Зарплата мужа, мои переводы, рефераты, уроки». «Есть ли у вас друзья здесь и за границей?» «Есть».

2 июня. ...О Толе, доме, решении уехать Лара написала Андропову с просьбой содействовать отъезду всей семьи.

Ларина гипотеза о загробной жизни: как плод живет своей жизнью, своими ощущениями, питанием и средой и не представляет, что ему предстоит в будущем, ничего не знает о духовной, интеллектуальной жизни, так же и мы в преддверии будущей жизни – после смерти – не знаем, какой она будет. Никто оттуда не возвращался.

11 июня. ...Пришла Лара, она была в ОВИРе. Документы не приняли, и она пошла в приемную ГБ – узнать об ответе на письмо к Андропову. Ничего. Вечером поехали к Гнединым (Е.А.Гнедин – в прошлом сотрудник МИД, провел 16 лет в лагерях и ссылке, автор книги «Катастрофа, или Второе рождение») – обсудить ситуацию. Ехали на «левой» машине. По дороге нас остановили. «Милиция», – сказал наш шофер. Нам было все равно, только думали, не попадет ли шоферу... У Гнединых было душевно и тепло. Но что они могли посоветовать по существу? Да и что можно сказать...

26 июля. Безумная жара. Опять было несчастье с Ларой – обожгла руку, отворачивая кран газового баллона. Меня мучает совесть, что я к ней не еду. Однако от ужасной жары безволие, как подумаю о накаленной привокзальной площади в Александрове, об автобусе. В прошлый раз мне стало дурно...

6 августа. Приехала к Ларе около 7 вечера. На прямом поезде до Карабанова – это легче. Здесь Нина Петровна Лисовская – добрый, тихий, деятельный друг. В доме порядок, все постирано, Нина Петровна гладит. Дети милы, хотя Миша слишком возбужден, шумен. Но в общем все, за исключением самого главного, хорошо. Вечером Лара во дворе поливала детей из лейки. Мирная картина. Павлик все время уступает Мише. Миша часто плачет, ссорится; но в общем дети дружат, веселы, деятельны, умны, много читают, много знают.

Ларина рука перевязана. Саня сказал: «Газовые подземные силы на тебя ополчились». Лара недавно приехала из Владимира. Адвокат хотел отказаться от защиты в

суде, потому что он не согласен с позицией Толи, не признающего себя виновным. Но на него нажали из суда: как же судить диссидента без адвоката, надо ведь соблюсти юридические приличия, иначе за границей поднимут шум, – и он взял свой отказ обратно. Единственный толк от него – он должен Лару уведомить о дне суда.

Лару вызвали в ГБ сообщить ответ Андропова: семья может уезжать, а Марченко останется сидеть. «Они в самом деле вообразили, что мы уедем без Толи. Идиоты».

Утром я доглаживала белье, а Лара и Нина Петровна солили огурцы.

11 августа. 8-го, на Ларин день рождения, я была в Москве. Лара тоже обещала приехать. Но не приехала – заболел Павлик.

Наутро узнали, что и Лара заболела: то ли отравление, то ли гипертонический криз. Боже мой! Все время чувство нависшей над ней катастрофы. Очень похоже на ее состояние перед 21 августа 1968 года. Отчаянье в связи с арестом Толи. Сейчас еду в Карабаново.

12 августа. Лару нашла в неплохом физическом состоянии, – она делает все, что нужно: занимается детьми терпеливо, любовно, учит их также и французскому языку, готова ответить на любой их вопрос, улаживает между ними споры. Но – как бы отсутствует. Вечером читали вслух «Капитанскую дочку». Павлик: умен, внимателен, доброжелателен. Миша: очень способный, особенно к языкам, но трудно сосредоточивается. Все это – в хаосе и беспорядке брошенного строительства, неустройства, неизбывного несчастья...

Мы с Ларой рассказывали детям о нашем детстве. Им было интересно. В моем детском саду преподавали ритмику по системе Далькроза, а у Лары воспитательница закончила до революции Фребелевские курсы.

15 августа. Хотела пожить несколько дней на даче у подруги, но вчера – Мишин звонок. Ларе сказали, что суд над Толей уже идет. Я ринулась в город.

В 4 утра долгий путь с Ларой. В такси до Щелковской – надеялись на автобус до Владимира. Не получи-

лось. Рванули на Курский. А оттуда все-таки взяли машину и к десяти были у Успенского собора во Владимире. Там учреждения ГБ, следственный отдел, прокурор, суд и т.д. Что суд начался – отрицают: Лара говорила с судьей.

Вышли на смотровую площадку у собора. Все необыкновенно красиво, «но не тем сердце полно было». Ларе плохо. Пошли перекусить в чайную – тихую, чистую. Яичница, чай. Некоторое успокоение и – обратно в Москву.

30 августа. Поехала к Ларе. Письмо ее в ГБ мне показалось неудачным. Но все это, вероятно, неважно – просто письмо, просьба. Пекли «тюремное» высококалорийное печенье – в пятницу Лара повезет передачу. С ней едет Павлик. Он хочет ей помочь.

Арестован Ваня, сын Сережи Ковалева. Жена его Таня Осипова арестована раньше и сейчас в лагере вместе с Таней Великановой. Ваня, можно сказать, последний из могикан. Все этого давно ожидали, но, как всегда, чувство отчаянья и бессилья, как с Драконом, – отдаем и отдаем лучших. Послезавтра едем с Ларой во Владимир: должен быть суд.

5 сентября. Владимирские дни. Почему так трудно писать? От неумения писать? От чувства «ярости, бессилья»? Все равно я должна описать эти окаянные дни. Пусть плохо, пусть бездарно. Но есть чувство долга перед историей: я ведь осознаю огромность Толиной личности.

Приехав во Владимир, в гостиницу не пошли: решили, что не попадем. Оказалось, зря – все приехавшие позже устроились в гостинице. А мы с Ларой поехали к архитектору-реставратору, знакомому Герчуков. Квартира заполнена книгами, репродукциями. Его рассказ, как не дали разрушить замечательный Дмитровский собор, где были рублевские фрески. Было постановление городских властей – снести к Олимпийским играм. Рабочие уже накинули петли из троса на колокольню надвратной церкви, прикрепили трос к двум тракторам, которые должны были ее «растащить». Реставраторы послали телеграмму в Москву, а сами с друзьями стали под арку церкви. Если

рушить – то на них. Милиции не было, а уговоры уйти на них не действовали. Трактористам надоело, они уехали, а на следующий день пришла телеграмма – церковь не трогать. Вот такие люди не дают убить русскую культуру.

На следующее утро, 2 сентября, пришли в облсуд. Лара заходит к секретарю. «Не скажем, где будет суд. Вас туда не пустят». Судья Колосов: «Вы будете свидетелем. Приходите завтра в облсуд».

Это их обычная практика на диссидентских процессах – родных и близких определять в свидетели, чтобы фактически никто не мог присутствовать на суде, кроме «публики» из КГБ или доверенных партийцев. Лара – к адвокату. «Суд в офицерском клубе, рядом с областной больницей и тюрьмой». У облсуда выстроились солдаты. Вышли судья, еще кто-то и секретарь суда – полная дама средних лет, сели в машину, взяли с собой и адвоката. Мы рванули к троллейбусу, наугад. Доехали до места суда – благо все не очень далеко, подбежали к зданию (опознали по «гаврикам» и солдатам).

Господи! Сколько людей стерегут одного Толю! Трехэтажное старое здание рядом с тюрьмой. «Красный уголок». Лесенка. Первый этаж. На лесенке типичные морды. Лару пропустили. Иду и я. «Куда?» «На суд». «Нет мест – вы опоздали». Пишу заявление, чтобы пропустили.

Стоим. Приехала Оля Корзинкина – из Хотькова. Она часто приезжала к Ларе и Толе в Карабаново. Ею присутствующие около суда «сотрудники» заинтересовались – русская, молоденькая, еще не примелькалась. Один, со свиной харей и маленькими глазками, – к ней. «Девушка, что вы здесь делаете? Ехали бы домой, к маме».

Ходим, сидим на скамеечке в сквере. Рядом сушится белье, бегают дети. Больные гуляют в халатах. Маршируют взад-вперед слушатели офицерских курсов.

В конце заседания мы пошли к заднему выходу – надеялись увидеть Толю, но его вывели спереди. Поехали в город, звонили Пашке, друзьям, перекусили в чайной – и «домой». Пили чай, прочла им письма из Израиля, от Рубиных, о том, что они были правы, выбрав эмиграцию.

Лара: «Они правы – для себя. Каждый решает этот вопрос для себя. Это вопрос о месте культуры на шкале ценностей. Для меня культура – второе после семьи, детей. Если бы я решилась расстаться с Россией, то только из страха за детей. Для меня наиболее важным является верность себе, независимость в любых условиях. Сохранение своей личности. Желание увидеть мир в молодости было очень сильным, сейчас это не кажется мне таким важным». Я сказала, что для Павлика все происходящее непосильная ноша, не им выбранная. «Да, но он мой и Толин сын, судьба его связана с нашей. Он может и должен нести ее с нами, только это и создаст его как личность». «Вынесет ли психика?» «Надеюсь. Я вижу, что Саня после многих метаний становится все более достойным человеком».

3 сентября я была у суда раньше девяти. Не пустили – идет уборка. Как и когда прошла туда «публика», не представляю. Может быть, ее привезли еще раньше. Прошли журналисты. Приехала роскошная машина с чинами, возможно, из Москвы. Комендант суда – мерзкая личность – выслуживается перед приехавшим начальством. Пропустили Лару и Сережу Некипелова (свидетель). Толя сумел в суматохе перекинуться с Ларой парой слов: «Не беспокойся, я чувствую себя хорошо». Приехали свидетели из Чуны: какая-то женщина, один Ларин знакомый – полукитаец, с которым они дружили; Лара помогала его дочерям учиться. Еще лейтенант Смоленский, командир подразделения, в котором служил Сережа Некипелов (Сережа, на свою и наши головы, приводил его к Толе и Ларе в гости). Еще – зубной врач из Чуны, с какой-то лажей о золоте. Все – свидетели обвинения.

У входа в суд продолжали обрабатывать Олю Корзинкину, убеждали уехать. А рядом идет нормальная жизнь: дети, бабы, сушится белье. Сумки с продуктами – офицерам выдали пайки. Двое курсантов упаковывают их в чемодан. Не лезет. «Мамаша, возьмите, перекусите. Вот вафли, конфеты». Отдала девочке – она стояла рядом. Постепенно у суда собрался любопытствующий народ.

«Кого судят?» «Антисоветчика». «И что ему было надо? Только бы не было войны». Старуха в темной куртке: «Молодой еще, жалко. И жена убивается. И что же он такого сделал?» Кто-то что-то тихо ей объяснил. Все понятно: «Ах он мерзавец, родину нашу продает».

Нас отогнали от двери и вывели Толю. Когда его проводили, мы ему крикнули: «Толя!» Он нас увидел, пытался приостановиться, но его тащили, тянули за руки, толкали в спину. Затолкали в машину, серую, вроде хлебного фургона, но с окошками в передней части.

Лара рассказала все, что происходило в суде, и записала в тетради. Толя был исключительным молодцом, держался умно, прекрасно...

4-го утром опять увидели Толю. Внутрь пустили только Лару. Последний день суда прошел в ужасном напряжении. Толю буквально вытащили из здания суда. За ним – полумертвая Лара. Такой я не видела ее никогда. Трагическая маска. Сначала и слова сказать не могла, только курила непрерывно. «Десять лет – и пять ссылки. Нам не дали даже проститься. Толя был в бешенстве от этого». Мы долго шли молча.

Толя был осужден за свои произведения, за литературу. За «Третье дано», за «От Тарусы до Чуны», за фрагменты новой книги – «Живи как все». За письмо к Капице о Сахарове, где были слова: «Вы добиваетесь того, что молодой ученый вместо науки пойдет по пути Кибальчича». Эти слова объявили призывом к террору.

В последнем слове Толя сказал: «Нигде в мире, кроме стран с коммунистическим или фашистским режимом, не судят людей за критику государства, за публицистику, за литературу. Только коммунистический и фашистский режимы защищают свою идеологию таким образом: вместо того, чтобы бороться с идеологией, бьют по черепам».

Мы поехали в облсуд. Лара получила разрешение на свидание. Но – в тюрьме карантин. Поехали к адвокату. «Какую немыслимую позицию занял Марченко на суде! Если бы не это, дали бы меньше. Как же можно было его защищать, с его-то взглядами, с его крайней антисовет-

ской позицией? Советской власти шестьдесят три года, и она будет вечно. Но все-таки я сделал, что мог». Несчастный, боящийся всего и к тому же неумный еврей. Толя от него в суде отказался, но суд отказа не принял – чтобы не получилось суда без адвоката.

Я спросила: «Почему вы не могли настоять хотя бы на том, чтобы меня и еще нескольких друзей пустили в суд? Никого, кроме «публики», Лары и свидетелей, в зал заседаний не пускали. И Толя ходатайствовал, чтобы меня впустили; все-таки в суде был бы еще хоть один близкий человек, кроме жены».

Когда мы вернулись в тюрьму, дежурная тетка разговаривала крайне неприязненно. Смесь пошлости и жестокости. «Не знаю, когда снимут карантин... Не знаю, что можно передать».

10 сентября. Были с Мишей у Лары. Лара с Павликом переехали в Москву. Павлику не нравится жить в Москве. «Я не буду ни с кем здесь дружить, мне в этой школе не нравится. Все чужие. Я вернусь в Карабаново, у меня там друзья, и там наш дом».

13 сентября. Около 7 вечера позвонила Лара из Владимира. Просит меня привезти Павлика – может быть, завтра дадут свидание. Саня с Катей привезли одетого с иголочки Павлика на вокзал. Было около восьми. Удалось выехать только в 0.30. Павлик читает журнал «Глобус». Редкая эрудиция. Недюжинный, оригинальный ум. Историю и географию знает поразительно. Среди ночи на такси приехали в гостиницу. Комната открыта, Лара спит при ярком свете.

Утром – хождение по мукам. В тюрьме дежурит та же самая рыжая тетка, которая была после суда. Монгольские скулы, крашеная, намазана, волосы взбиты. Владимирская тюрьма старая, наверное, есть и потомственные тюремщики. Вот фамилия следователя – Капканов. А есть еще следователь Сыщиков. Лара на приеме у начальника тюрьмы, который вроде бы обещал свидание, а сегодня отказал. Чувствуя все-таки некоторую неловкость, разрешил передать теплые вещи. Эта же рыжая стерва не

приняла ничего, кроме сапог, шапки и телогрейки. Особенно Лару расстроило, что не взяли портянки, ведь как без них в сапогах? Лара захватила с собой много вещей – почему-то надеялась, что возьмут. Мы еле дотащили до вокзала то, что осталось. Как она вчера везла все это одна – ума не приложу.

30 сентября. Волновалась за Лару – она ходила по инстанциям с бумагами. Где он? Пришла телеграмма на Ларин запрос. Выяснилось, что Толю целый месяц кружили по стране и привезли опять во Владимир. По телефону я почувствовала ее ярость и отчаянье.

Вечером побежала к ней. Она уже успокоилась: раз нашелся – уже хорошо. Так что тихо посидели, поговорили о детях. Кассацию назначили, но адвоката для кассации Лара не нашла. Один адвокат сказал Ларе: «Простите меня, Лариса Иосифовна, если можете».

2 ноября. Поехали с Ларой в Верховный суд. Лара просила, чтобы еще до кассационного рассмотрения ей дали наконец свидание, украденное после суда. Договорились поехать 4-го во Владимир. Но я здорово занемогла. Лежу.

5 ноября. Лара с Павликом ездили во Владимир. Дали свидание! И разрешили две передачи: вещи и продукты. В тюрьме опять рыжая сволочь. Наверное, на двух ставках. «Свидания не получите. К начальнику не пущу». Но после нажима Лары замначальника Абалкин разрешил продуктовую передачу. Рыжая объявляет, что у нее перерыв. После перерыва – все прощупывала, все перевешивала. «Вы меня не обдурите, я знаю, что это не конфеты, а витамины. Витамины передавать запрещено». На следующий день – у прокурора, который дает разрешение на свидание. Едут в тюрьму. А там: «Без разрешения Верховного суда свидания не дадим». Разрешили передать теплые вещи – опять со скрипом. Та же рыжая, лишая себя отдыха перед ноябрьскими праздниками, откладывает передачу до двух часов.

Лара пожаловалась прокурору, и свидание все же дали – всего на час и через стекло. На улице пасмурно, видно плохо.

«Я думала его поддержать, а он поддержал нас. Весел. Острит. Выглядел лучше, чем на суде». У Лары после свидания даже какая-то эйфория. Надежда непонятно на что.

В субботу мы с Мишей были у Лары. Павлик тоже повеселел. Лара: «Это видимость, что основное влияние на Павлика мое. На самом деле от Толи шли дисциплина и понимание, что существенно, а что второстепенно».

* * *

Дальше – долгие годы тюрем и лагерей до трагического конца. По окончании следствия – Владимирская тюрьма, затем Мордовские лагеря, а затем Чистополь. За все время Ларе дали только два свидания с Толей. Положенных свиданий под тем или иным предлогом лишали.

Переписка стараниями начальства тоже была сведена к минимуму. Толю постоянно лишали права переписки. На свидании Павлику было трудно, он был напряжен, зажат. Но Толя всегда мог его рассмешить, отвлечь от мрачных дум, занять беседой о друзьях, о Карабанове, о школе...

Только в последний год Толя, после перевода его в Чистопольскую тюрьму, начал писать о прочитанных книгах, реагировал на вести из дома, давал советы... Все просил, чтобы Лара с Павликом посадили в Карабанове яблони. В Москве Лара кроме уроков и литературной работы, которую ей достали друзья, стала делать замечательных кукол для кукольного театра. Ей эта работа очень нравилась. Мы же все были потрясены ее художественной одаренностью, способностью так быстро, по интуиции, освоить это мастерство.

Толя этого увлечения не понимал и в письмах сердился. По-видимому, считал, что Лара должна заниматься другим. Он отвечал Ларе на ее вопросы, отвечал в письмах к Ларе и на письма друзей. Часто, при всех Толиных и наших стараниях писать «аккуратно», письма приходили с вымаранными кусками. Надеюсь, что письма Толи будут изданы и в них читателю раскроется многое в этой уникальной личности.

* * *

...Камень укрепили, засыпали песком и гравием, утрамбовали. Вкопали четыре тумбы, на них закрепят цепи. Лара поставила на могилу цветы в банках с водой. Теперь можно будет посадить цветы и кустарник. Растущие раньше повредили при постановке памятника. Было 8 часов вечера – работали больше двенадцати часов. До автобуса пошли более коротким путем, но после дождя дорогу развезло. Собирались поесть в ресторане – тщетно. Там справляли свадьбу. Правда, Сереже Кириченко пообещали, что дадут нам оставшееся после свадьбы. Он неотразим для девушек, и официантки не стали исключением. Пока же мы навалились на горячий чай (у нас были кипятильники), ели хлеб с помидорами и остатками московского сыра.

И все вспоминались и вспоминались те страшные дни декабря 1986 года. Известие о гибели Толи, наш приезд в Чистополь, Ларины хождения по мукам, разговоры с тюремным начальством. Бесплодные попытки хоть что-нибудь узнать о том, как Толя умирал. И похороны.

* * *

Вновь возвращаюсь к своему дневнику:

10 ноября 1986. ...Вчера вечером была у Лары. Она в отчаянии от продолжающейся уже четвертый месяц Толиной голодовки.

Рассказала о разговоре в Октябрьском райкоме – вежливом, но вполне бессмысленном. «Что вежливом, и то приятно». Это в ответ на ее письмо Горбачеву с просьбой о помиловании Толи.

Ей звонили Люда Алексеева из Штатов и Кронид Любарский из Мюнхена, сказали, что относительно Толи идут переговоры и есть реальная надежда... «Как вы с Павликом относитесь к дальним путешествиям?» Дай-то Бог! Хотя как грустно, пусто будет без Лары. Но как только я подумаю, что Толя будет свободен, весь вздор о себе, о нас отступает. И я всей душой хочу, действительно мечтаю, чтобы они уехали за границу, жили там, работали, по-

строили вымечтанный Толей дом. Павлик бы учился. Надо же, чтобы хоть он жил нормально.

18 ноября. Читаю «Время и мы» – израильский журнал на русском языке. Бесконечная череда воспоминаний об обысках, подслушиваниях, допросах... Конечно, это наша жизнь, но понимаешь, что каждый остается с той Родиной, из которой он уехал. А время, несмотря на ощущение глубокого оцепенения, движется. Как когда-то мой Павел сказал – слышно, как трава растет.

21 ноября. Проснулась в ужасе и в отчаянии: «ночью, чуть забрезжут сны, сердце словно вдруг откуда-то упадает с вышины».

Приснился страшный сон – про Лару и Толю. Скользкие скалы на море, высокие, торчащие над бурной поверхностью острия. Скала, по которой ползет вверх Лара (там, наверху, Толя, его не видно, скала уходит в небо). Это стена, стена без вершины, просто скалистая стена. Лара ползет, ползет вверх, в изнеможении, лицо бледное, страдальческое, она все время срывается и падает. Но не расшибается; ползет и падает. Меня вроде здесь нет, но я это вижу и не могу помочь. Ужасно.

Проснулась, бродила по квартире, что-то постирала, наконец, не выдержав, – было рано – позвонила Ларе. Сказала, что сон какой-то нехороший. Она невнятно ответила, что в пальто, спешит. Что-то очень важное, существенное, позвонит потом.

13 ноября. Так вот что было. Лару вызвали в ГБ. «Мы понимаем, что вы беспокоитесь о судьбе Анатолия Тихоновича. Что бы вы могли предложить, чтобы изменить ситуацию?». Лара: «Я уже обратилась к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой о помиловании мужа». Он: «Но его нельзя помиловать, он совершенно не изменил своего плохого поведения. Кроме того, с просьбой о помиловании он должен обратиться сам». Лара: «Он этого не сделает. Я это сделала от отчаяния, от страха за его жизнь, из-за его голодовки. Как он к этому отнесется – не знаю». Он: «Мы предлагаем вам другой выход – немедленно подавайте заявление об эмиграции всей семьи в Израиль. Вы,

ваш муж и ваш сын». Лара: «У меня нет такого желания, но я согласна по единственной причине: чтобы освободить мужа из заключения. Но я не могу это решить одна, за него. Дайте мне свидание с ним. Обещаю вам, что буду его просить и уговаривать согласиться на эмиграцию. Но сама я не могу этого сделать. Я должна обязательно узнать его мнение. Ведь он попал в тюрьму именно потому, что отказался эмигрировать». Он: «Свидание дать невозможно. Он лишен свидания». Лара: «То, что вы говорите, смешно. Вы готовы отпустить его на свободу, но не можете дать свидание. Что же вы, в наручниках поведете его в самолет?» Он: «Лариса Иосифовна, вы, наверное, не понимаете серьезности ситуации. Там, на Западе, кое-кто интересуется судьбой Марченко. Так мы им сообщим, что вы отказываетесь эмигрировать. А впереди еще пять лет тюрьмы и пять лет ссылки, да еще, при его поведении, срок заключения может быть продлен...» Лара: «Вы можете сообщать что угодно, но это неправда. Дайте мне с ним свидание». Он: «Я передам ваше требование. Но девяносто девять процентов, что свидания не дадут». Лара: «Но один процент есть! Кроме того, я должна обсудить ваше предложение с родными и друзьями». Он: «С сыном Павлом?» Лара: «И с ним, и со старшим сыном». Он: «Но ведь он тоже может выехать в Израиль, у его жены там родственники». Лара: «Он свои дела решает самостоятельно. Советуется со мной, но решает сам. Прошу вас, передайте начальству мою просьбу о свидании с мужем»...

14 ноября. Днем – у Лары. Она в полном изнеможении. Когда я ей сказала: «Я бы сделала все, что угодно, чтобы хоть на день сократить его мучения», – Лара закричала: «Ты не понимаешь, ты не знаешь его. Он может не разговаривать со мной всю оставшуюся жизнь». Затем извинилась: «Прости, что кричала». Господи! Это мне ее прощать!

26 ноября. Лара вернулась со второй беседы. Она написала заявление в КГБ с просьбой дать ей свидание с Толей. Каждая фраза согласовывалась с ее собеседником, неким Тополевым из ГБ. Разговор был более спокойный,

но все же Тополев ей сказал, что она может потерять все. Это безумно нас гнетет.

Сегодня зашел к нам Сережа Ковалев. Он напомнил случай с Огурцовым. О его освобождении все было вроде бы договорено с французами, но, пока согласовывали текст его заявления, «там» (во Франции) все рассыпалось. Кто-то сменился (Жискар д'Эстен?), договоренность лопнула, и Огурцов остался сидеть.

Пашка пошел на биологический кружок. Может ли он что-либо соображать? Жаль его безумно. Но он еще молодой, оправится – а Лара? А Толя? Лара боится, плачет, но надеется. В воскресенье мы были у Михаила Яковлевича Гефтера. Он сказал, что они выполняют план по подготовке к гуманитарному форуму «За выживание и развитие человечества» и поэтому готовят освобождение Толи. Рассказал о своем разговоре в ГБ, более раннем – об Абрамкине, редакторе самиздатского журнала «Поиски», в котором и сам М. Я. принимал активное участие. Абрамкину грозил третий срок. М. Я. говорил с гэбистами очень резко. От этого или по другой причине, но Абрамкин был отпущен в ссылку.

29 ноября. Лара попросила меня пойти с ней к Лидии Корнеевне Чуковской. Л. К. согласна со мной: раз дают возможность Толе освободиться, надо уезжать. Главное, что будет жив, что свобода – это конец голодовки. Но она понимает Ларину позицию – как же без него решать его судьбу? Лара: «А потом он против меня объявит голодовку». Л. К. посоветовала послать телеграмму Горбачеву и просить об освобождении безо всяких условий; но, если опять будут настаивать на отъезде, соглашаться и уезжать.

Люша Чуковская вежливо, но резко сказала то, что говорили другие: «Отпускают – уезжайте».

Л. К. спросила, что думаю я. «Как баба и слабый человек, схватила бы в охапку, и хоть на Землю Франца Иосифа».

Лара показала свое заявление для прессы. Я его переписала:

«4 августа 1986 года мой муж Анатолий Тихонович Марченко объявил голодовку в Чистопольской тюрьме. Цель голодовки – освобождение всех политзаключенных. Он направил сообщение об этом Венскому совещанию по правам человека. В пятницу 21 ноября меня вызвали в КГБ для переговоров о судьбе мужа. Мне предложили в срочном порядке написать заявление от своего имени и от имени мужа с просьбой разрешить нашей семье – Анатолию, мне и нашему 13-летнему сыну покинуть пределы СССР и выехать в Израиль. Сотрудники ГБ обещали, что такая просьба будет немедленно удовлетворена. В понедельник 24 ноября беседа повторилась. Мой муж не хотел выезжать из СССР. Более того, именно отказ от эмиграции, к которой его вынуждали власти в 1980 году, привел к аресту Анатолия Марченко. Дело кончилось приговором на 10 лет заключения и 5 лет ссылки.

Теперь КГБ, пользуясь моим отчаяньем, диктует мне прежний вариант. Мне не давали возможности увидеться с мужем три года, и я не знаю, какова его нынешняя позиция. Однако мой долг и мое желание сделать все для его спасения. Поэтому я ответила, что готова подписать требуемое заявление, если мне будет предоставлено свидание с мужем и я узнаю, что он не возражает против отъезда.

Мои собеседники были крайне недовольны этой заминкой, но приняли у меня прошение о предоставлении свидания и обещали дать ответ на следующий день. Ответа нет и сегодня. Это затишье тревожит меня, но и вселяет надежду.

Накануне вызова в КГБ, еще ничего не зная о предстоящих мне переговорах, я написала просьбу о помиловании моего мужа, адресованную президиуму Верховного Совета СССР. Я сделала это прежде всего потому, что бессрочная голодовка поставила под угрозу саму жизнь Анатолия. Но у меня были и соображения, позволявшие мне именно сейчас обратиться с просьбой о помиловании.

Сейчас в нашей стране, пусть пока больше на словах, провозглашено новое отношение к независимому мышле-

нию. В последние месяцы, недели, дни мы живем в предвидении перемен, отмечаем прогрессивные тенденции на всех уровнях нашей жизни. Стремление к демократизации, если оно искренне, не может обойти вопрос о политических заключенных, сколько бы их ни было. Вселяет надежду и недавний гуманный акт – освобождена из заключения Ирина Ратушинская.

У меня есть и другие, более конкретные основания надеяться, что моя просьба о помиловании не останется без внимания.

Итак, я жду и надеюсь. И тревожусь. Почему КГБ, встав на известный путь изгнания инакомыслящих из страны, начал проявлять такую спешку в беседах со мной? Откуда категоричность, с которой чиновник КГБ, предвосхищая решение высшего органа власти, заявляет мне о «невозможности» помилования моего мужа? Почему так нервничали при простом упоминании с моей стороны о «прецеденте Ратушинской»?

Почему «они» медлят? Я не знаю ответа на эти вопросы. Ради спасения мужа я готова пойти и на предложенный КГБ вариант, но только если узнаю от мужа, что этот вариант для него приемлем.

Я глубоко благодарна людям, так или иначе проявлявшим сочувствие к Анатолию Марченко. Я прошу всех не ослаблять усилия для его спасения, помочь мне добиться свидания с ним, поддержать мою просьбу о его помиловании.

29 ноября 86 г. Москва. Лариса Богораз».

Лара рассказала Лидии Корнеевне о написанном ею с М.Я.Гефтером документе – обращении об амнистии политзаключенных. Сказала, что Фазиль Искандер обещал его подписать. Известный адвокат и правозащитник С.В.Каллистратова написала отдельное обращение, более юридически аргументированное.

Лидия Корнеевна сделала какие-то стилистические замечания, но в общем одобрила. Однако она считает, что сейчас, когда Лара борется за Толю, следует помедлить с обнародованием этого документа. Лара согласилась.

4 декабря 86 г. Звонок – Лара. Потрясающая новость – письмо от Толи. Письмо короткое, чисто деловое. Он просит прислать посылку, подробно перечисляет, что прислать: сало, 100 рублей и квитанции подписки на газеты и журналы. Очевидно, голодовка прекращена или будет прекращена. Но ведь Толя требовал амнистии для политзаключенных. Неужели ему это обещали? Ведь иначе он бы голодовку не прекратил; мы-то знаем его упрямый характер.

Лара возбуждена, взволнована, счастлива. Значит, ее решение было правильным. Она не говорила об этом, но это чувствовалось. А для чего 100 рублей? Все непонятно и таинственно. Но все равно. Главное – его письмо, его почерк. Такое облегчение, такое счастье...

9 декабря. Звонок. Саня: «Телеграмма из Чистопольской тюрьмы. Толя умер».

Умер Толя. Как ужасно. Толя погиб. Как ужасно стыдно. Как смотреть людям в глаза? Как стыдно за трусость. Его нет, и мы никогда не узнаем, о чем он думал, что чувствовал в предсмертный час.

Ни слова не дойдет до нас из вечной тьмы. Отчаянье. Безумно жаль Лару, Пашку.

Поднялась. Поехала к Ларе. Сразу решила ехать с ними в Чистополь. Сначала думали на самолете, но не могли найти Санин паспорт. Катя поехала на вокзал за билетами, а я к Ларе за Чижом, чтобы отвезти собаку к нам, пока Лары с Пашкой не будет.

10 декабря. Поезд Москва–Казань. Духота. Лара немного спала, но кашляла, задыхалась. Пашка глаз не сомкнул. Едут Саня, Катя, их сын Миша, Коля Мюге – Катин племянник, Гена Лубяницкий – товарищ Сани.

Ночью немного поспала, затем одолевали мысли и воспоминания. Все как-то не очень реально. В полусне почему-то вспомнилась Пресненская пересылка 10 декабря 1968 года, где мы пытались передать нашим в этап теплые вещи: мы с Мишей – нашему Павлу, а отец Лары Иосиф Аронович – Ларе. Они нас мурыжили, отослали в Лефортово. А всех пятерых уже отправили в этап, без продуктов и необходимых вещей.

Вспоминала Тарусу, рождение Павлика, то короткое время, когда Лара и Толя были счастливы, перестройку дома. Бесконечные тачки с землей, труд изнурительный. Однажды в сердцах опрокинул тачку: «Надоело все это. Брошу». Еще через несколько лет, после очередного ареста – Карабаново. Вновь – целеустремленная стройка ДОМА, по собственному проекту. Вспоминалось, как Толя с Ларой приехали к нам после ультиматума КГБ: или отъезд, или арест. «Я им сказал, что никуда не поеду, – пусть уезжают сами. Я здесь живу». И спросил, возьмем ли мы Павлика, если...

Утром в Казани – бесконечный день. Лара, Саня и Катя с вокзала отправились в Казанское управление ГБ. Там, увидев их, все разбежались. На такси – в аэропорт. Легко достали билеты на дополнительный рейс в 2 часа.

В Чистополе нас встречал Сеня Рогинский. Он прилетел из Ленинграда. Все разузнал, нашел гостиницу – старую, без удобств, но все разместились.

Лара, Саня и Катя отправились в тюрьму. Принимал их замполит Чурбанов и зав. медчастью Альмеев. «Все было благополучно. У нас с ним были хорошие отношения». Голодал? «То да, то нет. Жаловался на боли в сердце. Давали лекарства. 8 декабря ему внезапно стало хуже, затруднение дыхания. Повезли в больницу, там бригада врачей. Установили диагноз – сердечно-легочная недостаточность. Делали все возможное. Причина смерти: «острая сердечно-легочная недостаточность». Зачем он деньги просил? «Это я ему посоветовал, потому что он все деньги домой отправлял».

Коля Мюге и я пошли по больницам узнать, где умер Толя. Центральная больница водников. Там Толи не было. Коля вошел в контакт с медсестрами и узнал наконец, что умер он в медчасти часового завода. И еще два бессмысленных разговора с врачами больницы и прозектором. Врали невпопад. Только одно повторяли – сердечно-легочная недостаточность.

Старая, неухоженная, темная гостиница. Бывшая купеческая. Но почему-то (мы сегодня ночью говорили об

этом с Ларой) здесь сейчас лучше, чем было бы в какой-нибудь новой.

Вчера Лара послала телеграммы с просьбой разрешить похоронить Толю в Москве, а до решения – отложить похороны. Лара с Саней и Катей были в КГБ – никого не застали. В обкоме тоже. Поехали опять в тюрьму. «Сопровождающие» все время с нами.

12 декабря. Утром рано получили окончательный жесткий отказ от замполита Чурбанова. Похороны только сегодня. Добились только, чтоб не в 9, а в 11. И еще разрешили отпевание в церкви. Узнали в гостинице, что есть зеленое хозяйство. Туда побежал Коля. Я же купила искусственные цветы – лилии и красные маки. Когда автобус ровно в 11 приехал к гостинице, там уже сидели сотрудники ГБ и тюрьмы. Тюремная администрация показала нам инструкцию, из которой следовало, что хоронить будут они в присутствии родных и близких.

На машине – в морг. Там милиция, сотрудники, милицейская машина. Из нее выскочил какой-то кургузый человек в форме, который пытался не выпустить нас из машины. «Гроб мы внесем в машину сами». Мы все выскочили из автобуса и прорвались в прозекторскую.

Толя лежал в простом деревянном гробу, закрыт простыней. Лицо открыли: оно было прекрасное, просветленное. Уже потом, присмотревшись, я увидела, как ввалились щеки, сморщилась шея, обвисла складками кожа. Но это было потом.

Стояли молча; тут же они, как бы на стреме. Мы внесли гроб в автобус сами, не хотели, чтобы они несли.

Поехали в церковь, вполне живую, недавно отремонтированную. Мне, человеку нерелигиозному, церемония отпевания не показалась чуждой. Наоборот, она была органичной, эта служба. При звуках заупокойной молитвы как-то просветленно думалось и вспоминалось. Лара сосредоточенно слушала молитву; для нее это все было необходимо. Пожилой священник произнес молитву со сдержанным чувством. Пели, казалось, что замечательно, две старушки, худой мужчина и девочка-подросток. Когда

служба окончилась и я оглянулась, мне показалось, что и на наших сопровождающих происходящее произвело впечатление.

Из церкви мы ехали довольно долго – кладбище в пригороде. Приехали; в белом поле была выкопана могила – очень аккуратно. Снег валил и валил. «Сотрудники» помогли опустить на белых полотнищах гроб в могилу и встали в стороне. Мы по очереди засыпали могилу землей. Был мороз, и комки мерзлой земли падали со стуком. Засыпали около часа. Нам было жарко, «сотрудники» мерзли, переминаясь с ноги на ногу. Вкопали большой деревянный крест. И гроб, и крест сделали заключенные. Лара написала на кресте чернильным карандашом: «Анатолий Тихонович Марченко. 23 января 1938 года – 8 декабря 1986 года». Положили и казенную кладбищенскую табличку. Свежий холм засыпали новым снегом, убрали цветами и красными яблоками; на снегу все это казалось фантастическим натюрмортом. Мы стояли молча, сказали всего несколько слов. Сеня Рогинский – о звездном Толином пути, и что жизнь и смерть его на одном дыхании... Это святая правда, но сколько бы еще он мог сделать, сколько книг написать, если бы не этот крестный путь и безвременная гибель... Кто-то взял водки – мы все понемногу выпили.

2 часа ночи. Вспоминается «вещий» сон именно в тот день, когда Лару вызвали. Может, именно тогда ему было худо. А Толя наверху – может, это и есть небо?

Все собрались в «общей» комнате гостиницы и пытаются восстановить то, что удалось выяснить об обстоятельствах гибели Толи. Сеня глубоко разбирается в ситуации, сопоставляет все, что узнали от Чурбанова, Альмеева, все, что можно было извлечь из ларечной ведомости Толи – что он просил, что покупал. Ведомость отдали Ларе. По ней можно вычислить сроки Толиной голодовки – около четырех месяцев. Что было в последние дни, можно только гадать, с большей или меньшей степенью вероятности, опираясь на сопоставление выуженных фактов, проговорок и т.д.

Сопоставляют, ловят на противоречиях тюремное начальство. Я слышу их возбужденные голоса. Хочется большей тишины. Пошла, напоила всех чаем, опять ушла в «нашу» комнату. Ждала Лару.

Думаю, что мученическая его смерть не разбудит Россию. Чистополь, тихий городок. Дежурные в гостинице, уборщицы охают, сочувствуют Ларе. А я больше всего боюсь рока.

13 декабря. Уже дома. Какое чувство тепла и любви. В Казанском аэропорту после регистрации пассажиров нас все перемещали из одного зала в другой. Летели Лара с мальчиками, Саня и я. Саня летел по чужому билету и паспорту. Вероятно, они видели Саню среди пассажиров, а в списке его не было. Но полетели.

В Москве поехали сразу к Ларе. Там моя дочь Нина и Люся Ковалева. Как я была им рада. Нина привезла Чижа, он бросился лизать Лару и Пашку. Люся с Ниной убрали в доме, приготовили обед. Мы пытались уложить Лару поспать, но тщетно.

Телефон звонил не умолкая. Звонили со всех концов света. Павлик с Маей, Синявские, Копелевы. Потом поехали с Ниной домой – обедали все вместе с Мишей, Геней и Темкой (зять). Какие у всех наших хорошие лица. Геня едет в Ленинград с докладом.

Заснула сразу, но утром проснулась рано от удара сердца. Плакала. Было так тяжко, что разбудила Мишу. Позвонили Михаил Яковлевич и Елена Марковна. Боялись – можно ли пойти к Ларе. Я сказала: там люди, все равно – слушайтесь сердца.

14 декабря. Панихида в церкви Ризоположения. Народу очень много; в основном знакомые лица. Оля Корзинкина бегала с бумагой – еще один призыв к освобождению политзаключенных. Служба была хорошая, но совсем не то, что в маленькой церкви в Чистополе.

16 декабря. ...У Лары безумно многолюдно, все друзья – Кулаевы, Юра Левин с женой, Некипелов... Это естественно, но убийственно. Курят ужасно. У Сани больное сердце. Схватит нитроглицерин, сосет и курит. Опять

и опять обсуждают обстоятельства Толиной гибели. Переутомлены и Саня, и Лара. А сегодня прилетает после лагеря и ссылки Саша Лавут с женой. Лара – чудо – сама решила их встретить. Они с Саней заехали за мной на такси, и мы с комфортом докатили до аэропорта. Саша обнял Лару, приник к ней. Радость встречи. Поехали все к Лавутам. Там дочь Таня, внуки, друзья. Таня с Сашиным другом Инной напекли пирогов. Сидим вокруг большого стола в их большой квартире. На столе икра и рыба, привезенные с Дальнего Востока. Щебечут дети, наперебой говорим все мы. Водка тоже свое действие оказывает. И какое-то растворение, облегчение. Жизнь все же продолжается. Уезжать не хотелось. Но надо было написать письма. Уезжали «зеленые» – Петра Келли и генерал Бастиан.

19 декабря. Сахарову в Горьком поставили телефон, и ему звонил Горбачев. А на днях Сахаров позвонил Ларе. Очень переживал гибель Толи. Наверное, Сахаровы скоро вернутся в Москву.

22 декабря. Вчера у Лары был приступ пароксизмальной тахикардии. Вызвали «скорую». Врач сделал укол, настаивал, что нужна больница. Но Лара отказалась. После укола уснула.

В субботу сделали с Мишей на выставке мобиль из бамбука с незабудками в «стаканах» – я задумала это в память о Толе. Высоко над потолком они вертелись в потоках воздуха...

...В воскресенье я договорилась со знакомым доктором – профессором Магазаником, что он посмотрит Лару. Пришла рано. Было тихо. Звонили Синявские из Парижа, затем наш Павлик из Америки. Голос его звучал так неизбывно грустно. Магазаник смотрел Лару долго и тщательно. Он настаивает на серьезном обследовании и лечении в стационаре.

На этом прерву дневниковые записи.

* * *

...Но камень будет стоять! «К нему не зарастет народная тропа»...

...На следующее утро пошли в церковь. Лара заказала панихиду по Толе, Марку Морозу, поэту Василию Стусу и другим узникам, погибшим в неволе. В переполненной душной церкви долго шла воскресная служба. Крестили множество детей, поминали близких. И наконец, помянули наших. Служил тот же священник, который отпевал Толю на похоронах. Лару он помнил. Как неистребима потребность людей если не в вере, то в обряде, в выходе из повседневности.

* * *

За год до гибели (5 декабря 1985 года) Толи я сочинила стих – увы, не пророческий.

Доживу, доживу до конца декабря,
Когда в солнцевороте повиснет Земля.
В стужу, вьюгу, мороз станет день прибывать,
Будут хрусткие льдинки на солнце сиять.
Как я верить хочу – в повороте из тьмы
Выйдет друг из тюрьмы!
Выйдет друг из тюрьмы!

Стихи разных лет

* * *

Снега и тишь – какая красота!
Но почему такая маета
В моей душе бездарной и неловкой
И почему дух горний, дух высокий
Не хочет приподнять меня
И не приносит божьего огня,
Который слабенькое тленье,
Как прежде, превратит в горенье?

* * *

Длинные синие тени
Ритмом на блеске снегов,
Нежно-прозрачная тает
Белая ткань облаков,

Солнце шитьем золотистым
Сферы проткала ковер,
Лишь обрамив к горизонту...

После снегопада

Вот здесь стояли елочки
И кустики ольхи,
А нынче только холмики
Заснеженно тихи.
Опустились снежные
Ветви-рукава,
И поникла белая
Березкина глава.

* * *

Туман опеленал деревья,
Так плотно, бережно окутал –
Не выпростать зеленых лап.
Все тихо, неподвижно,
Ни шороха, ни скрипа,
Все глохнет в влажной тишине.
Молчанье. Тишь и глушь.

Вчера так было. А сегодня – солнце,
Мороз и солнце – день чудесный,
Скрипит под лыжами снежок,
А на поляне – наст,
И носятся счастливые собаки,
Катаясь в свежевыпавшем снегу.
Скольжу. И слов от счастья не найду.

* * *

На листья тополя валится снег.
Не выдержавши непривычной ноши,
Сломались ветви и приникли робко
К стволу, уже без связи с ним,
Держась корою только...

Воробьевы горы

Мороз. Скрип снега.
Темен и прозрачен лед.
Низки и хмуры небеса –
Ни проблеска.
Пронизывает душу ветер...
Откуда же я знаю
Что все-таки весна? –
Немолчный птичий грай.

Оттепель

Эмме

Тихий щебет. Тихий кап.
Тихий снег с еловых лап.
В дымке серой пелены
Пики елок не видны.
В черной губке мокрый дуб.
И приглушен дятла стук,
И стволы березы тоже
Не светлы, а в серой коже,
И на тоненьких ветвях
Капли серые висят.
В этой волглой тишине
Мир спускается ко мне.

Цветы меж шпал

Меж шпал цветет ромашка,
А рядом – иван-чай.
Лохматую сурепку жмет к шпалам ураган
Ревущих поездов.
Но цепки в почве корни
И вновь, умытые дождем,
Цветут упрямо.

* * *

В озерное око глядят небеса,
В низинах, оврагах потопли леса,
В воде по колени как будто бы в ряд
Березки с осинками тихо стоят.
На всем белом свете блистает вода,
Вдали над оврагом сверкнула звезда,
И, в темной воде отражаясь, луна
Яснее и ярче, чем в небе, видна.
И в этой пустой, предвечерней тиши
Лишь шепотом нежно шуршат камыши.

Но с севера ветер прервал тишину,
Леса раскачал, затуманил луну,
Поднял, разбередил умолкнувших птиц –
Уснувших ворон, суетливых синиц,
На берег белесые гребни погнал
И чаек скрипучих на воздух поднял.
Вот так и душа ненадолго в покое,
А после тиши разбушуется вдвое.

* * *

Ты помнишь, ветра шквал поднял полу палатки,
А мы, еще не в силах рассоединиться,
Увидели, как в серых волнах
Под серой пеленой дождя
Отважно и неустрашимо
Нырял чумазый маленький кораблик,
И звался он «Волшебник».

* * *

След ступни на прибрежном песке,
Плеск волны – и все смыто, песок первозданн.
Неужели и след моей жизни таков?

Воспоминание

Вот оно – мое окошко,
Детский сад.
Монастырь стоит стеною,
Дети спят.

И безмолвно я губами шевелю,
Потому что сочиняю и люблю.
В полудреме происходят чудеса,
Надо мною – синие глаза,
Дымка легкая волос над головой,
Легкая рука несет покой.

Страсть – обнять, заплакать,
Страх – сказать.
«Тихо, детка, спи».
Как дрожь унять?

* * *

Маме

И боль, и грусть смотреть,
Как горбится спина,
Слабеют руки мамы.
Хрипотца и скрип сопровождают вдох и выдох,
И гложет мысль – исчезнет мама
И вместе с ней младенчество мое.

Кто помнит – только ты, –
Как после крика на твоей груди
Я, успокоившись, лежала?
Кто видел первый шаг,
Кто слышал первый лепет,
Кто, голодая, кормил, терпел и таял?
О, мама, прости меня за все!

Записная книжка

Еще один заборчик
На книжке записной,
Растет быстрей ограды
На кладбище весной.

Утрата без возврата
Нас вновь не обошла,
И на листке заплата
И в сердце бедном мгла.

Но вот иной заборчик
На русском языке,
А рядом – новый адрес
На ихнем языке.
Хоть в этом есть надежда,
Пишу, и ты пиши,
И сохраним под током
Тепло, родство души.

И чтоб трава забвенья
Не проросла, глуша,
Взыскует о работе
Печальная душа.

* * *

Этот жаркий светлый вечер
Силой, тайной волшебства
Понимания и дружбы
Обладал своей душою.

И как будто отпустили
Нас печали и тревоги,
Показалось, что возможно
Все стерпеть и дальше жить.

Озеро Шаригодра

Сквозь сон ночной
Вдруг ветер разбудил наш лес,
И паруса палаток напряглись, как крылья.
И крылья выросли у нас, у рыб, у пса,
И остров – наш корабль –
Взлетает на волнах,
Потом – на воздух.
И мы летели – навстречу
Луне белесоватой
И звездам – в рваных облаках.

Закат на озере Шаригодра

Не шелохнет тростник,
В мгновенном снимке
Застыла стрекоза,
Два желтых солнца катятся по небу и воде,
Стремясь друг к другу,
И слились в оранжевый овал,
Лежащий в озере и в небе,
Но постепенно преобразуясь в шар красный.
А затем шар уплощается,
И шар – опять в овал,
Теперь горизонтальный.
Овал все уже, тоньше,
И в конце – полоска
На дальнем горизонте,
Затем – исчезло все
Лишь неба красный отсвет.

* * *

И дом чужой. И кров чужой.
И ключ не лезет в паз.
Колючий взгляд соседских глаз...
Куда пропасть сейчас?!

Лед рук и ног. Но жар в крови
Сметает стыд и страх.
И рук твоих поводыри...
Страсть все крушит впотьмах.

Сияет свет любимых глаз
С прекрасного лица,
И счастью нет и нет конца –
И это все про нас.

* * *

Серо и хмуро кругом,
Нехотя в путь отправляюсь,
Сердце о близких болит.
Вот половина пути миновала,
Медленно тучи протаял
Солнца расплывчатый шар,
На горизонте в еловых зигзагах
Нежно сквозит цвет голубой.

После суда над Сергеем Ковалевым

Коричнева в Вильни вода,
В старом Вильнюсе беда.
Мы шли потерянно с суда,
Мы шли как будто в никуда.

Слепые окна, дождь и тьма,
И стены города – тюрьма.
Непреходящая вина,
Неотвратимая беда
Не отпускала никуда.

Но в темной подворотне дверь
(О как войти в нее теперь?),
Прямоугольник света в тьму.
Хозяев дома обниму,
Они нам дали хлеб и кров,
Покой на несколько часов.

* * *

Я протягиваю руку ей, ему,
Бог весть кому,
Часто просто встречному,
А в ответ пожатье рук,
Взгляд, улыбка узнаванья,
Доброта и состраданье.

Но у близких и любимых –
Так бывает – нет ответа
Ни улыбке, ни рукам,
Повисают где-то там.

Это больно и обидно,
Почему-то даже стыдно,
Будто ты и виноват,
Что суешься невпопад.

* * *

Осенний листопад,
Лилов холодный воздух.
Брожу, шуршу, и жизнь прекрасна и проста,
И острый нос – сосновой шишки ежик –
Торчит из-под кленового куста.

Дождь кончился, и серые несутся облака,
И солнце, как луна, сквозь них бледнеет.
Прибитая к земле унылая листва
Уже не шелестит, а тихо пламенеет.

Деревьев остовы, черны, оголены,
Стряхнув безличье листьев, костенеют,
И кажется – проснись, вглядись, живи
Той четкостью дерев, той яркостью листвы.

С тех пор, как мой продавленный диван
Переместился на террасу,
Согласная с законом бытия
И я принадлежу к другому классу.

Я к лику сосен сопричастна,
К поющим птицам, шелесту листвы,
Жасмина запаху, мгновеньям тишины,
И жизнь поэтому бессрочна и прекрасна.

Осенние клены

Северо-западный ветер
Принес к моему порогу
Клена лист золотой.

О какие дары
Эта осень дарит
Так внезапно
И так безоглядно!
Вот в щеколде дверной
Клена лист золотой.

На ковре золотом
Над кленовым листом
Гроздь рябины лежит, пламенея.

С о д е р ж а н и е

Детство

Школьные годы

Флора Павловна Литвинова

Очерки прошедших лет

Редактор Л.С.Еремина
Художник И.П.Смирнов
Корректор Л.В.Петрова

Подписано в печать 01.07.2008
Формат 84x108/32
Бумага офсетная № 1
Печать офсетная
Усл. печ. л. 21,5
Тираж 520 экз.
Заказ_____

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Информполиграф»

Издательство «Звенья»
127051 Москва, Малый Каретный пер., 12



Бабушка Фейге с сыном Ефимом, дочерью Полиной и внучкой Зиной. 1912 год



*СемьяТолцисс, 1916 год. Сидят (слева направо):
Зина, дядя Мотя с дочерью, бабушка Фейге, Лизин муж
Борис с сыновьями. Стоят: жена дяди Моти Соня,
моя мама Полина, мой папа Павел Григорьевич Ясиновский,
мамина сестра Лиза*



Тетя Лиза в 1910 году



Мамина сестра Соня. Кишинев, 1901 год







Мама в Кишиневе

Зина



Тетя Соня в 1920-е годы



Мы с Зиной. 1924 год





Наш 2-й класс. Я в центре, слева от учительницы



Папа в период работы в Англии от Внешторга. 1920-е годы



Мама с Зиной



Я с подругой Олей. 1925 год



Я, мама, Зина и тетя Эся. 1928 год



Мне десять лет



Мне пятнадцать лет



Мы с Мишей в июне 1941 года



Максим Максимович и Айви Вальтеровна Литвиновы в Женеве. 1930-е годы



Миша, я и Павлик в 1943 году



Я с сыном Павлом



Я с дочерью Ниной. 1949 год



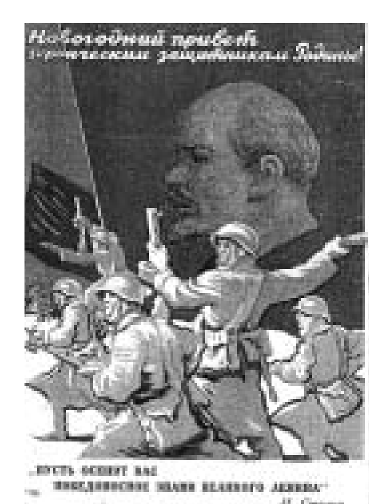
Я с Мишиной сестрой Таней. 1970-е годы



Айви Вальтеровна с внучками Ниной, Машей и Верой



Последняя фотография Зины



Последняя открытка от Зины с фронта. 1942 год. Текст см. ниже



НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ доблестным [illegible] Красной Армии, героически [illegible] свободу [illegible] народов СССР от немецких [illegible]!

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

17/[illegible]

Дорогой [illegible]!
Давно тебе не писала,
т.к. была в пути.
Наши войска наступают. Двигаемся
все вперед и вперед.
Сейчас нахожусь
в Харькове. Чувствую
себя хорошо, здорова,
не беспокойся. Будь
здорова. [illegible]
[illegible] Зина

Москва
Ленин 20 кв. 10
Кому Яснowской Б. [illegible]

1683 полевая почта
часть 193 [illegible]

Государственное издательство „Искусство", Москва. 1941 г.
[illegible]



г. Москвы

Извещение

Ваш[illegible] дочь мед.сестра, мл.командир

[illegible]СИНОВСКАЯ Зинаида Абрамовна, 1907 г. рожд.

уроженец г.Херсона

находясь на фронте, пропал без вести

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства [illegible] НКО СССР № [illegible]

Военный комиссар

Начальник части

Полученное нами в феврале 1976 года извещение о том, что Зина пропала без вести



Нина и я в начале 1970-х годов



*Павел
в ссылке
в Читинской
области.
1969 год*



*Дочь Павла
и Майи
Ларочка
родилась
в ссылке*



В верхнем ряду: мама, Павел, сын Нины Тема, я и Миша.
В нижнем ряду: приемный сын Павла Дима, Сережа,
Нина и Майя



Проводы Павла в эмиграцию.
С бабушкой Полиной Мироновной в аропорту



Павел с сыном Сережей во время первого приезда в Москву из эмиграции. 1987 год



Дочь Павла Лара в 1987 году



Муж Нины Геня, Тема, я, Миша и Нина

Мы с Мишей. 1980-е годы



Сергей Ковалев и я в 1960-е годы



Анатолий Марченко и Лариса Богораз в Карабанове. 1980 год



Толя строит свой дом. 1980 год



У надгробного камня на могиле Анатолия Марченко. Феликс Красавин, Сергей Кириченко, Павел Марченко, Сергей Ковалев, Лариса Богораз и я.



Мы с Мишей. 2000-е годы



Дочь Темы Маруся в двенадцать лет



Я с правнуками Марусей и Борей



С правнучкой Дусей. 2007 год

Флора Литвинова • Очерки прошедших лет



- *Детство*
- *Школьные годы*
- *Эпилог о долгой жизни, о семье и друзьях*
- *Вспоминая Шостаковича*
- *Гибель моей сестры Зины*
- *Вокруг «дела врачей»*
- *Записки об Анатолии Марченко*
- *Стихи разных лет*

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения.

В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленьким сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей.

Дружба с этой семьей продолжается долгие годы.

После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям. В их квартире было создано несколько выпусков «Хроники текущих событий».

Флора была близким другом и помощником Ларисы Богораз и Анатолия Марченко, Петра Григорьевича и Зинаиды Михайловны Григоренко, Сергея Ковалева, других известных правозащитников.

Активный интерес к жизни и общение со многими замечательными людьми делают воспоминания Флоры Павловны Литвиновой правдивым источником, отражающим важнейшие события в истории нашей страны через судьбу одного человека, одной семьи.